



# ДОН\_новый 14/3-4

---

**Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Орган Союза писателей России, министерства культуры Ростовской области и Ростовского регионального отделения Союза писателей России**

---

Главный редактор Г.В. Студеникина

Общественный редакционный Совет:

А.Г. Береговой, Ростов-на-Дону  
В.А. Воронов, Ростов-на-Дону  
А.И. Глазунов, Сальск Ростовской области  
Н.И. Дорошенко, Москва  
Г.В. Иванов, Москва  
И.С. Капаев, Черкесск  
И.Н. Кудрявцев, Ростов-на-Дону  
В.И. Лихоносов, Краснодар  
А.Н. Можаяев, Можаяевка Ростовской области  
Б.А. Орлов, Санкт-Петербург  
Е.Е. Пиетилийнен, Петрозаводск  
Г.Т. Селигинин, Ростов-на-Дону  
Н.М. Скрёбов, Ростов-на-Дону  
Б.М. Стариков, Тихорецк Краснодарского края

Учредители: Союз писателей России

Ростовское региональное отделение СП России

Журнал выходит при поддержке министерства культуры РО

Попечительский Совет:

И.И. Переверзин, Литературный Фонд России  
В.В. Свитенко, ОАО «Южтехмонтаж»  
Б.М. Стариков, ООО «Пламя»  
Н.Н. Грищенко, ООО «Сплав-Алексеевское»  
А.Г. Береговой, ООО «Издательство «Донской писатель»  
И.И. Муругов, ООО «Транссервис»  
А.А. Ковалевский, СФ «Волгодонскэнергострой»  
О.В. Токарев ЧП

---

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

## СОДЕРЖАНИЕ:

### ЮБИЛЕИ

Игорь Кудрявцев. <i>Я голубицу подобрал</i> . Стихи.	4
Евгений Юшин. <i>О своей негаснущей любви</i> . Стихи.	6
Анна Ковалёва. <i>Отвергая</i> . Стихи.	14
Алексей Глазунов. <i>У реки</i> . Рассказ.	16
Владимир Скиф. <i>В колючках дня</i> . Стихи.	25
Алексей Сазонов. <i>Больно и сладко</i> . Стихи.	28

### ПРОЗА

Алексей Береговой. <i>Красные огни</i> . Повесть. (Окончание).	59
Светлана Вьюгина. <i>Парам</i> . Рассказ для детей	201
Анастасия Кривохижина. <i>Пять писем о любви</i> . Рассказ.	209
Дмитрий Воронин. <i>Крехобор</i> . Рассказ.	218

### ПОЭЗИЯ

Михаил Сорокажердьев. <i>Молитвою живём</i> . Стихи.	157
Василий Дворцов. <i>Правый мир</i> . Поэма.	182
Алексей Борычев. <i>Осиянные дни</i> . Стихи.	199
Клавдия Павленко. <i>Кто стирает пыль со звёзд?</i> Стихи для детей.	204
Нина Васина. <i>Бубенец</i> . Стихи для детей.	207
Татьяна Тетенькина. <i>Всем миром...</i> Стихи.	208
Вячеслав Дутов. <i>Твой стих</i> . Стихи.	213
Мария Складорова. <i>«Если ты меня...»</i> . Стихи.	213
Владимир Хлыстов. <i>Металлургический щенок</i> . Стихи.	214
Татьяна Мажорина. <i>Исповедь</i> . Стихи.	215
Елена Шевченко. <i>Прошу...</i> Стихи.	215
Людмила Суханова. <i>А мудрость где-то рядом...</i> Стихи.	216
Сергей Волошин. <i>Тебе</i> . Стихи.	216
Валентина Курмакаева. <i>...И было утро</i> . Стихи.	217

### ПУБЛИЦИСТИКА

Олег Дорогань. <i>«С того и светло на Руси...»</i> Очерк.	10
Людмила Малюкова. <i>«Ужасом разъявшихся времён...»</i> Опыт прочтения.	160

### «КРУТОЯР»

Михаил Шолохов. <i>Продиспектор</i> . Рассказ.	32
Эдуард Барсуков. <i>Грозовое предупреждение</i> . Очерк.	36
Александр Рогачёв. <i>Не мешай мне</i> . Стихи.	39
<i>Слово о полку Игореве</i> . Поэтическое переложение Владимира Скифа	42

## Журнал

### «ДОН\_новый»

распространяется на территориях России и стран СНГ

\*\*\*

Содержание журнала не всегда отражает точку зрения редколлегии на затронутые авторами темы.

\*\*\*

За точность имён, фактов и цифр ответственность несут авторы.

\*\*\*

Редколлегия оставляет за собой право не разъяснять авторам причины отказа в публикации их произведений.

\*\*\*

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

\*\*\*

Все произведения в журнале публикуются пока на безгонорарной основе.

Авторам предоставляются бесплатно по 2 номера журнала (с их публикациями).

Присыл авторами своих произведений для печати в журнале «Дон\_новый» считается их согласием на безгонорарную публикацию.

**Условия набора и присылки литературных материалов  
в журнал «ДОН\_новый»**

Свои произведения авторы присылают в журнал только электронной почтой по адресу: don\_new@rambler.ru в программе «WORD» без макетирования и архивирования.

\*\*\*

Рукописи для публикации в журнале «Дон\_новый» принимаются только при соблюдении следующих правил набора:

1. Обязательное использование в наборе буквы «ё».
2. Не допускается использование знака «дефис» (-) или знака «нижнее подчёркивание» ( ) вместо знака «тире» (—) и наоборот.
3. При наборе прозы необходимо использовать длинный знак «тире» (—), при наборе поэзии короткий (—).
4. Не допускается установка абзацев текста при помощи кнопки «табулятор».

Рукописи, не соответствующие условиям набора, рассматриваться не будут.

\*\*\*

По вопросам подписки на журнал «ДОН\_новый» обращаться по адресу:  
344002, Ростов-на-Дону, ул. Суворова 10, ООО «Урал-пресс-Юг»,  
тел. 8(863) 269-84-00; 269-44-33; 244-12-12; 240-92-15.

---

ББК 96(2Рос-Рус)75

Д-145

ISBN 978-5-87612-110-X

Литературно-художественный и общественно-политический журнал.

«ДОН\_новый» № 3-4, декабрь 2014 г.

Издатель: ООО «Издательство «Донской писатель»

Над выпуском работали:

Баштовая К.Н., Береговой А.Г., Малов П.Г.,

Студеникина Г.В., Ханин Д.И. Анистратова В.Н.

Фотографии А. Аникина, Н. Бородулина и В. Хлыстова

Директор издательства Береговой А.Г.

Тираж 950 экз. т.ф. 8-918-599-67-51; 8-988-567-43-95;

8-918-854-80-59.

**e-mail: don\_new@rambler.ru**



Ростов-на-Дону. Дон-грузеник

К 70-летию поэта

## Игорь Кудрявцев



### Я ГОЛУБИЦУ ПОДОБРАЛ...

#### РАЙ

В лицо дышало море...  
А дальше, на просторе  
Сквозило голубое...  
И облако живое,  
У неба на опушке,  
Кудрявое, как Пушкин,  
Но только поседевший, –  
Пленяло берег здешний,  
Где мы седин касались  
И в море умещались,  
Как два птенца влюблённых –  
В ладонях раскрылённых.

#### ДЕНЬ ПТИЦ

Прогнав кота за угол ночи,  
Я голубицу подобрал...  
Она поверила спасенью  
И поутру снесла яйцо,  
Напоминающее Землю

---

**Кудрявцев Игорь Николаевич**, член Союза писателей СССР, России. Родился 23 декабря 1944 года в г. Соколе Вологодской области. Детство прошло на Кубани в станице Кущёвской. Лауреат Всесоюзной премии ЦК ВЛКСМ (1978). Автор книг и публикаций, вышедших в Ростове-на-Дону, Москве, за рубежом; соавтор композитора, певца, заслуженного артиста России Вячеслава Малежика. Руководитель областного литературно-творческого объединения «Дон».

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

В её домашнем исполнении  
(Как говорил учёный лектор –  
Земля кругла, а всё же эллипс)...  
Что думать сердцу?.. Будто ветер,  
Живёт бессмертие в кювете,  
А за горами, во дворце –  
Песчинка жизни на лице...  
Хотя душе полезно Бремя –  
Крыло, Земля и Божье время...

### **ЗАВЫЛ**

Ни в полуночном лесу,  
Ни спяна, ни ради шулки  
Уступил дорогу псу  
В межгаражном промежутке.  
Ох уж это «Се-ля-ви»...  
Я стоял – простак-рубаха, –  
То ли добрый от любви,  
То ли добренький от страха.  
Бросив под ноги кинжал,  
Пёс – невольник нашей встречи –  
Улыбнулся наповал  
И завыл по-человечьи.

\*\*\*

*...от избытка сердца  
говорят уста...  
(Евангелие от Луки)*

Прибегали пустые дали,  
Приглашали в осенний дом,  
Где оркестры мои устали,  
Как за речку упавший гром.  
До утра золотели окна,  
Будто соты разменных лет...  
И летели мои толокна,  
Осыпая медовый след...  
Рядом с тенью цвела забудка –  
Неприметный седой цветок...  
И дудела чужая дудка,  
Расточая избывный сок...  
У плескучей души сюжетца,  
У повинной души листа –  
От избытка чужого сердца  
Говорили мои уста...

## Евгений Юшин



### О СВОЕЙ НЕГАСНУЩЕЙ ЛЮБВИ

\*\*\*

О любви сказать ещё желаю –  
О своей негаснущей любви  
К снегом запорошенному краю,  
К сёлам, почерневшим на крови.

К этой вот истоптанной дороге,  
К трепету весеннему реки –  
Потому что на земле не многим  
Святят изб родные огоньки.

Всхлипывает лодка у причала,  
Яблоня касается руки...  
Мне ночная птица прокричала,  
Что дороги к детству далеки:

Через дымку сумрачных вокзалов,  
Через кровь успехов и потерь,  
Через холод ложных пьедесталов –  
Ко всему, что дорого теперь.

---

**Юшин Евгений Юрьевич**, член Союза писателей России, родился в 1955 г. в г. Озёры Московской области. Детские годы прошли на реках Оке и Воже в рязанской деревне Лужки. Автор десяти поэтических книг, лауреат ряда литературных премий, в том числе Всероссийской премии Союза писателей России имени Александра Твардовского (1998), премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2002), Международной литературной премии им. А. Платонова (2005), Большой литературной премии России (2008). Публиковался в центральных журналах, альманахах и газетах, его стихи транслировались по радио и телевидению, переведены на болгарский, немецкий, французский языки.

Живёт и работает в Москве.

Этот путь – быть может, в жизнь длиною.  
Но за весь сердечный непокой,  
Может быть, глаза рукой прикрою,  
И увижу маму молодой.

### **ПТИЦА ВРЕМЕНИ**

*Евгению Кочеткову*

В коленях хворь, с которой надо сжиться.  
Разволновался – и губа дрожит...  
Приляжешь в травы и увидишь: птица  
В просторном небе медленно кружит.

Она свои просторы верховые  
Сшивает с этим лугом и тропой,  
Кружит она и кольца годовые  
Свивает в синем небе над тобой.

И вспомнятся тебе родные лица,  
Которых нет уже в земном краю...  
Зачем ты кружишь, медленная птица,  
Очерчивая в небе полынью?

В ту полынью уходят безвозвратно,  
А нам с тобой пока что не черёд.  
Закат роняет пламенные пятна  
На окна изб и клёны у ворот.

Жизнь так спешит – за нею не угнаться,  
И не упрятать прошлое в баул,  
И хочется, как в детстве, разрыдаться,  
Как будто кто-то горько обманул.

Облокотилось прошлое на плечи...  
Вопросов много, но ответов нет.  
За все ошибки, где судьбе перечил,  
Любому на земле держать ответ.

И дни всё туже тянутся, всё глуше,  
А ночью вовсе не видать ни зги.  
И только птица кружит,  
птица кружит,  
Свивает бесконечные круги...

## ДВЕ СОБАКИ

Разбросало солнце маки  
На озёрном серебре...  
Жили-были две собаки  
У соседа во дворе.

Резвцы и забияки –  
У крыльца гоняли кур.  
Словом, жили, как собаки,  
Не дурнее прочих дур.

А сосед – больной и старый:  
Гамаши да костыли.  
Сели дети: тары-бары,  
Да и в город увезли.

Ходят грустные собаки,  
Ищут деда – нет его.  
Хоть бока у них обмякли,  
Вид пока что – ничего.

Но страшит их  
двор уныньем,  
Дверь, забитая доской.  
Зарастает сад полынью,  
Как собачий взгляд тоской...

## НА ДОНУ

Пахнет степь простором Дона,  
Той травой из-под подков,  
Что взошла на пепле дома,  
На густой крови веков.

Грозы пушки заряжают,  
Пыль за конницей гудит.  
Бабы мальчиков рожают,  
А за ними смерть глядит.

Пахнет степь костром кипучим,  
Конским потом, чабрецом.  
Только тучи, только тучи  
Пролетают над лицом.

Любо, братцы, право, любо  
Слышать ветер за спиной!  
Горячи казачки губы –  
Жарче пули огневой!

А когда зимой поутру  
Вьюгой скошены пути,  
Я нырну в густые кудри –  
Степью пахнут – не уйти.

Словно стрелы печенега,  
Словно сабли Ермака,  
Травы рвутся из-под снега –  
Прорывают облака.

\*\*\*

Жгуче! Трепетно! Потрясно!  
Месяц ярок и остёр.  
Как цыган в рубахе красной  
Пляшет в полночи костёр.

Он для нас с тобою пляшет. –  
Взгляд горячий не таи!  
Пусть картошка губы мажет  
Поцелуйные твои.

Пусть пока что наши тени  
Словно пламя поднялись,  
Их объятья, их колени  
В темноте переплелись.

Дым пахнул в лицо полынью,  
Жгуче выдавил слезу...  
Я тебя речною синью  
Завтра утром увезу.

Разве зря во тьму летела  
Костровая прядь огня?  
Разве зря и ты смотрела  
В этот вечер на меня?..

## «С ТОГО И СВЕТЛО НА РУСИ...»

*О поэтическом творчестве Евгения Юшина*

Несколько лет тому назад в Смоленске на торжествах по случаю вручения лауреатам премии им. А.Т. Твардовского я познакомился с поэтом Евгением Юшиным. В окружении широко известных писателей В. Ганичева, В. Кострова, В. Сорокина порывисто-элегантный поэт выглядел непринуждённым, духовно-сосредоточенным, естественным.

Впрочем, я не отметил в нём столичного лоска. Напротив, мне показалось, что здесь, на Смоленщине, он как раз попал в свою стихию, в нешумную провинцию свою, которую так многокрасочно-музыкально описал в стихах:

*На самой окраине мая,  
Где пух тополиный плывёт,  
Певучая скрипка трамвая  
В провинции тихой поёт.*

*Её не затронули рыки  
Столичных и местных громов.  
Её петушиные крики  
Остались во веки веков.*

Когда же он читал свои стихи со сцены, казалось, лёгкими движениями руки он посылал не строфы, а тройки — в затаившуюся ауру зала. Эти «тройки» его набирали гоголевский разгон, мчали наудаль, звеня то дуговым колокольцем, то скрипкой трамвая. А то вдруг он стреноживал свой стих, останавливая зависающим на краю яра, и, выводя в поводу, направлял дальше — степеннее, надёжнее. И неспешная песня его несла отголоски старинных ямщицких песен с их печально-безуσταльной удалью и просторным размахом российского духа:

*Снилась мне дорога — люлькой журавлиной,  
В утренних колосьях — с солнцем на краю.  
С жеребьячьим ветром, кроткою рябиной.  
Снилась мне дорога в молодость мою.*

Элегически-эпический мотив сразу раздвигал межи пространства и времени. Лирический сон поэта проникал в глубинную историческую явь. И молодость поэта, и любимая его, и сама его песня, едва слетая с уст, становились родственными любой открытой навстречу душе и, в то же время, несли необъятно-вселенский смысл:

*Снилась та, чьи губы пахнут пьяной вишней,  
Волосы лугами пахнут и рекой.  
Мимолётным ливнем выкрашены крыши,  
Ласточки-стригуни жгутся под рукой.*

И при этом каждый образ неожидан, метафоричность ненавязчива, естественность стиха настолько обворожительна, что так и чувствуется некая плоть духа. Во всяком случае, духовная плотность слова медово-осязаема, как воздух, гуляющий по жеребьячим гривам, ржаным колосьям, луговым ковылям и речным кувшинкам.

Ключи его своеобразной лирики кроются здесь — в провинции, в ней, матушке. Не в рязанской ли, с которой кровно связан? Не о ней ли прежде всего печалится, печётся и радеет поэт, оборачивая взгляды свои на всю Россию неоглядную? И распрямляет поэтическую статью, и не теряет удали, пытаясь увлечь всех за собой:

*Люди добрые, горожане, не у каждого из вас есть Родина  
С розовым клевером сладким – до боли на краешке языка.  
Пойдёмте со мной. Не всё ещё продано  
С молотка...*

Свежим неожиданным полемическим запалом поэт не выстреливает прямо в лоб. Не впускает он в свой стих оголённые провода разъяренной публицистики (провода у него должны петь!). Он и в пылу священнодействует над славянской вязью своих строк с их природно-ключевым началом:

*В зелёных, смиренных, поющих и чистых пролесках  
Остался йодистый запах: грибной, зверобойный и дикий,  
С тягучей хвоинкой и нежным омшеловым блеском,  
С упругим орешником, вереском и земляникой.*

Интересно, у кого ещё из поэтов его поколения так конкретно, так точно и так духовно выражен неповторимый вкус Родины — сладкий и горький, чистый и звонкий, настоящий на травах и медах, лакомый, переносимый губами трав?

*Там в каждом июне в дыму родников полнолуных  
Сгорают медовые, острые осы созвездий.  
И терпкие губы травы ненасытно и юно  
Росу собирают — полночные слёзы невесты.*

Читая такие строки, можно ли не любить свою Родину? Не «эту страну», как её называют те, кто грабит и гробит, ругает и рушит, хоть и родился здесь, — нет же, Родину с «полночными слезами невесты», какой увидел её поэт Евгений Юшин. И после таких строк уже нельзя не верить поэту. Одухотворенная лирикой поэта российская провинция и есть столица его. Вот что подумалось мне о сердцевинном золотом сечении поэзии Е. Юшина. Не с того ли так непринужденно и по-своему горделиво пишет он о ней, о глубинно-корневой столице духа своего:

*Забытая властью и тленом  
Она не утратила слух.*

Олеа Дорогань

*Америка ей — по колено,  
Как возле забора лопух.*

Что ж, только она, провинция, не утратила слух, тот слух народный, которым земля полнится и стелется славой. В глуши её глубже и отчетливее слышится голос народной души. И Е. Юшин, чутко прислушиваясь к ней, словно бы убеждает читателя, как она чиста, невосприимчива к инородным иноземным влияниям и посулам, как далека она от разрекламированных благ погибельной западной цивилизации.

Поэт приводит нас к истокам, исполненным горестной и скорбной многострадальности народной. При всём размахе своего жизнеутверждающего лирического порыва он не может погрешить против правды.

*Горькая, молчаливая, милая сторона.  
В розовой дрожи осени пухнут бока дорог.  
Звёзды грачами склёваны, с садиною — луна.  
Плачет рябина пьяная ягодой на порог.*

С горечью, вобрав, должно быть, зренье старожилов, поэт подмечает:

*Опустело на сердце — до звона.  
Уместилось прошлое в горсти.  
Над садами красная икона  
Догорает —  
Некому спасти.*

И вдруг прозреньем надежды на спасение Руси, на справедливый суд и лад на земле к поэту приходят строки: «Даль — огромна, высь — безмерна. / Перед ликом — только Бог». Так через осознание горестной доли Родины приходит осознание себя в Боге.

Поскольку чистое, духовное, народно-песенное начало у поэта — от его провинциальной Родины, постольку Дух божественного, разлитый в природе, безыскусно, естественно проявляется в его лирике, не лишённой то подспудного, то сознательно молитвословия:

*О тебе, моя берёза под луной,  
О тебе, туман пролётный, заливной,  
О тебе, открытый небу светлый дом,  
Не забуду помолиться перед сном.*

Всю жизнь поэт ищет себя. Изучает свой подспудный и поднебесный мир как мир вселенной, чтобы добиваться понимания всеобщего. И добивается его через посредство своих друзей-единомышленников, болеющих бедами Родины:

*В небе ещё бродит густая полынь с лебедю.  
В тебе ещё живы межи и ознобы полей.  
Куда тебе деться с бездонною русской бедою?  
Куда тебе деться с пожарной кровью своей?*

*Я знаю, ты счастлив собачьему лаю навстречу,  
Смолистым берёзовым листьям на банном полке...  
С того и светло на Руси, что пасхальные свечи  
Живут, освещая дорогу по русской руке.*

С того и светло на Руси, что есть у неё такие поэты как Е. Юшин. Этот свет они, не теряя веры, отвоёвывают у тёмного царства, где владычествует криминально-олигархическая чернь с её постмодернистской литхалтурой. Не снижая эстетических и этически-нравственных критериев, в лучших традициях российской классической словесности, заповеданных нам А.С. Пушкиным и М.Ю. Лермонтовым, Н.В. Гоголем и Н.А. Некрасовым, С.А. Есениным, Е. Юшин умеет держать удар в литературной борьбе, стойко отстаивает позиции гражданина и патриота. При этом он не поступается лирикой, не «наступает на горло собственной песне». В нынешнее столь нелирическое время он борется за Русь красотой своей поэтической образности, прелестью голоса своего:

*В этой купели родной земли,  
В этом ковчеге земли родной  
Все небеса на меня легли  
Всей своей святостью, всей виной.*

С того и светло на Руси, что волею Божьей поэт, словно зная в бою, подхватил журнал «Молодая гвардия» из рук безвременно ушедших из жизни старших товарищей — светлой памяти писателей Анатолия Иванова, автора «Вечного зова», и Александра Кротова.

«Быть или не быть России?» – этот вопрос наиболее сакраментально и тревожно ставится публицистами и писателями, политикам и литературоведами на страницах издания, возглавленного Юшиным. Сам же поэт, перечитывая как редактор изобилие публицистики и прозы, продолжает с присущим ему лирическим темпераментом, всем арсеналом своих неповторимых поэтических средств прорывать порочный круг, смыкающийся на горле матушки-России.

*Нам плыть ещё и плыть от зла и срама,  
Ещё не раз нам каяться до слёз,  
Но ставить избы и лелеять храмы  
Под золотыми россыпями звёзд.*

**Олег Дорогань, председатель правления  
Смоленского регионального отделения СП России**

## Анна Ковалёва



### ОТВЕРГАЯ

#### ВЕСНА

Мохнатыми шмелями рыхлых почек  
опять роятся в небе тополя,  
и первый развернувшийся листочек  
купают в блеске утреннем зарю.  
Открыта вся земля потокам света,  
и невозможно думать, что опять  
друг друга убивать готовы где-то  
рождённые любить и обнимать...

\* \* \*

Господи!  
Ищу к тебе дорогу.  
Поиск мой наивен и нелеп.  
Отвергая книжную мороку,  
опускаюсь в рыночный вертеп.  
Пью из осквернённого стакана,  
за столом оплаченным сижу;  
не гнушаясь обществом нимало,

---

**Ковалёва Анна Ивановна**, член Союза писателей России, заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор 9 поэтических книг, многочисленных публикаций в газетах, журналах, альманахах, выходявших в разное время в Ростове-на-Дону, Элисте, Краснодаре, Астрахани, Москве, Берлине и др. Живёт и работает в Волгодонске Ростовской области.

подливаю в речи куражу.  
Оболющаю жаждающих и рдящих  
искупленьем лёгким и простым –  
воздвиженьем лестницы и башни  
неопровержимой высоты.  
Улещаю истиной и притчей  
и, когда боль выскребу до дна,  
ухожу оболганной и нищей  
по путям нехоженным одна...

\*\*\*

А кактус больше не цветёт...  
Вот тоже странная загадка.  
За век свой, право же, не краткий,  
он цвёл в один лишь только год.  
И цвёл он вовсе не весной,  
а, как ни странно это, в осень –  
как выстрелил – три вспышки вбросил  
в пространство комнаты – и смолк...  
Таких же три внезапных дня  
тогда мне выпало поспешно –  
счастливых...  
Больше их, конечно,  
нет и не будет у меня...  
И я всё думаю, какой  
с живущим связаны мы силой,  
чтоб кактус, тот, что я растила,  
увял, придавленный тоской  
моей,  
и больше не зацвёл?..

\*\*\*

Одинокий сверчок, не кричи над дорогой...  
Перепутав года, я бреду наугад;  
моё сердце полно всё такой же тревогой,  
как и осень назад – как и осень назад...

Одинокий сверчок, люди любят веселье,  
люди жаждут огня, суеты-пестроты, –  
как гнетёт их мотив моей песни осенней,  
одинокий сверчок, так досаден им ты.

Одинокий сверчок, не кричи над дорогой,  
наше лето ушло, дня погас огнемёт;  
мы с тобою одни на равнине пологой, –  
нас не слышит никто, нас никто не поймёт...

## Алексей Глазунов



### У РЕКИ

*рассказ*

В первые сентябрьские дни в Степном уже веет осенью. Воздух свеж и прозрачен. И даже в полдень солнце не может раскалиться по-летнему. В садах частных подворий приятно пахнет зрелыми яблоками и пожухлой листвой. В палисадниках зацветают осенние цветы: астры, георгины, хризантемы... И коснётся сердца едва уловимая волнующая неутолимая печаль. И откуда она в душах людей? Непонятно... Возможно, осенняя природа дарит нам прозрение и мудрость? И хочется взглянуть в небо, увидеть горизонты да махнуть к реке!

Предложение съездить на рыбалку Назару понравилось. И он в субботний день отправился на рынок за рыболовными снастями. Купил спиннинг, удочку, запасные крючки, поплавки. Продавец спросил:

— Вам садок какой?

— Побольше, — рассмеялся парень.

При выходе из магазина Назар столкнулся нос к носу с дедом Васылём.

— Здравствуйте.

— Здравствуй-здравствуй, парень красный! А ты не иначе як за рыбой собрался?

— Едем с товарищами на природу.

— Возьмите и меня...

— А что, вы любите природу?

— Я больше рыбу люблю... Шо в рот, то спасибо. Возьмите, а?... Я в лодке мало места занимаю. А природу тоже люблю. Помню, в детстве, бывало,

---

**Глазунов Алексей Иванович**, член Союза писателей России. Родился в посёлке Гигант Сальского района в 1955 году. Автор сборников повестей и рассказов: «На грешной земле», «Журавлик», «Чертополох», «Узел» (роман), поэзии: «В ожидании высоты», «Вдвоём». Живёт и работает в Сальске Ростовской области.

пойдем с пацанвой на край села, к речке: купаемся, в салки играем, тютюн тилибумкаем... Житышко!.. А шас, так, нарежу полыни, сделаю веник и мету им полы. И всю зиму у меня в хате запах степи. А пасека!.. А ты спрашуешь, люблю я природу чи не? Люблю еще як!.. Ты бы мне подмог оклунок с картошкой довести до дому.

— Хорошо.

Подъехали к дедову домику. Вышли. Повеяло приятно и аппетитно запахом жареной рыбы с лучком.

— Як вкусно пахнет, жаль не у нас, — разочарованно проговорил дед Васыль.

Назар помог занести во двор картофель. Показалась баба Валя.

— Еду за рыбой, Валюшка, — гордо произнёс дед Васыль. — Собирай харчи!

— У шкафчику хлеб и килька консервная.

— От, дурёха, ты — як мала дытына; кто ж на рыбалку берёт рыбу? Примета плохая, клёва не будет, — со знанием дела пыжился дед.

— Тебе без конца её подавай, рыбный алкоголик! — в сердцах выплеснула баба Валя.

— Та цэ ж не грех. А хотя бы и грех... В Писании як сказано: грех осуждай, а грешника люби...

Собирались на рыбалку и казаки. Кондрат подкатил ко двору Лёхи Квача на новеньком голубом «форде». Притормозил возле его «лайбы», пыльной и грязной. За калитку вышел улыбающийся хозяин.

А Кондрат сразу:

— А почему, урядник, у тя машина немытая стоит? Непорядок!

— Так дождя жду, — оправдывался Лёха, — он и помоеет, а я потом только тря-почкой протру, и всё...

— Ты что, хошь, чтобы тебе сам Бог прислуживал, грешная твоя душа?

— А кому Он что дал, я тут не причём, — с хитрецей выговорил юркий казак.

В проёме калитки вырисовался пятилетний Андрюха, и мигом подскочил к новенькому «форду», заглядывая в окна, восхищённо ахая и шмыгая носом:

— Дядь, моно я посизу?

— Иди отсель, иди! Трёсса тут... — насупился Кондрат.

— Я немнозекко, — улыбался мальчишка с выщербленными зубами.

— Кому я сказал, брысь, отрёпыш!

Андрюха состроил на лице недовольную мину, надул губки и, глядя исподлобья на несговорчивого дядьку, процедил:

— Это надо запомнить...

Кондрат, поведя животом в сторону Лёхи, сообщил:

— Нас приглашают на рыбалку. Едем?

— На рыбалку — аж бегом! Лодка резиновая есть. Снасти — тоже. Червей по дороге раздобудем.

— Да надо б ещё водочки...

— Возьмём. Одной на двоих достаточно. Больше — ни-ни! Хватит. Сколько можно? Здоровья уже нету.

Напарник согласно кивал головою. А Лёха продолжал:

— Обойдёмся одной... мы же не для того, чтобы напиться, а раскрепотиться, пообщаться. Общение — большое дело! Душу раскрываешь, как на исповеди. А исповедаться — это святое деяние! Одной хватит... ну... может быть... ещё одну и... запрячем! Куда-нибудь подальше. На всякий пожарный. Так спокойнее. Вот, когда в бутылке есть ещё хоть немножечко водочки, и разговор идёт ладненько. И настроение — разлили малина! А когда на дне пусто — ступор. Вся исповедь — на фиг!

— Согласен, — довольно улыбался Кондрат, — заезжай.

Тяжело уселся в салон автомобиля и нажал на газ.

Андрюха в ту же секунду подхватил с земли камень и со всей силы замахнулся в сторону новенького «форда». Лёха чудом успел перехватить руку малого сорванца.

За полдень, два легковых автомобиля с рыбаками мчались по трассе в сторону желанного Маныча. Несмотря на осень, деревья стояли, укутанные зеленью. И только тополя, растревоженные ветерком, швыряли на дорогу жёлтые пятки листьев. Проезжая село, раскинувшееся у реки, рыбаки заметили на обочине небольшие трафареты с надписями: «черви», «свежие черви», «живые черви!»

— Вот это реклама! — рассмеялся Назар, ехавший с Димоном и дедом Васылём.

Остановились. Подкатила и «лайба» с казаками. Лёха Квач вышел из машины, встряхнулся, лихо закрутил ус:

— Червей я беру на себя.

Подошёл к продавцу, одетому в помятый костюмчик и при галстукке.

— И сколь стоят ваши живчики, бизнесмен?

— Пятьдесят рублей баночка.

— А как вам это нравится? — повернулся казачок к рыбакам и опять к «черве-воду», — вы хорошо хотите.

— Все так продают... — стушевался селянин.

— А чтобы взять, а? — и Лёха выставил вперёд левое ухо.

— Ну, хорошо, за тридцать...

Казак ликовал! А есаул Кондрат расплылся в улыбке:

— Лёха, он, хоть и маленький, а уцепится, как клещ, не оторвёшь — страсть какой цепкий!

В любое время года Маныч, как настоящий хозяин, приветливо встречает своих гостей: и рыбаков, и охотников, и отдыхающих, любующихся его природой.

Автомобили проехали крутые берега реки и остановились в относительно поло-гом месте. Рыболовы выскочили на берег с шумом, гамом! И — к воде. Как будто тысячу лет не были на природе. Денёк потрясающий — солнце, небо, облака! Вдоль берега цветут сиреневые сентябрины, похожие лепестками на дикие ромашки, кучерявится лиловый кермек, стелется бледно-голубая

попынь, распушились рыжие метёлки камышей. Справа, со стороны дубравы, слышится прощальное, тоскующее: «Ку-ку!» Внизу, в куширях, одиноко с осторожностью вибрирует лягур: «Цкве-е-е...», — не услышав поддержки, смолкает. Над водою разрезают воздух крыльями речные чайки. В заводях собираются стайки лысух и нырков, озабоченные предстоящим перелётом. Звонко всплескивает рыба, показывая серебро чешуи.

А народ уже устроился у берега: кто с удочкой, кто со спиннингом. Ах, этот азарт! Рыбаки от страсти дрожмя дрожат. Сейчас! Сейчас начнётся клёв! Рыба по-прёт, только вынимать успевай! Эх, хвост-чешуя!

— Дед Васыль! — несётся от воды, — разводи костёр да казан устанавливай!

И вот тебе — счастливый возглас:

— Ключуло! Есть! — это Назар кричит: поймал бубыря с мизинец. — Значит, с рыбой Маныч!

И опять тишина. Прошёл час и — ни гу-гу!.. Рыболовы, оставляя удочки, грустные подходили к дедову кострищу, пышущему жаром и веющему приятным дымком. Кто присел, а кто улёгся на пахучую опынь.

— Э-э-э... — протянул Лёха.

— Ото ж, — поддержал Кондрат.

— Мда... — произнёс Димон.

— Угу... — согласился Назар.

— Эх, — заключил дед Васыль, — говорил бабке: не клади кильку.

— А давай по маленькой, за удачную рыбалку! — подал идею Кондрат.

И сразу компания зашевелилась, зашумела. Стало намного веселее!

И уж потом Лёха Квач достал из машины резиновую лодку, клееную-переклеенную, стал накачивать «лягушкой».

— Щас сеточку поставим и — порядок! Будем с рыбой.

— Это же как бы браконьерство, — засомневался Назар.

— А моя совесть чистая! Наверху, власти, рази не браконьеры? — убеждал Лё-ха, — это мы для них вроде той рыбки, а они, что хотят, то и делают. Так что, не надо, товарищ...

Назар и Лёха, с треском ломая камыши, зашли в «забродах» в воду, вспугнув стайку мальков. Пахнуло илом, смятым чаканом. Кинули на речную гладь лодку, звенящую резиновыми баллонами. Забросили в неё мешок с сеткой, тычку. Забра-лись и сами в посудину.

— Назар — на вёсла! — скомандовал Лёха.

«Капитан», привязав один конец сетки за пучок камыша, стал аккуратно «высы-пать» снасть. А Назар, медленно загребая вёслами, смотрел вокруг, любясь Манычской природой. Глубоко дышал и блаженствовал. Вода в реке чистая, будто отстоенная, видно до самого дна. Между затопленных карчей медленно, по-хозяйски, проплыла прогонистая щука, среди водорослей шмыгали небольшие полосатые окуни. А по воде, от куста к кусту, плавно направлялась тёмно-рыжая ондатра, оставляя за собой след лёгких волн. От весла шарахнулся, извиваясь, юркий уж, и че-рез секунду исчез под водой.

Сеть закончилась. Лёха воткнул тычку в дно, а к ней привязал край сетки.

— Вот и управились, — геройски сказал он, — даже поплавок не видать. Всё шито-крыто. Учись, казак!

— Что-то баллоны ослабли, — высказал сомнение Назар, — воздух вон как шипит.

— А что ты хотел? Боевое судно. А не нравится, так открути крышку клапана и дуй. Лёгкие у ты молодые, а я буду грядсти.

И парень открутил. Воздух со свистом вырвался через нарушенный клапан наружу, и баллон вмиг оказался пустым. Рыбаков по пояс залила вода. Они прижались друг к дружке и старались сохранять равновесие на одной половине.

— Держись-держись, — шептал Лёха, — может, дотянем... А то будет: не рыба к нам, а мы к ней... Гребём руками. Ничё, погода тихая... Если пойдём под воду, снимай одёжку и «заброды». Ничё, выплывем...

«Вот и «насытились» природой напоследок, — нервничал Назар, — дотянуть бы до берега...»

Плыли по воде, как будто шли по канату: медленно и осторожно.

На берегу стоящие увидели катастрофу и кричали:

— Спокойно! Всё будет нормально!

С облегчением «лодочники» коснулись илистого дна и, шумно хлюпая водой, тяжело выбрались на берег. Димон и Кондрат помогли вытащить повреждённую лодку.

— Ничё, подремонтируем тебя, кормилица, — с нежностью проговорил Лёха.

— Да у тебя не лодка, а плавучий гроб, — раздражённо выговорил Назар.

— Хлопцы, раздевайтесь и до костра, быстро! — скомандовал Дед Высьль, — главное, чтобы бубенчики не застудились.

А на костре уже закипал казан. Рыбаки, оставшиеся на берегу, надёргали разнорыбицы: плотвы, метисиков, окуньков, краснопёрки, ласкиря. Солнце укладыва-лось за бугор. А на небе появились растущий месяц и первая звезда.

— Гля, месяц, як сазан золотистый, в казан занырнул, — удивился дед и стал помешивать черпаком уху. — А русалок там не встренули? — посмеивался он.

— Нет. Не люблю я русалок, — ответил Назар.

— А шо ж так?

— У них ног нет.

Тут уж захохотали все.

— Давай наливай, для сугреву!

Установили раскладные стульчики и столик. Достали из рюкзаков походную посуду: жестяные глубокие миски, алюминиевые ложки и одну деревянную с выщербленным краем. И пошёл черпак по кругу, разливая горячую ароматную уху, сдобренную лучком, укропчиком, молотым душистым перчиком.

И неслоь со всех сторон:

— Уха — за уши не оттянешь!

— Будешь исть и смеяться!

— Ох, и сладка, едрёна корень!

Дед Васыль быстро выхлебал свою порцию и стал постукивать по миске деревянной ложкой. А Кондрат, раздобревший после чарки, поддержал старика:

— Дед, наливай себе ишо, вон какой ты худой.

— А лихой петух жирён не бывает, — парировал дед Васыль. — Эх, ладно... Хороша ушица! — и зачерпнул с ухой окунька, — благодарствую, — блеснул слезою, — всем люб Маныч: и накормит, и приютит, и даст душою оттаять...

— Ой, да вокруг Маныча что только не бывало-не приключалось, — заговорил Лёха, — год назад, в ноябре, холодно уже было... выплыли мы с Кондратом на сети. Он стал рыбу «выбивать» и сильно перехилился... и кувырк в воду! В фуфайке, шапке, забродских сапогах. Вынырнул, за лодку хватается, глаза выпучил, с ноздрей бульбы лезут. Точно мокрый кошка. Я от смеха чуть сам за борт не перекинулся. А он: «Бу-бу-бу». Продышался и говорит: «Не рассказуй только казакам, а то за-смеют». Вот такой конфуз.

— А сам-то, — не выдержал Кондрат и заговорил, захлёбываясь, — этим летом, значь, рыбачим, вон там, ближе к дубраве. Услыхал Лёха в кустах шум, треск и крики бабьи. Переполошился! «Та, — грю, — охолонь, парубок с девкой на моцике заехали». Так не! Схватил дрын и кинулся в гущину дубравы. Заступник. Геройский казак. Через минуту выскочил обратно. Без дубины. Закрывает левый глаз и бормочет: «Пр... про... простите, простите...» Во иде конфуз! — и Кондрат от смеха затряс животом, — их-их-их!..

И рыбаки давай говорить-выговаривать каждый свою байку с вывертами да с коленцами. Со смехом да со слезами. И всяк норовит поперёд друг друга. А где их ещё услышишь? В самый раз у костра, под небом звёздным, за ухой да под чарочку!

— Как-то раз, приехал я с подружкой на Маныч, — начал Назар. — Снег идёт крупными хлопьями. Дубрава вся белая, пушистая. Зимняя сказка! И мы вдвоём на всём белом свете! Решили костерок развести, шашлык пожарить. Остановились у берега. Вышли. А на льду людей — тьма тьмущая. В тулупах, кожихах, валенках. Все подлёдным ловом увлечены. И вдруг разом глянули на нас. И так мне стало за себя конфузно: все мужики, как мужики, над лунками дрожат-мёрзнут, а я — с девкой, надумал на снегу шашлыки жарить. И не только шашлыки...

— Ну, раз вы про девок, — махнул рукой дед Васыль, — тада и я расскажу. А дело було до войны. В том селе, шо у Маныча. Я в артели на быках воду возил, а Петро, мой одноклассник, на бедарке — председателя. И еще за коньми ухаживал. Должность у его, вроде, выше моей. Да и сам он ладно скроен. А влюбились в одну дивчину. Гарна така була. И от он усегда поперёд меня: усадит на бедарку раскрасавицу и у степь! И вот гляжу, он опять поехал к ей. Забрала меня тоска-ревность. Взял я ножницы, шо овец стригут, и следом к её дому. Так шкандылял, аж взопрел. Но успел. Стоит конь чубарый копытом бьёт. И я представил як полюбовники у степу кувыркаться будут. Не сдержался. И чикнул коню хвост повыше того места, откуда «яблоки» сыплются. Вот им и конфуз... Хай типерь поездут. А лично я не люблю на

открытых линейках трястись: от лошадей шерсть и волосы летят, да и питаются они не святым духом.

Дед Васыль икнул, перекрестил рот.

— Назарка, а у тебя закурить нема?

— Держите.

Дед выкатил веточкой из костра уголёк, взял в ладони. Прикурил. У рыбаков глаза — на выкат! А он:

— Та это шо? Ерунда! Вот в детстве, бывало, запалим деревянное колесо и катим в гору всей гурьбой. Игры у нас такие были... Так шо, руки у меня закалённые.

Закурили и остальные. Ночь. Тишина. Костёр утихомирился, дышит жаром да иногда потрескивает хворостом. Где-то далеко загудел поезд и гулко застучал по железнодорожному мосту. Рыбаки стали укладываться на ночлег. Назар и Димон улеглись в «Ауди», Кондрат в — «лайбе». А дед Васыль и Лёха натаскали соломы, накинули полог и укрылись ватным одеялом.

— Комары загудели, заразы, — недовольно высказался Лёха.

— А ты кинь в костёр полыни, хай продымит их, чертей. А я, ото, и не чую. Так шо, в глухоте есть и положительный момент. От и дома — бабку донимают комары, разные шорохи, а мне хоть бы хны: дрыхну без задних ног.

Ночное небо завораживало далёкими звёздами. Чертили небосвод спутники. Срывались, сгорая, метеориты. Мигали разноцветными огнями самолёты.

— Ото не летающая тарелка, а? — дед толкнул в бок Лёху.

— Та не...

— Я этих инопланетян видел, як тебя.

— Нам в Степном ещё инопланетян не хватает, — подал голос Димон.

— Сижу як-то на пасеке. Ночь. Небо такое ж, в звёздах, — продолжал дед Васыль, — глядь, идут. Двое. Будто плывут, чуть покачиваясь. И земли не касаются. Шкет поджал хвост и к мне. Я за клюку. А они: «Не ковырайсь и не гоношись». «А вы кто такие?», — «Не твоё дело», — «А шо вам надо?», — «Шоколада...»

— Выпить им надо было, — рассмеялся Димон.

«...Смотри, — говорят, — если чё, мы тебя найдём». — О такие они...

— Какие-то невоспитанные инопланетяне к вам пожаловали, — высказался, улыбаясь, Назар.

— Дед, слышь, — подал голос Лёха, — я хочу пчёл разводить. Ты мне дай несколько пчёлков. А я цветов насажу, и пусть мёд носят. Дашь?

— Дам...

— А улей как делать, а?

— Як собачью будку.

— А почему? Таких же больших пчёл не бывает...

— Зато бывает кусаются, як собаки, — расхихикался дед.

Лёха ворочался с боку на бок.

— Дед, а дед...

— Ну, чего?

— Вот, ежели доживу до утра, всё — брошу пить.

— Та ты сказився, чи шо? И придумаешь... Зарекалась баба рожать... Спи уже...

Первыми проснулись дед Васыль и Лёха. Промозглое утро пробирало холодом. Серый туман перекатывался клубами и стелился по реке, цеплялся клоками за камыши, занавешивал поднимающееся солнце.

— Вот это дубняк, — стучал зубами Лёха, — я закоцуб, как сосулька. О!.. У ме-ня ж во фляжечке «н.з.» есть.

Лёха принёс из машины маленькую железную бутылочку.

— Глотни, дедуль.

Дед взял в руки флакон:

— Хороша баклажка: и не разобьётся, и не разольётся. Плохо тока одно: не видать скоко в ней осталось водочки. Приходится определять на слух — взбалтывать. А если музыкального слуха нету? И пропал человек, — и дед Васыль с удовольствием приложился к горлышку.

Лёха сообразил, что дед не одно молоко пил в своей жизни...

— Э! Э! Э-э-э!!! Не увлекайся, дед!

— Та шо тут его було...

Пробудились и остальные рыбаки. Загудел голос Кондрата:

— Привиделся сон, самый страшный для казака...

Все насторожились и притихли во внимании.

— Приснилось, вроде как мне сбрили усы. Оххх!.. Господи, не допусти...

Туман растворился в лучах восходящего солнца. И рыбаки увидели потрясающую картину. Над водой на полметра виднелась сеть, а в ячейках искрилась чешуёй трепещущая рыба.

— Боже ж ты мой!

— Как это?!

— Да так, — объяснил Кондрат, — видно, перекрыли шлюзы, и часть воды ушла. Давай, Лёха, собирайся на сеть, а я займусь лодкой.

Тучный Кондрат, потея, накачивал резиновый плот. И вдруг, как гром среди ясного неба, взорвалась лодка, превратившись в лоскуты.

— Ух, ты, мать твою! Перекачал. Вот те и сон в руку, — испуганно лепетал он.

— Чтоб тебе пусто было, — выругался в сердцах Лёха.

Дед Васыль сразу загрустил:

— Не дал нам Маныч рыбки...

Но Лёха, раздевшись, добрался до ближнего края сетки. И рыбаки, как бурлаки, вытащили её на берег. Улов был богатым.

— Вам какую рыбу дать, — спросил Лёха у деда Васыля, — сазана или судака?

— Ой, мини всё одно, лишь бы — да. А моя Валюшка вон таких любит, — указал дед на самого крупного сазана.

Остальную рыбу разложили примерно на равные четыре кучки.

— Тут такое дело, — проговорил с иронией Кондрат, — главное, чтобы при делёжке физиономию не подравняли... Дед, отворачивайся, я буду указывать на рыбу, а ты говори — кому.

## У реки

Повеселевший дед Василь с удовольствием произносил:

— Кондратию, Лёньке, Димке, Назарке...

Рыбаки собирали и укладывали свои пожитки. Довольные — дальше некуда!

Домой ехали в приподнятом настроении. Впечатлений — выше крыши! Дед Василь дремал: устал старик. Подкатили к его двору. Дед встряхнулся, забрал свой улов и, кряхтя, вышел из машины.

— Благодарствую. Приглашайте еще, — и стал оживлённо кричать в сторону своей хаты, — Валюшка! Валю-у-шка-а! А ну, выходи!

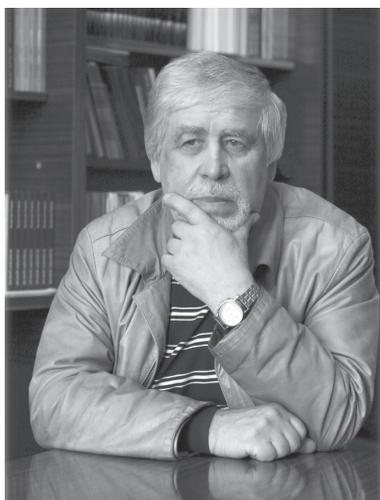
— Доволен старик, — заметил Димон.

А что человеку надо для счастья? Общения. Да ещё частичку природы. Если и есть рай, то он здесь, на земле!



Река Маныч

## Владимир Скиф



### В КОЛЮЧКАХ ДНЯ

\*\*\*

Та жизнь, что была – утекла из сознания.  
Забыл я летучих коней на лугу,  
Деревьев и трав золотые названия,  
И клинопись птичьих следов на снегу.

Та жизнь оступилась и стала обманом, –  
Ушиблась душа и листочком дрожит.  
Трясёт пол-России дырявым карманом,  
И глохчет палёную водку мужик.

---

**Скиф (Смирнов) Владимир Петрович**, член Союза писателей России, руководитель Иркутского регионального отделения. Родился на ст. Куйтун Иркутской области. После семилетки поступил в Тулунское педагогическое училище. В 18 лет уже работал учителем в родной школе посёлка Лермонтовский. Закончил Иркутский государственный университет.

Выпустил в Москве и в Иркутске 22 книги. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «Роман-журнал XXI век», «Юность», «Молодая гвардия», «Родная Ладога», «Подъём», «Сибирские огни», «Дальний Восток», «Сибирь», «Байкал», «Енисей», «День и Ночь», «Огни Кузбасса», и др. В журнале «ДОН\_новый» публикуется впервые.

В. Скиф награждён Орденом «За службу России», Золотой Есенинской медалью «За верность традициям русской культуры и литературы», медалью М.В. Ломоносова, медалями Адмирала Кузнецова, Георгия Жукова, медалью Акинфия Демидова и другими медалями. Он победитель V Московского международного конкурса поэзии «Золотое перо-2008», победитель поэтического конкурса «Неизбывный вертоград» им. Николая Тряпкина (2010), лауреат Всероссийской литературной премии им. П. П. Ершова (2009), Всероссийской литературной премии «Белуха» им. Г. Д. Гребенщикова (2014), лауреат Международной премии «Имперская культура» им. Профессора Эдуарда Володина (2014), Всероссийской литературной премии имени Н. А. Клоева (2014), лауреат годовой премии журнала «Наш современник» (2014), дважды лауреат Губернаторской премии Иркутской области (2010, 2011).

Живёт и работает в Иркутске.

Земля поросла трын-травой и дурманом,  
В деревне крест-накрест забито окно,  
И небо сверкает гранёным стаканом,  
Упёршись в российское твёрдое дно.

### НА ВСТРЕЧЕ С ВЛАСТЬЮ

*Александру Муравьёву*

На встрече с властью,  
где народ мой скорбный  
Стоял униженный, полуживой,  
Один художник горестно исторгнул:  
«Мы – инвалиды Третьей Мировой!»

Властители гремели в упоенье  
Своей гордыней, властью над толпой,  
Не слыша, как нашёптывали тени:  
«Мы – инвалиды Третьей Мировой».

Зал мёртвым был –  
он, молча, власти слушал,  
Он был российской точкой болевой,  
Где, кажется, кричали сами души:  
«Мы – инвалиды Третьей Мировой!»

Как улыбалась Городская Дума!  
Как губернатор в «Форд» садился свой!  
Он, отъезжая, про народ подумал:  
«Вы – инвалиды Третьей Мировой...»

Зал опустел. Струилась кровь заката.  
А рядом время плакало вдовой,  
И в небе длань простёрлась,  
как расплата,  
За инвалидов Третьей Мировой.

\*\*\*

Чем старше я, тем строже выбор  
Красавиц, здравиц, новизны.  
И, как ни странно, я не выбыл  
Из песен, музыки, весны.

Чем старше я, тем больше толку  
На свете стало от меня. –  
Хотя враги меня, как волка,  
Зафлажили в колючках дня.

Чем старше я, тем достоверней  
Мысль, что спасёмся красотой!  
И мне всё ближе Достоевский,  
Чем Короленко и Толстой.

Чем старше я, тем гуще время  
Замешивает жизнь мою...  
И всё отчётливее кремний  
Скрипит у бездны на краю.

### **ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ**

Кто музыку высек на солнечном диске?  
Её выводил на орбиту Стравинский!  
По небу летели – над лесом, над полем –  
Листы партитуры, диезы, бемоли...  
Качались, кричали, печалились звуки...  
Не лебеди плыли – Стравинского руки.

Играет Стравинский! – О как фортепьяно  
В ночи полупьяной звучит осиянно!  
Горят метеоры, гудят инструменты;  
Цветут разговоры, шелка, позументы...  
Струится мелодия цвета и света –  
И в поле, и в космосе музыка эта.

Горящие клавиши, и наизнанку –  
Летучие листья и дождь спозаранку,  
Серебряный, лёгкий... И крыша сарая,  
И летние сны, и крапива сырая.  
Сгибается шея невиданной арфы,  
И светятся ноты под сводами арки,

Под сводами грота, беды, нотоносца,  
Где говор и шёпот с французским проносом.  
Не слабнут с землёй неразрывные узы,  
Восходит дыханье мятущихся музык.  
Не гаснет Россия в концертах заморских...  
Как море гудит – не отравленный Моцарт,

С ним рядом гуляет прощённый Сальери,  
И делится вечностью Дант Алигьери...  
Никто никого не травил, не травился,  
И Шуберт не умер, и выжил Стравинский,  
И Григ оживает, исполненный смысла...  
И музыка в небе, как солнце, зависла.

К 50-летию поэта

## Алексей Сазонов



### БОЛЬНО И СЛАДКО

#### НАСТРОЕНИЕ

В листе прохладной, невидимками,  
Трубили горлицы тоскливо.  
По улицам и над тропинками  
Кружилась пыль неторопливо, —

Горячая, в ленивой грации...  
И утопали по колени  
Пышноцветущие акации  
В зелёном облаке сирени.

Как музыка — разноголосица...  
И так мучительно и сладко  
Хотелось в это небо броситься  
И раствориться, без остатка!

\*\*\*

Торопливые, ломкие льдинки  
Молчаливо пронесит река...  
Бьётся в голых кустах паутинка,  
Пережившая паука.

---

**Сазонов Алексей Иванович**, член Союза писателей России (2011), поэт. Автор книг стихов «Коля» (2009), «Где-то за радугой» (2010). Победитель конкурса «Поэтические сезоны Калитвы» (2006) и литературного конкурса «Новогодняя карусель» (2010).

Живёт и работает в п. Коксовом Белоклитвенского района Ростовской области.

Растерявшая летнюю негу,  
Спит природа, уснув на бегу,  
Меж сугробов лилового снега  
На чернеющем берегу...

\*\*\*

*Подражание Лорке*

Осень поила  
Птиц перелётных  
Влагой с ладони.

(Рыжие листья,  
Мокрая глина,  
Белые корни...)

Всё не погаснет  
Сонных деревьев  
Медное пламя.

(Хрупкая ветка,  
Где паутина  
Вьётся, как знамя...)

Бледное солнце  
В небе играет  
С тучами в прятки.

(Знобкие лужи,  
Блёклые краски, –  
Больно и сладко.)

## **СВЕТ ПРОЩАЛЬНЫЙ**

На понурившихся ветках  
Разгоралась беспечно  
Зрелой осени пометка –  
Свет вечерний, свет прощальный.  
    Чем темней, пылают ярче  
    Листья изжелта-зелёным,  
    В сером небе, – на удачу  
    Всем несчастным и влюблённым!  
Буйно красками взорвался  
Куст рубиново-янтарный...  
Я молчал и любовался,  
Позабыв, что свет – прощальный.

### Вольно и сладко

Позабыв про холст и кисти,  
Я внимал, смотрел и слушал,  
Как мерцали тихо листьев  
Отлетающие души...

### КОЛЧАК

Залп нестройный прозвучал,  
Нет назад дороги. –  
Помяни нас, адмирал,  
У престола Бога!

Белым саваном шуршат  
Снежные метели...  
Улетала вверх душа,  
Уплывало тело...

Как от сумрачной земли  
За нездешним хлебом  
Отходили корабли  
В голубое небо...

\*\*\*

Солнце красное – за вишнёвый сад:  
Не горел пожар, догорал закат.  
Догорал закат, как в костре зола...  
Не клубился дым – опускалась мгла.

Опускалась мгла – хоть горшки лепи!  
Пролетал свинец в тишине степи...  
Пролетал свинец на исходе дня, –  
Сотни вёрст вокруг, а попал в меня.

А попал в меня, повстречав в пути:  
Видно, вор стрелял, Бог его прости!  
Бог его прости, вора в темени,  
А мне б с седла сойти, вон из стремени!

Но, почуяв кровь, потеряв узду,  
Конь пустился вскачь, на мою беду;  
Конь пустился вскачь – век тому назад,  
А всё летит свинец, всё горит закат.

Всё несёт мой конь, не меня – тоску!  
По седой траве, да по камням–песку...

# Крутояр

Раздел посвящён Донскому краю  
и донским писателям, деятелям  
искусств, его прославлявшим



«КРУТОЯР» — любимое место на Дону Михаила Александровича Шолохова

## Михаил Шолохов



### ПРОДКОМИССАР

*Рассказ*

I

В округ приезжал областной продовольственный комиссар.

Говорил, торопясь и дёргая выбритыми досиня губами:

— По статистическим данным, с вверенного вам округа необходимо взять сто пятьдесят тысяч пудов хлеба. Вас, товарищ Бодягин, я назначил сюда на должность окружного продкомиссара как энергичного, предприимчивого работника. Надеюсь. Месяц сроку... Трибунал приедет на днях. Хлеб нужен армии и центру вот как... — Ладонью чиркнул по острому щетинистому кандыку и зубы стиснул жёстко. — Злостно укрывающих — расстреливать!..

Головой, голо остриженной, кивнул и уехал.

II

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: развёрстка.

По хуторам и станицам казаки-посевщики богатыми очкурами покрепче перетянули животы, решили разом, и не задумавшись:

— Дарма хлеб отдавать?.. Не дадим...

На базах, на улицах, кому где приглянулось, ночушками повыбухали ямищи, пшеницу ядрёную позарыли десятками, сотнями пудов. Всякий знает про соседа, где и как попрятал хлебишко.

Молчат...

Бодягин с прототрядом каруселит по округу. Снег визжит под колёсами тачанки, бегут назад заиндевшие плетни. Сумерки вечерние. Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная. Шесть лет её не состарили.

Так было: июль знойный, на межах желтопенная ромашка, покос хлебов,

Игнашке Бодягину — четырнадцать лет. Косил с отцом и работником. Ударил отец работника за то, что сломал зубец у вил; подошёл Игнат к отцу вплотную, сказал, не разжимая зубов:

— Сволочь ты, батя...

— Я?!

— Ты...

Ударом кулака сшиб с ног Игната, испорол до крова чересседельней. Вечером, когда вернулись с поля домой, вырезал отец в саду вишнёвый костыль, обстрогал, — бороду поглаживая, сунул его Игнату в руки:

— Поди, сынок, походи по миру, а ума-разума наберёшься — назад вертайся, — и ухмыльнулся.

Так было, — а теперь шуршит тачанка мимо заиндепевших плетней, бегут назад соломенные крыши, ставни размалёванные. Глянул Бодягин на раины в отцовском палисаднике, на жестяного петуха, раскрылатившегося на крыше в безголосном крике; почувствовал, как что-то упёрлось в горле и перехватило дыхание. Вечером спросил у хозяина квартиры:

— Старик Бодягин живой?

Хозяин, чинивший упряжку, обсмоленными пальцами всучил в драгву щетинку, сощурился:

— Всё богатеет... Новую бабу завёл, старуха померла давненько, сын пропал где-то, а он, старый хрен, всё по солдаткам бегаёт...

И, меняя тон на серьёзный, добавил:

— Хозяин ничего, обстоятельный... Вам разве из знакомцев?

Утром, за завтраком, председатель выездной сессии Ревтрибунала сказал:

— Вчера двое кулаков на сходе агитировали казаков хлеб не сдавать... При обыске оказали сопротивление, избили двух красноармейцев. Показательный суд уст-роим и шлёпнем...

### III

Председатель трибунала, бывший бондарь, с приземистой сцены народного дома бросил, будто новый звонкий обруч на кадушку набил:

— Расстрелять!..

Двух повели к выходу... В последнем Бодягин отца опознал. Рыжая борода только по краям заковылчилась сединой. Взглядом проводил морщинистую, загорелую шею, вышел следом.

У крыльца начальнику караула сказал:

— Позови ко мне вот того, старика.

Шагал старый, понуро сутулился, узнал сына, и горячее блеснуло в глазах, потом потухло. Под взъерошенное жито бровей спрятал глаза.

— С красными, сынок?

— С ними, батя.

— Тэ-э-эк... — В сторону отвёл взгляд.

Помолчали.

— Шесть лет не видались, батя, а говорить нечего?

Старик зло и упрямо наморщил переносицу.

— Почти не к чему... Стёжки нам выпали разные. Меня за моё ж добро

## Продкомиссар

расстрелять надо, за то, что в свой амбар не пушаю, — я есть контра, а кто по чужим закомам шарит, энтот при законе? Грабьте, ваша сила.

У продкомиссара Бодягина кожа на острых изломах скул посерела.

— Бедняков мы не грабим, а у тех, кто чужим потом наживался, метём под гребло. Ты первый батраков всю жизнь сосал!

— Я сам работал день и ночь. По белу свету не шатался, как ты!

— Кто работал — сочувствует власти рабочих и крестьян, а ты с дрекольем встретил... К плетню не пускал... За это и на распыл пойдёшь!..

У старика наружу рвалось хриплое дыхание. Сказал голосом осипшим, словно оборвал тонкую нить, до этого вязавшую их обоих:

— Ты мне не сын, я тебе не отец. За такие слова на отца будь трижды проклят, анафема... — Сплюнул и, молча, зашагал. Круто повернулся, крикнул с задором нескрытым: — Н-но-о, Игнашка!.. Нешто не доведётся свидеться, так твою мать! Идут с Хопра казаки вашевскую власть резать. Не умру, сохранил мать божия, — своими руками из тебя душу выну...

Вечером за станицей мимо ветряка, к глинищу, куда сваливается дохлая скотина, свернули кучкой. Комендант Тесленко выбил трубку, сказал коротко:

— Становитесь до яру ближе...

Бодягин глянул на сани, ломтями резавшие лиловый снег сбочь дороги, сказал придушенно:

— Не серчай, батя...

Подождал ответа.

Тишина.

— Раз... два... три!..

Лошадь за ветряком рванулась назад, сани испуганно завилияли по ухабистой дороге, и долго ещё кивала крашенная дуга, маяча поверх голубой пелены осевшего снега.

## IV

Телеграфные столбы, воробьиным скоком обежавшие весь округ, сказали: на Хопре восстание. Исполкомы сожжены. Сотрудники частью перерезаны, частью разбежались.

Продотряд ушёл в округ. В станице на сутки остались Бодягин и комендант трибунала Тесленко. Спешили отправить на ссыпной пункт последние подводы с хлебом. С утра пришагала буря. Понесло, закурило, белой мутью запорошило станицу. Перед вечером на площадь прискакало человек двадцать конных. Над станицей, застрявшей в сугробах, полыхнул набат. Лошадиное ржание, вой собак, надтреснутый, хриплый крик колоколов...

Восстание.

На горе через впалую лысину кургана, понатужась, перевалили двое конных. Под горою, по мосту, лошадиный топот. Куча всадников. Передний в офицерской папахе плетью вытянул длинноногую породистую кобылу.

— Не уйдут коммунисты!..

За курганом Тесленко, вислоусый украинец, поводьями тронул маштака-киргиза.

— Чёрта с два догонят!

Лошадей «прижеливали». Знали, что разлапистый бугор лёг вёрст на тридцать.

Позади погоня лавой рассыпалась. Ночь на западе, за краем земли, сутуло сгор-батилась. Верстах в трёх от станицы в балке, в лохматом сугробе, Бодягин заприметил человека. Подскакал, крикнул хрипло:

— Какого чёрта сидишь тут?

Мальчонка малюсенький, синим воском налитый, качнулся. Бодягин плетью взмахнул, лошадь замордовалась, танцуя подошла вплотную.

— Замёрзнуть хочешь, чертячье отродье? Как ты сюда попал?

Соскочил с седла, нагнулся, услышал шелест невнятный:

— Я, дяденька, замерзаю... Я — сирота... по миру хожу. — Зябко натянул на голову полу рваной бабьей кофты и притих.

Бодягин молча расстегнул полушубок, в полу завернул щуплое тельце и долго садился на взноровившуюся лошадь.

Скакали. Мальчишка под полушубком прижух, оттаял, цепко держался за ременный пояс. Лошади заметно сдавали ходу, хрипели, отрывисто ржали, чуя нарастающий топот сзади.

Тесленко сквозь режущий ветер кричал, хватаясь за гриву бодягинского коня:

— Брось пацанёнка! Чуешь, бисов сын? Брось, бо можуть поймать нас!..

— Богом матюкался, плетью стегал посиневшие руки Бодягина. — Догонят — зарубают!.. Щоб ты ясным огнём сгорив со своим хлопцем!..

Лошади поравнялись пенистыми мордами. Тесленко до крови иссёк Бодягину руки. Окостенелыми пальцами тискал тот вялое тельце, повод уздечки заматывая на луку, к нагану тянулся.

— Не брошу мальчонку, замёрзнет!.. Отвяжись, старая падла, убью!

Голосом заплакал сивоусый украинец, поводья натянул:

— Не можно уйти! Шабаш!..

Пальцы — чужие, непослушные; зубами скрипел Бодягин, ремнём привязывая мальчишку поперёк седла. Попробовал, крепко ли, и улыбнулся:

— За гриву держись, головастик!

Ударил ножами шашки по потному крупу коня, Тесленко под вислые усы сунул пальцы, свистнул пронзительным разбойничьим посвистом. Долго провожали взглядами лошадей, взметнувшихся облегчённым галопом. Легли рядышком. Сухим, отчётливым залпом встретили вынырнувшие из-под пригорка папахи...

Лежали трое суток. Тесленко, в немытых бязевых подштанниках, небу показывал пузырчатый ком мёрзлой крови, торчащей изо рта, разрубленного до ушей. У Бодягина по голой груди безбоязненно прыгали чубатые степные птички; из распоротого живота и порожних глазных впадин не торопясь полклевывали черноусый ячмень.

1925 г.

(Рассказ напечатан 14 февраля 1925 года в газете «Молодой ленинец»)

## Эдуард Барсуков



### ГРОЗОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

*Очерк*

Величайший писатель XX века, отразивший в гениальных произведениях высоту духа и трагедийность судьбы своего народа, Михаил Александрович Шолохов, как ни один из его современников, сумел поведать миру суровую правду о братоубийственных войнах, революциях, о социальных разломах, разрушающих целые уклады жизни.

«Мы кожей почувствовали грозное предупреждение «Тихого Дона», — читаем мы у ростовского писателя Василия Воронова, исследователя жизни и творчества великого земляка, — самое страшное в мире — гражданская война. Вспомним казнь Подтёлкова и Кривошлыкова. Вёшенские, каргинские, боковские, краснокутские, милютинские казаки расстреливали казанских, мигулинских, раздорских, кумшатских, баклановских казаков... Казачий офицер Спиридонов вешал своего кума Подтёлкова. Брат убивал брата, сын — отца. Через десятилетия и нам аукнулось: Приднестровье и Абхазия, Армения и Чечня. Сотни тысяч убитых. Брат на брата.

Мудрый дедок говорит Мелехову: «С черкесами воевали, с турками воевали, и то замирение вышло, а вы все свои люди и никак промеж собой не

---

Майор внутренней службы **Эдуард Григорьевич Барсуков** работал литературным сотрудником газеты для осужденных, выпускаемой отделом мест заключения УВД Ростовской области. Был инструктором отдела по политико-воспитательной работе, начальником оргметодического отдела штаба по передовому опыту аппарата управления, работал в политотделе, руководил лекторской группой и секретариатом УИН.

Член Союза журналистов России и Союза российских писателей. Автор стихотворных сборников, рассказов, очерков, эссе. В настоящее время пенсионер МВД России. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

столкнетесь... Ну мыслимое ли это дело: русские, православные люди сцепились между собой, и удержу нету... Пора кончать».

Нет, не вяли, не кончили. Возрождающееся наше казачество опять поделилось на красных и белых. А ведь была идея поставить общий памятник примирения и красным, и белым как символ окончания гражданской войны. Памятника нет, а война тихая, гражданская, продолжается».

Главные конфликты многострадальной российской истории в прошедшем веке отразил гений Шолохова: Первую мировую и Гражданскую войны, революцию и коллективизацию, смертельную схватку с фашизмом. Ему не нужно было ничего выдумывать — он жил в гуще народа, испытывал ту же боль, что и простой люд, радовался его радостям. Поэтому так легко узнаваемы сошедшие со страниц «Тихого Дона» Мелеховы — Григорий, Пётр, Пантелей Прокофьевич, Ильинична. А с какой огромной художественной силой написаны женские образы романа: Аксинья, Наталья, Дарья, Дуняшка. Даже второстепенные персонажи его казачьей эпопеи, такие как Христоня, Прохор Зыков, Аникушка и другие имеют свой неповторимый облик, свою характерную образную речь. Яркой индивидуальностью обладают герои «Поднятой целины», «Судьбы человека», «Они сражались за родину» — Семён Давыдов, Макар Нагульнов, Андрей Размётнов, Кондрат Майданников, дед Щукарь, Андрей Соколов, Николай Стрельцов, Пётр Лопехин, Иван Звягинцев.

Михаила Александровича отличала безграничная доброта ко всему живому. Виталий Александрович Закруткин, близко знавший писателя, отмечал, что доброе отношение Шолохова распространялось не только на героев его книг и близких ему людей, но и на странника-беркута, лисовина, который бродит в степи и чует запах следов куропатки. Он испытывал жалость к увядающему лесному ландышу, к лошади, к дереву — ко всему, что окружало его.

Страстный охотник, Михаил Александрович пишет давнему другу Евгении Григорьевне Левицкой (ей он посвятил рассказ «Судьба человека»), как однажды он подстрелил в степи волка и заглянул в его глаза: «Такая в них была нестынушая ненависть, что как будто зрачки у него дымились. А зрачки этикие огромные, лиловые, не просмотришь. Хороший зверь... После стало как-то не по себе. Знаете, маманя, я, как видно, в недалёком будущем стану толстовцем. Всё чаще мне становится грустно, когда я убиваю птицу либо зверя».

Люди, знавшие Шолохова, рассказывали: он любил смотреть, как возвращается в свои базы на закате стадо коров, как табунятся в степи донские скакуны, всегда был окружён верными ему дворовыми и охотничьими собаками. А как он чувствовал и умел передать с присущей ему образной силой разное состояние природы, которую знал до самых мельчайших подробностей. Вспомним хотя бы сцену грозы в «Тихом Доне»:

«Небо нахмурилось, молния наискось распахала взбугренную чернозёмно-чёрную тучу, долго копилась тишина, и где-то далеко предупреждающе

## Грозное предупреждение

громыхнул гром. Ядрёный дождевой сев начал приминать травы. При свете молнии, вторично очертившей круг, Кошевой увидел ставшую в полнеба бурю тучу, по краям обугленно-чёрную, грозную, и на земле, распростёршихся под нею, крохотных, собравшихся в кучу лошадей. Гром обрушился с ужасающей силой, молния стремительно шла к земле. После нового удара из недр тучи потоками прорвался дождь. Степь невнятно зароптала, вихрь сорвал с головы Кошевого мокрую фуражку, с силой пригнул к луке седла».

Любя и чувствуя ответственность за всё живое на земле, великий русский писатель боролся за него и словом, и делом. По книгам Шолохова читатель XXI века получит возможность осознать, что значили для народа две революции 1917 года, какой ценой проводилась в стране коллективизация и создавалась промышленность.

В последние годы жизни В.И. Ленин, испытывая огромную тревогу за судьбу страны, понимал, что крестьянская, по преимуществу, Россия совершенно не готова к социалистическим преобразованиям. По мнению вождя революции, в этих условиях устанавливать социализм военным путём невозможно и бесперспективно. Отсюда и поиски постепенного, нормального буржуазно-демократического развития, отсюда ленинский НЭП, следуя которому нынешний Китай резко поднял свою экономику, культуру, военную промышленность, обороноспособность страны.

Сталин с его ощущением грядущей войны отказался от НЭПа, начал вводить свой мобилизационный план экономики. Был взят курс на индустриализацию страны, в жертву которому было принесено крестьянство. XX век практически уничтожил русскую деревню, в лучшем случае преобразовал её в нечто новое. Неготовность народа, экономики и промышленности к войне требовала ускоренного пути развития, рывка в будущее, осуществить который можно было только через диктатуру, репрессии, страх. Сталин ставил перед народом великие цели — создание мощной страны с развитой промышленностью, передовой наукой, но шёл к их осуществлению с петровской жестокостью и размахом, о которых ещё Пушкин говорил, что великий реформатор «уздой железной Россию поднял на дыбы».

Не случайно два самых великих писателя XX века Михаил Шолохов и Сергей Есенин, будучи родом из села, услышали начало этого процесса и ощутили всю глубину трагедии русского крестьянства. Не желая мириться с перегибами и нарушением законности на селе, Шолохов бросался на защиту страждущих и обездоленных, молчать он не мог.

## Александр Рогачёв



### НЕ МЕШАЙ МНЕ...

#### ЗАТАИВШИЙСЯ

Дворовый пёс, подслеповатый, старый...  
Он мне напомнил образ...  
И возник  
Передо мной угрюмый, сухопарый,  
С бескровным, плоским черепом старик.

Крадушимися пальцами листал он  
Евангелье. И в душной тишине  
Безжизненно лампадка освещала  
Победоносца с пикой на коне.

А на полу – разведчики вповалку,  
Уснув за трое суток в первый раз...  
Старик рукою высохшей, как палка,  
Крестился:  
– Спите. Я молюсь за вас...

Жужжала потревоженная муха  
И судорожно билась в образа.  
Припал к окошку волосатым ухом  
И просиял, скосив на нас глаза.

Случайный взгляд –  
И я увидел... камень,

### Не мешай мне

Тот камень, что таил он до седин  
За мутными, в прожилинах, белками,  
Обложенными складками морщин.

Он – за порог,  
Я – вслед за ним наружу.  
Он – за угол.  
А ну замри, старик!..

Мы скрылись в ночь.  
В селение по лужам  
С карателями въехал грузовик...

...Мой пёс, конечно, ничего не понял,  
Сидит, свой двор от недруга храня.  
И, если б знал, кого он мне напомнил,  
То от обиды б  
Разорвал меня.

\*\*\*

Друзья сказали,  
Что я пал в бою.  
И наш любимец,  
Наш весёлый писарь,  
Смахнув слезу,  
Взглянул на ротный список  
И вычеркнул фамилию мою.  
А я приполз,  
А я приполз к утру  
К нему в блиндаж,  
И вместе мы уснули...  
Я почему-то верю, что умру  
От радости,  
А вовсе не от пули.

### В ДОРОГЕ

Я полем шёл.  
И было столько света,  
И столько было посвистов вокруг,  
Что вздрогнул я,  
Когда на взгорке где-то  
Картавый ворон мрачно каркнул вдруг.

Смеялось утро, пели птицы рьяно,  
Но было лишь невесело ему.

На камне у дремотного кургана  
Застыл он, равнодушный ко всему...

Мы с ним знакомы.  
Я сквозь годы вижу,  
Как надо мною, раненым, недвижимым,  
На миг крылами солнце заслоня,  
Он опускается  
Всё ниже, ниже,  
Нацелясь клювом дьявольским в меня.  
Но я вздохнул –  
И он отпрянул с ходу...  
Степной колдун,  
Ты, может, вправду тот?  
Манила даль, переливались всходы,  
Дышал теплом апрельский небосвод.  
И так легко –  
Ни грусти, ни тревоги.  
Вот только дьявол чёрного пера.  
Но и ему не омрачить в дороге  
Живой души, исполненной добра.

\*\*\*

Я не хочу сегодня ничего.  
Сбегу к тебе от сутолок безликих,  
Поверю вновь  
В святое колдовство,  
В безгрешность губ твоих,  
Хмельных и диких.  
Поверю,  
Что в сугробном феврале  
Цвела сирень,  
Что март был нежен с нами,  
Что проросла ромашкой гололедь  
И галки звонко щёлкали  
Скворцами.

Поверю...  
Только не тумань в ночи  
Сиянье звёзд,  
Что надо мной пасутся...  
Вот я опять пришёл к тебе.  
Молчи...  
Не надо...

Не мешай мне  
Обмануться.

*Слава Дона!*

## СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Поэтическое переложение Владимира Скифа

1

Слово святорусское – как совесть.  
Не пора ли, братья, рассказать  
О походе Игоревою повесть,  
Будто Русский Узел развязать.

Не по замыслению Бояна,  
По былинам нынешних времён

Песнь начнётся и залечит раны –  
Те, что кровоточат испокон.

Коли запоёт Боян – бо вещей,  
Свяжет мир небесный и земной,  
Белкою по древу затрепещет,  
Серым волком прянет под луной,



Вскинется орлом под облаками,  
Вспомнит про усобицы князей –  
Будто десять соколов пускает  
На летящих стаей лебедей.

Соколиных братьев окликает  
Лёгкий сокол посреди небес,  
И какую лебедь настигает,  
Та и первой запеваёт песнь –

Мудрому ли князю Ярославу,  
Что свои победы не забыл,  
Храброму ли воину Мстиславу,  
Что Редемдю грозного убил

Пред полком косоожским  
в поле бранном,  
Или Красному,  
что смерть в бою сыскал,  
Песню Святославичу Роману...  
Но Боян не соколов пускал, –

Он, персты на гусли воскладая,  
Бремя жизни струнами пронзал,  
И они волшебным рокотали  
Славу русским воинам-князьям.

**2**  
Так начнём же, нашу повесть,  
братья,  
От Владимира до сих времён,  
Где скликает Игорь рать за ратью  
Под сиянье алое знамён.

Он своих дружинников взлелеял,  
Мужеством их копьё заострил,  
Страхи и сомнения развеял,  
Землю Половецкую воззрил.

И в стожарах духа боевого,  
Над полками разметав крыла,  
Клекотало Игорёво слово...  
А комомни грызли удила.

**3**  
Тьмой покрылся  
в небе солнца слиток.

Игорь кличет воинов своих,  
С толку сбитых, чернотой увитых, –  
В темноте увещевает их:

«О, дружина!  
Твоё знамя взвито!  
Мы из Дона будем славу пить!  
Лучше лечь за Родину убитым,  
Чем врагами полонённым быть.

Сядем на коней своих горячих, –  
Открестившись от неясных дум,  
К Дону своенравному поскачем!..»  
Уступил желанью княжий ум.

Предзнаменованием Господним  
Пренебрёг великорусский князь.  
И любимым воинам,  
как сродник,  
Говорил, ликуя и ярься:  
«Поля Половецкого достигнуть  
Нам пора, чтоб Русь не посрамить,  
На Дону полки свои воздвигнуть  
И копьё у Поля преломить.

С вами, братья, вдалеке от дома,  
Я собой не стану дорожить. –  
Либо шлемом воду пить из Дона,  
Либо буйну голову сложить!»

**4**  
Соловей-Боян, сказитель древний,  
Как бы ты походы те воспел!  
Ты б спешил по мысленному древу,  
И умом в подоблачье летел.

Ты бы рыскал по тропе Трояна,  
И поля, и горы прозревал, –  
Времени земного свиток рваный  
Ты бы славой русскою сшивал.

Перед войском как бы тебе пелось!  
Так рыдает в поднебесье медь.  
Так бы внукам Велеса хотелось  
Песню славы Игорю пропеть:

## Слово о полку Игореве

«Сквозь поля широкие, глухие  
Соколомв не буря понесла, –  
К Дону мчатся лошади лихие...  
Стаи галок поглотила мгла».

Или так бы начал петь Боян,  
Внук Велемсов: «Кони ржут за Сулой...  
Жаждет битвы святорусский стан,  
Чтобы слава крыльями взмахнула,

Чтобы пела в Киеве она,  
В Новеграде трубами блистала  
И в лучах небесного окна  
Стягами в Путивле трепетала».

### 5

Игорь видит Всеволода-брата,  
Буй Тур Всеволод заводит речь:  
«Брат, не ради серебра и злата  
Я булатный поднимаю меч.

Ты мой светлый,  
ты мой брат единый, –  
Святославичи мы с юных дней.  
Я привёл тебе свои дружины,  
Так седлай же яростных коней!

Кони долгогривые готовы,  
Сёдланы у Курска моего.  
А куряне-воины суровы,  
Не боятся чёрта самого.

Под победный, трубный звон повиты,  
С малолетства вскормлены с копья,  
Из шоломов воспомены для битвы –  
Веры и Отчизны сыновья.

Сто дорог у вомев за плечами,  
Славою изомстрены мечи.  
Как гробы, раззявляны колчаны,  
Стрелы – раскалённые лучи.

Воми, словно волки, рыщут в поле,  
Ночь пронзают зоркою совой,  
Ищут себе чести, ратной доли,  
Князю трудной славы боевой».

### 6

Игорь-князь с отвагой молодою  
Впереди дружины поскакал.  
Солнце тьмущей тьмой или бедою  
Степь живую бросило в провал.

Солнце мраком тропы заступало,  
Не видать ни копий и ни лиц.  
Ночь грозой полдневную стонала,  
Поднимала загалдевших птиц.

Рык звериный в поле раздавался...  
Встрепенулся многоликий див,  
На вершину дерева взобрался,  
Голубую молнию схватив.

И велел прислушаться средь молний  
К Сурожу и к Волге.

Выкликал  
Комрсунь и Посулье, и Поморье,  
Степь,  
где каменным болваном смотрит  
Половецкий край Тмутаракань.

И рванулся половец мятежный  
К Дону сквозь мерцание и чад.  
Мчат телеги в полночи кромешной,  
Словно в небе лебеди кричат.

Степь чернеет угольем остылым...  
Битва несусветная грядёт.  
По земле неизвестной, пустынной  
Игорь к Дону воинов ведёт.

### 7

Сто несчастий Игорю пророчат  
Птицы по столетним деревьям.  
Див жестокий кычет и хохочет,  
По оврагам волк возлютовал.

Тут и там во мгле белеют кости,  
Волки воют, тьму клыками рвут.  
С клёкотом орлы летят к замостьям  
И зверей на пиршество зовут.



Молнии вонзаются, как спицы,  
В буйную дружину с высоты.  
Мгла двоится и, крутясь, лисицы  
Брежут на червлёные щиты.

Убегай, лисица! Прячься, птица!  
Дай постичь чужую даль умом. —  
Русь моя, печальная зегзица,  
Ты уже исчезла за холмом.

8

Ночь померкла.  
Зорька уронила  
Алый свет на волглые поля.  
Щёкот соловьиный усыпила,  
В небе стаи галок веселя.

## Слово о полку Игореве

Русичи червлёными щитами  
Перегородили тьму и свет,  
Чтоб из поля высечь чести пламя,  
Князю – славу, коей выше нет.

В пятницу сырую спозаранок  
К русским вежам крались степняки,  
Но славяне посекали поганых, –  
Смяли половецкие полки.

Девушек помчали половецких,  
С ними золото, шёлк и серебро,  
Памволоки, бархат, самоцветы –  
Половецкой вольности добро.

Кожухами топкий путь стелили,  
Узоромчье сыпали с телег,  
И обозы тяжкие тащили,  
И топили среди быстрых рек.

Князю Игорю –  
хоругвь из шёлка,  
Стяг червлён, копёе из серебра,  
Бунчукам багрянистая чёлка –  
Он иного не желал добра.

### 9

Дремлет в поле воинство Олега,  
Храброе, высокое гнездо.  
Подустало от земного бега,  
Принакрылось тёплой звездой.

Невозможно быть ему убиту, –  
Войско рождено среди равнин  
Ни орлу, ни кречету в обиду;  
Ни тебе, поганый половчин.

Ищет войско соколиной доли...  
Но стремится серым волком Гзак,  
Путь ему прокладывает к Дону,  
Когти распускающий Кончак.

### 10

День другой соткал из зорь кровавых  
То ли тучи, то ли чёрный свет,

И четыре солнца пробивают  
Среди молний  
свой бессмертный след.

Быть на свете мировому грому,  
Быть дождю из оперённых стрел.  
Изломаться копьям о шеломы,  
Пасть на груды половецких тел.

Биться саблям на реке Каяле,  
Небесам качаться ходуном.

Мы у Дона.

Лошади заржали...  
Русь моя, уже ты за холмом.

### 11

Дети бимсовые облепили  
Нашу славу до морской воды.  
Русичей дружины обступили,  
Окружили красные щиты.

А земля гудит вселенским гудом,  
Реки мутно вдоль земли текут.  
Пыль взошла...

Во вражьем стане лютом  
Стяги плещут,  
половцы идут.

Ветры – внуки шумного Стрибога –  
Стрелами повеяли с морей  
На полки хоробрые, где много  
Русских полегло богатырей.

### 12

Ярый Буй Тур Всеволод! Нещадно  
Половчан ты рубишь и громишь,  
Прыщешь стрелы и мечом булатным  
О шеломы вомрогов гремишь.

Золотым посверкивая шлемом,  
Скачешь ты в четыре стороны,  
И летят поганые налево,  
И направо падают они.

Не считая раны, светишь ликом,  
Вспоминаешь Родину, престол,

Незабвенный, верный град Чернигов  
И отцовский, золочёный стол.

С битвами на поле брани свычный,  
Всеволод – для половцев гроза –  
Помнит каждый светень и обычай,  
И желанной Глебовны глаза.

### 13

Отлетели времена Трояна  
Ярослава годы отошли.  
Отзвенел Олег на поле брани, –  
Святославич, ты в какой дали?

Как ты сеял стрелы в домльней рани  
И крамолу жёсткую ковал,  
В золотом седле в Тмутаракане  
По былому времени скакал.

Звон твой слышал Ярослав великий,  
А Владимир – Всеволода сын,  
Чтоб тебя не слышать,  
в град Чернигов  
Уходил, как истый славянин.

А Борис-то Вячеславич вовсе  
До суда дожил похвальбой,  
На реке на Каниной, под осень,  
Рассчитался с собственной судьбой.

С той Каялы до святой Софии,  
Подгоняя иноходцев ход,  
Святополк отца увозит в Киев, –  
Тем и кончен горестный поход.

Ольгович Олег,  
ты – Гориславич,  
Горе высевал среди друзей,  
Растлевал усобицами слабых  
Да и сильных русичей-князей.

Словно в преисподнюю – дорога  
Русь вела, где пустота и грусть.  
Гибло достояние Дажьбога,  
Погибала молодая Русь.

Жизни и сокровища страны.  
Пахари на ниве обнищали  
Посреди родимой стороны.

Галки вимлись над её судьбою,  
Тщились тело Родины клевать.  
И воромны граяли прибором –  
Собирались падаль добывать.

### 14

Всё случалось в давние походы,  
Но такого не было нигде,  
Чтобы слава и судьба народа  
Пропадали в зле и нищете.

Так с утра до вечера слепого,  
С вечера до белого утра  
Веют стрелы и гремят оковы,  
Не изыдет смертная пора.

Средь земли не нашей, не отечкой,  
Кровью истекая сквозь поля,  
В битве с чёрной силой половецкой  
Пропадает русская земля.

### 15

Что мне шумит, что мне звенит  
При свете утренней зари?  
Дружине Игорь говорит:  
«Дружина, в поле посмотри!

Мне жалко Всеволода!  
Брат,  
Мы бились с половцем три дня.  
Нас окружил кровавый ад,  
И нету силы у меня.

Поникли стяги.  
Сатана  
Бесчестье кинул мне – лови!  
И не достало мне вина,  
Что замешалось на крови.

И разлучились братья тут  
На берегу Каял-реки.

Здесь скоро травы отомрут,  
И пир закончат степняки.

**16**

Невесёлое время настало,  
Войско скрылось в пустыне, где страх.  
И не дружба дружину спаяла,  
А обида в Дажьбожьих войсках.

И обида, как дева, вступила  
На Троянову землю и там,  
Словно лебедь, крылами забила,  
Чтобы радость досталась не нам.

Прогнала времена изобилья,  
Прекратила братанье князей.  
Опустила притворные крылья  
Над печальною Русью моей.

Принялся брат о брате злословить,  
Говорить, «то и это – моё»,  
Позабыв драгоценное Слово,  
Позабыв даже имя своё.

Стали «малое» кликать «великим»,  
И на ближних крамолу ковать.  
До сих пор льются стыдные клики, –  
Невозможно на них уповать.

И никто из князей не поведал,  
Как сердца их томились во зле.  
А поганые снова с победой  
Шли по горестной Русской земле.

**17**

Сокол Игорь залетел далёко,  
К морю, – побивая грозных птиц.  
Без полков родимых одиноко,  
Хоть пади со скорбным плачем ниц.

Плакала о войске Камрна!  
Жемля  
Поскакала по родной земле,  
В роге пламя мыкая...  
Запели  
Жёны песню о своём былье:

«Нам не видеть лад своих любимых;  
Мыслями не мыслить, а сгорать;  
Думами не думать, – лишь незримо  
Нам пристало в градах умирать.

Не ходить нам в шубах горностая  
И не трогать злата-серебра.  
Порвала – родимых – волчья стая,  
Навалилось горюшко-гора».

**18**

И заплакал стольный город Киев,  
На Чернигов хлынула напасть.  
И тоска, а не мечты благие,  
По земле славянской разлилась.

Князь на князя, будто бы в погоню,  
Друг за другом кимдались с утра.  
А поганцы рыскали на конях,  
Брали дань по векше со двора.

**19**

Игорь, Всеволод –  
вы два хоробрых брата.  
Вам мой, Святославичи, укор.  
Ваш Боян вам говорил стократно:  
Из коварства вылился раздор.

Тот раздор рассеять попытался  
Ваш отец – великий Святослав.  
Он грозой для половцев остался,  
Землю их победами поправ.

Он бивал их сильными полками,  
Превращал становища в дымы,  
Рассекал булатными мечами, –  
Притоптал овраги и холмы.

Иссушил потоки и болота,  
Возмутил озёра, поймы рек.  
Кобяка из-под его оплота  
Взял и бросил в пыль между телег.

Из полков железных половецких,  
Будто вихорь Кобяка исторг.

Пал Кобяк.  
Венецианцы, немцы  
Изливали князю свой восторг.

Тут и греки, турки и морамвы  
Лишь одним желанием горят,  
Чтобы высечь славу Святославу,  
А другие – Игоря корят.

Мол, богатства потопил в Каяле:  
Горы самоцветов, серебра.  
Будто гири, те слова упали...  
Может, в рабство Игорю пора?

Игорь-князь не возымел престола,  
Золотого не вернул седла.  
Приуныли города и сёла,  
И беда меж ними потекла.

Вновь картина страшная возникла:  
Князь садится в рабское седло.  
В горечи – веселие поникло,  
Притупились жизнь и ремесло.

## 20

На горах во Киеве могучем  
Говорил боярам Святослав:  
«Этой ночью сон я видел смутный,  
Будто я в болезни приослаб.

Чёрным покрывалом накрывали  
На кровати тисовой меня,  
В птаху превратиться не давали,  
Улететь из ночи в щёлку дня.

Не давали полететь над морем,  
Или щукой увильнуть на дно.  
Лишь густое, смешанное с горем,  
Черпали мне синее вино.

Сыпали мне из пустых колчанов,  
Застилая к свету ближний путь,  
Крупный жемчуг половцев поганых  
На мою иссемченную грудь.

Уже доски без князька торчали  
В златоверхом тереме моём.

А в светлице – чёрные колчаны;  
Снова жемчуг, снова кровь на нём.

Вомроны у Плесеньска стонали,  
А в предградье у Кияни – шум...»  
И бояре, пошепчась, сказали:  
«Горе, князь, твой полонило ум.

Это ведь два сокола слетели  
С отчего престола и опричь  
Покорить Тмутаракань хотели,  
Дону своенравного достичь.

Соколомв – поганые – за лесом  
Спящими, ледащими нашли,  
Тяжким попутали железом,  
Молодые крылья подсекли».

## 21

В третий день два солнца заката-  
лись,  
Будто два багряные столба,  
С ними в тень два месяца спустились:  
Святослав с Олегом.  
Не судьба

Петь победу в громовых раскатах.  
В тёмном море буря поднялась,  
И полоска долгого заката  
Тьмою кровяной заволоклась.

В Химновах, взлетели не турпаны, –  
Смелость возбудилась, гой еси!  
Словно хищный выводок гепардов,  
Половцы простёрлись по Руси.

Пал позор на вековую славу,  
На свободу сила налегла. –  
Вот он сон, что снился Святославу.  
Крикнул див, заверещала мгла.

Русским златом хвастаясь у моря,  
Готские красавицы поют,  
Время Буса славят нам на горе,  
Будто зори с неба достают.

## Слово о полку Игореве

Воспевают месть за Шарукана,  
Песни синей ночи отослав.  
Мрёт дружина от веселья ханов...  
И в ночи – великий Святослав

Изронил пронзительное слово,  
Что в слезах отцовских замешал:  
«Ныне Игорь, Всеволод – в оковах.  
Сыновья, мне вас, родимых, жаль!

Смелостью обжиты ваши крылья,  
Из булата – храбрые сердца.  
И хоть кровь поганых вы пролили,  
Всё же, вы ославили отца.

Вновь на землю двинулись напасти,  
Горе моей княжей седине.  
Нет уже ни вольности, ни власти:  
Правит див на отчей стороне.

Я уже не вижу Ярослава –  
Дорогого брата моего,  
Ни бояр черниговских, ни славы,  
Ни рабов, ни воинства его.

Топчаким, шельбимры и ревуги,  
омльберы, татрамны – все они  
Ярослава воины и слуги –  
Были рядом с нами исконим.

Раньше, с засапожными ножами,  
Тюрки, простолюдые, мужики  
Кликнут в степь  
и – в домльный мир бежали  
Вомрога ничтожные полки.

Но сыны, ведь это вы сказали,  
Мол, былую славу украдём,  
Средь врагов помужествуем сами –  
Новой славы, крови ли найдём!

Мне кольчугу, что ли,  
вновь надеть,  
Достигая рати половецкой,  
Только мне во помле не глядеть  
С удалью всё той же молодецкой.

Сокол птиц сбивает на лету,  
Но с годами старится, линяет.  
И хотя теряет красоту,  
Своему гнезду не изменяет.

Время – стрелы мечет у виска,  
Саблями – у Римова – сверкает.  
Мне друзья-князья не помогают,  
Князь Владимир кровью истекает...  
Горе сыну Глебову, тоска!»

### 22

О, великий Всеволод! Дай Боже,  
Чтоб ты мог по Киеву пройти.  
Неужели мысленно не можешь  
Прилететь и праздник соблюсти?

Ты ведь мог бы досягнуть до солнца,  
Вёслами всю Волгу расплескать,  
Дон шеломом вычерпать до донца,  
Копья в ремце посуху метать.

Сел бы ты во Киевской палате  
И раскрыл с богатством короба,  
Продавал рабыню по ногамте,  
По единой ремзани – раба.

### 23

Эй, Давыд великий, Рюрик буйный!  
Ваши воми в золоте и вы  
По реке стремились пенноструйной,  
Иль в шеломмахплыли по крови.

То не ваши ль храбрые дружины  
Рыкают, как туры,  
на войне  
Раненные саблями чужими,  
В лютой и незнаемой стране.

Так вступите ж в стремена литые  
За обиду времени сего,  
Поднимите сабли золотые,  
Чтоб вершить победы торжество.

За родную русскую землю  
И за раны Игоря; за тех,  
Кто в Руси Великой возродится  
И вернёт ей боевой успех.

**24**

Ярославе! Осмомысл Галицкий!  
На престоле ты сидишь века.  
В кресле златокованном, как птица,  
Княжества ты видишь свысока.

Ты подпёр железными полками  
Гор Венгерских череду и крепь,  
Тяжести несёшь под облаками,  
Дверь Дуная заперев на цепь.

Грозы мчат из твоего оплота,  
Заступив дорогу королю.  
Отворяешь в Киеве ворота,  
Будто стелешь день по ковылю.

Отправляешь ты своих салтанов  
Земли вызывать издалека,  
Прицеплять к Руси другие страны. –  
Лучше сбей в полёте Кончака!

Встань за Землю Русскую!  
Ты русич!  
И за раны Игоревы встань,  
Чтоб избавить Родину от грусти!  
Чтобы победить Тмутаракань!

**25**

Эй, Мстислав!  
Романе благодатный!  
Вас судьба на подвиги влечёт.  
Высоко взмывает подвиг ратный  
И в отваге половцев сечёт.

Соколы, на битву вы летели,  
Чтоб низринуть копьями ярем,  
Помдвизи железные надели  
Под латинский золочёный шлем.

Ведь от вас всей глубиной содрогнулись  
Химнова, Ятвяги и Литва,

Деремемла!  
Недруги согнулись  
На пути у вас, как дерева.

Бейтесь, чтобы вомроги померкли,  
Опустили ярые мечи,  
Копья со знамёнами повергли  
И от Дона выдали ключи!

**26**

Игорь-князь угрюмится, как солнце  
В день затмения.  
Видно, не к добру  
Лист опал с деревьев и пасётся  
Игорева горечь на юру.

По Сулем, по Ромси расхватили  
Города.  
Позора не сносить!  
Игорева войска в чёрной дамли  
Мёртвою водой не воскресить.

И Донской не оживить водою...  
Ольговичи, храбрые князья,  
Вы на брань спешили, но бедою  
Окропили Русские края.

**27**

Ингварь и – Мстиславичи все трое,  
С вами ярый Всеволод всегда.  
Вы могли бы свергнуть даже Троию –  
Птицы соколиного гнезда!

Вы Руси владенья захватили  
Не по праву признанных побед.  
Где же ваши шлемы золотые,  
Польских копий поднебесный свет?

В диком поле заградить ворота  
Вам пора, суровые князья!  
Русь родную отстоять охота,  
Русской воли отдавать нельзя.

**28**

Сула-речка не течёт струями  
И Двина в болота отошла.

## Слово о полку Игореве

Полоцк пуст, а полочане в яме;  
По округе – пепел да зола.

Сын Васимльков, Изяславе быстрый,  
Ты один мечами позвенел,  
Из литовских шлемов высек искры  
И Всеславу-деду гимны спел.

Сам же под червлёными щитами  
Был литовским воинством прибит.  
На траве кровавой пал и замер,  
Своей горькой славой знаменит.

«Князь, твою дружину приодели  
Крылья птиц.

Ты брови не суровь!  
Птицы взмыли в небо и запели.  
Лисы, волки вылизали кровь».

Не было тут брата Брючислава,  
Рядом друга Всеволода нет.  
Изронил ты душу сквозь оправу  
Жемчугом рассыпавшихся лет.

Очи, как озёра, просветлели,  
И на небо тёмное спеша,  
Через золотое ожерелье  
Улетела юная душа.

### 29

Голоса поникли, приуныли.  
Трубы городенские трубят.  
Русь моя, неужто ты в могиле? –  
Веси твои росные скорбят.

Внуки Ярослава и Всеслава,  
Вы себя крамолами сожгли,  
Силу изничтожили и славу...  
Преклоните стяги до земли.

Вы себя обременили ложью,  
Половцам  
приберегли ключи...  
В демдичей заржавленные ножны  
Киньте повреждённые мечи.

Вы поганых до земли отецкой  
Допустили, возымели зло.  
Так насилье рати Половецкой

Из усобиц ваших притекло.

### 30

Век седьмой сошествовал Троянов.  
Кинул жребий хитрый лис Всеслав  
О девице милой.

И обманом  
К Киеву отправился стремглав.

До престола дотянулся древком,  
Лютым зверем в Белгород скакнул,  
Счастья домбыл с молодой девкой,  
Как Горыныч синей мглой дыхнул.

С трёх попыток отворил ворота  
Новограда и расшиб удел  
Ярослава,  
будто снял с заплота  
Кочета, что на закате пел.

Прянул волком и на сломе суток  
До Немимги долетел с Дудуток.

### 31

А в Немимге стелют головами  
Красные кровавые снопы,  
Бьют снопы булатными цепами, –  
Даже кони встали на дыбы.

Стрелами-поломвами ширяют,  
Веют души из умерших тел,  
В небесах ворота растворяют,  
Чтобы дух, как роздых, улетел.

На току кладут молодые жизни,  
Как созвездья юные – гроздьми,  
Берега кровавые Отчизны  
Выкладывают русскими костями.

### 32

Князь Всеслав  
суды над Русью правил,  
Города князьям иным рядил,

Сам себя неправдою прославил,  
Рыскал волком посреди могил.

С Киева до той Тмутаракани,  
Верхом жизни, или же верхом,  
Успевал по глянцевиной рани  
К Хорсу добежать до петухов.

Пропадали лошади гнедые,  
Князь ловил их посреди времён.  
В Полоцке звонили у Софии,  
Он же слышал в Киеве тот звон.

Был он хитрым,  
хоть и слыл отсевком;  
Был хоробрим, но от бед горел.  
Наш Боян послал ему припевку,  
Ту, что в князе разумом узрел:

«Ни летящей птице, ни Парису,  
Ни тому,  
кто ходит Русь клевать,  
Ни хорю, ни хитромудру лису –  
Божьего Суда не миновать».



## Слово о полку Игореве

### 33

Русь – добра порастеряла перлы,  
Ей от зла приходится стонать  
И княземье князей самых первых  
С радостью и болью вспоминать.

Ныне стяги Рюриковы веют,  
И ещё – Давыдовы кругом.  
Только зря те стяги пламенеют,  
Копья врозь поют и ни о ком.

Старого Владимира – безбожный  
Мир хулой пытался пригвоздить...  
Русь такую видеть невозможно,  
И крамолы русской не простить.

### 34

На Дунае плачет Ярославна,  
Заслоняясь от семи ветров.  
О недоле мужа,  
не о славе  
Слышен голос посреди миров.

В поле див насторожился зычный...  
Ярославна плачет: «Полечу  
Над землёй кукушкой горемычной,  
Свой рукав в Каяле омочу.

Как волчица серая завою,  
Отыскавши князя на юру,  
Раны его страшные промою,  
Слёзы гнева и стыда утру.

Ярославна рано-рано плачет  
На стене высокой городской:  
«Ветер мой, ты иноходцем скачешь,  
Унеси меня с моей тоской.

Ты, ветрило, веешь мне навстречу  
Смертным прахом.

Ветер, отчего  
С высоты варяжки стрелы мечешь  
На дружину князя моего?

Лучше б ты своей могучей дланью,  
Разгонял туманы кораблю.  
Ты зачем моё веселье ранил,  
Душу разметал по ковылю?»

Ярославна плачет над Путивлем,  
Руки простирая до Днепра:  
«Днепр Словутич,  
всевеликий, ты ли  
Насылаешь на судьбу ветра?

Днепр Словутич,  
ты на дело скорый, –  
Князь тебя и холил, и любил.  
Ты могутный, ты века и горы  
В землю Половецкую пробил.

Днепр Словутич, ты един в округе,  
В небе догоняя облака,  
Как пушинки, Святослава струги  
Ты носил до стана Кобыка.

Прилелей мне, господине, ладу  
С чужедалья дикого того,  
Дабы горьких слёз ему не слала  
Ярославна верная его».

«Лада Игорь, твоя жизнь на донце, –  
Ярославна плачет на стене, –  
Свете, свете, трижды свете, солнце,  
Чёрный зной обороти ко мне,

Чем сжигать у Игоря дружины,  
Спёкшиеся губы их палить!  
...Вороньё над ладой закружило,  
Войску князя быть или не быть?

Ты, Ярило, луки им скрутило,  
Стрелы превратило в белый дым,  
И гортани горем позабило,  
И колчаны позаткнуло им».

### 35

Море вдруг зазябло с полуночи,  
В небе смерчи тучами идут.

Игорь к небу поднимает очи,  
Видит: звёзды через кровь растут.

Бог спустил тумана полотенце,  
В поле путь наметил, как иглу, –  
Из земли далёкой Половецкой,  
К золотому, отчему столу.

36

Зори сгасли над летучим Доном,  
Игорь спит, бодрится ли в тиши,  
И поля – от Дона и до дома –  
Измеряет трепетом души.

Князь,  
в плену ты не найдёшь покоя,  
Русь затмилась, никнут зеленыя.  
Вот Овлур присвистнул за рекою

И позвал буланого коня.  
Княже Игорь, разумеи Овлура,  
Бога о прощении моля.  
Смялась полночь, как овечья шкура,

Кликнула и стукнула земля.  
Травы жестяные всколыхнулись,  
Закачались в небе деревья.  
Вежи половецкие проснулись,  
Загугукал див или сова.

Игорь в поле  
прыснул горностаем,  
К тростнику ночному повернул,  
Примыкая к лебединой стае,  
В воду белым гоголем нырнул.

Игорь горечь и позор изведаль,  
К дому мчался сомколом скорей, –  
К ужину, на завтрак и к обеду  
Побивал гусей и лебедей.

Конь и тот, и этот надорвался,  
Игорь-сокол обходил грозу,  
И Овлур матёрым волком мчался,  
Страхивал студёную росу.

37

Говорит Донец:  
«О, княже Игорь!  
Мало ли величия тебе,  
Кончаку нелюбья или ига,  
А Руси всеславия в борьбе!

Не сумняшесь, Игорь отвечает  
Пенному и резвому Донцу:  
«На волнах ты Игоря качаешь,  
А тебе ль величие к лицу?

Нёс меня ты на своих просторах,  
Выстилал туманом берега,  
Сеял травы на холмы и горы,  
Мой великий княжич и слуга.

Ты хранил  
мой путь неистребимый,  
Где я чайкой в омут заплывал,  
Спал на вомлнах, гоголем хранимый,  
В чемрнях обличие скрывал».

38

Стugna речка вовсе не такая,  
Что катила скудную струю,  
Ручейки в пути подстерегая,  
К устью расширяя длинь свою.

А потом запучилась, взалкала:  
Нет нигде и стала вдруг везде,  
Молодого князя Ростислава  
Утопила в яростной воде.

Цветики застыли многолаво,  
И согнулось дерево в дугу.  
Плачет мати князя Ростислава  
У Днепра на тёмном берегу.

39

Сорок сорокомв застрекотали,  
Див по небу побежал бегом.  
Игорь-князь,  
вон за тобой из дамли  
Мчится Гзак с поганым Кончаком.

## Слово о полку Игореве

И замолкли галки и сороки,  
Вомроны не граяли в тоске,  
Только полоз  
ползал одинокий,  
Дятел путь показывал к реке.

Тихим змеем ветер завивался  
И катился Игорю вослед,  
Соловей бессмертный заливался,  
Возвещая благодный рассвет.

40  
«Пусть в гнездо  
летит небесный сокол, –  
В темень Гзак бросает Кончаку, –  
Как бы сокол не взлетел высоко,  
Не дадим достичь гнезда врагу.

Мы его живого соколёнка  
Стрелами калёными пронзим».  
В поле воеет времени воронка,  
Гзак по полю стелется, как дым.

Тут Кончак встревает,  
тьмою мглится:  
«До гнезда он долетит едва.  
Соколёнка красною девицей  
Мы с тобой опутаем сперва».

Усмехнулся Гзак под ивой тонкой,  
Будто старый хитромудрый зверь:  
«Если попутать соколёнка,  
Красною девицею, поверь,

Мы ни соколёнка, ни девицы  
Не получим вовсе, и тогда  
Нас начнут клевать чужие птицы  
В Поле Половецком без труда».

41  
Пели песнотворцы Святослава –  
И Ходына, и Боян чуть свет:  
«Для Олега и для Ярослава,  
И для многих есть у нас завет:

Тяжко голове без плеч и тела,  
Телу – жизни нет – без головы,  
Так же и без Игоря не дело  
Жить среди Руси, среди молвы».

42  
Жизнь в позоре горестна, нелепа,  
Как же быть,  
как обходиться с ней?  
Снова солнце высветлило небо,  
Игорь-князь – на Родине своей.

На Дунае не витает горе,  
Демвицы над Киевом поют,  
Голоса их льются на просторе,  
Будто гнёзда солнечные вьют.

Игорь слышит радостные песни,  
Избежав глумливой кабалы,  
И взирает на родные веси:  
Сёла рады, грады веселы.

Голоса звучат до поздней ночи,  
Игорь по Боримчеву летит  
Ко святой – великой Пирогощей:  
Может, Богородица простит.

43  
Пели песни старики когда-то,  
Ныне петь пристойно молодым,  
Славить братьев, не доставших злата,  
Но известных подвигом своим.

Слава Святославичей, как лава  
Потечёт, недоброе поправ.  
Игорю и Всеволоду слава!  
Будь, Владимир Игоревич, слав!

Противу нашествий чужестранных  
Вы стояли, каждый Богом дан.  
Били злонамеренных, поганых,  
Поднимали знамя христиан.

44  
Будьте здравы, Русские дружины,  
И святые русские князья!

Вы себя за веру положили,  
Русской славы забывать нельзя!

Слава Русской Родине!  
Аминь!

45

Русь жива –  
святыня из святынь!

2000 – 2010 гг

*Рисунки Николая Васильева*



# Крутояр

Окончание



Старочеркасск. Войсковой собор

*Дорогие писатели, литераторы и читатели!*

*Год 2015-й впервые в нашей стране объявлен Годом Литературы, что совпало со знаменательным юбилеем классика русской литературы Михаила Александровича Шолохова – 110-летием со дня его рождения. Раздел «Крутояр» будет постоянно публиковать произведения на эти юбилейные, важные для донской и российской литературы, темы, и потому мы ждём от вас новых работ, посвящённых Году литературы, М.А. Шолохову и Донскому краю. Редколлегия.*

# Алексей Береговой



## КРАСНЫЕ ОГНИ

*Повесть*

*(Окончание. Начало в № 2 – 2014 г.)*

### ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

28 марта

х. Верхняки

*Здравствуй, весёлый парень Володя!*

*Сейчас тридцать шесть минут третьего, скоро идти на работу.*

*Весна у нас просто социалистическая: дружная и тёплая, уже вылезла травка, и скоро начнут сев.*

*Приезжие осетины заложили фундамент под Дом Культуры.*

*Вчера были в кино, смотрели «Два Фёдора». Очень понравился фильм.*

*Тридцать первого будут «Чёрные очки», но эту картину мы с Наткой уже видели.*

*Здесь мне уже порядком надоело.*

*Как тебе не стыдно.*

*Как тебе не грех —*

*У тебя на пузе*

*Маленький огрех.*

*Это стихотворение рассказывает наша четырёхлетняя Галинка.*

---

**Береговой Алексей Григорьевич**, член Союза писателей России с 1992 г., прозаик, публицист. Автор 12 книг прозы и публицистики. С 2008 г. — председатель Ростовского отделения и член Президиума Литературного фонда России. С 2010 г. — член Общественной Палаты Администрации Ростова-на-Дону. С 2011 г. — председатель правления Ростовского регионального отделения СП России, секретарь Правления Союза писателей России, с 2014 г. — член Приёмной Коллегии СП России. Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

## Красные оани

*Наткин отец делает деревянный пистолет.*

*За день наши куры несут двадцать одно яйцо.*

*Собаку зовут Куклой.*

*Утром с Галинкой ходили смотреть речку, поросиую камышом и кустарником.*

*Натка принесла новость: гусыня снесла яйцо под конём. Всё. Лариса.*

1.

Вторая половина лета.

Защита диплома ушла в прошлое. Стали воспоминаниями шумный и весёлый выпускной вечер в одном из новых ресторанов города, медно-красный восход солнца над прохладным, закутанным в пелену молочного тумана Доном, и позже — торжественное вручение дипломов в актовом зале техникума, где нас много поздравляли и рисовали беспредельные возможности в наших биографиях. Наставники охотно шутили, охотно грустили, но почему-то никто — то ли по незнанию, то ли умышленно — не сказал нам правды: на производстве мы сразу же станем самой бесправной прослойкой, тем зерном, что сыплется и трётся между двумя могучими жерновами, — рабочим классом и начальством, — и чем это заканчивается всем известно: мукой или мумкой, и как сказать, чем для кого она станет.

Я ждал призыва в армию. Беззаботно пролетал положенный после окончания техникума отпуск, я откровенно наслаждался возможностью побездельничать. Родители мои уехали отдыхать на Кавказ, дома хозяйничала специально вызванная по этому поводу из Новошахтинска бабушка.

Вечера я проводил с друзьями на танцах в горсаду или ещё где-нибудь, домой приходил поздно, потом до обеда отсыпался и шёл купаться на Дон до сумерек — здесь, на городском пляже, после рабочего дня собиралась вся наша компания, — и снова вечер: всё повторялось сначала — друзья, танцы, кино или ещё что-нибудь подобное. Всё вертелось, в общем-то, однообразно, но интересно...

Суббота, в горсаду танцы. Я добрался домой около часа ночи, открыл дверь своим ключом и встретился в прихожей с бабушкой — она почему-то не спала.

Приглушенным шёпотом она сообщила: у нас гость.

— Кто?

— Зайди, глянь...

В комнате темно. Я повернул выключатель. На диване, подобрав под себя ноги, сидела Лариса. Она смотрела на меня в упор, чуть щурясь от света, в её взгляде я сумел прочесть немой вопрос и желание увидеть мою реакцию.

Ну да, каждый раз вот так... В чём же дело? Я старательно её забывал, а тут?..

— Ты?..

— Я... — Она улыбнулась так хорошо, знакомо. Наша последняя встреча на миг показалась мне чьей-то глупой шуткой. — Примешь?

— Да... конечно, — для чего-то засуетился я.

— Долго же ты гуляешь. Не боишься один ходить по ночам?

— Привык. Смена у меня ночная...

— Вот как!..

— Давно ты здесь?

— С шести вечера.

— С шести? Я же не знал. Почему не сообщила?

— А я не собиралась к тебе ехать.

— Но приехала.

— Приехала. Так получилось, что тут поделаешь? — Она опустила ноги, нашла туфли, поднялась. — Ну, здравствуй, Володя!

— Здравствуй, Лариса! — Я взял её холодные пальцы, легонько сжал. Кажется, пальцы чуть вздрогнули, словно через них пропустили слабый электрический ток.

— Ты не очень устал, провожая свою подружку? — Она не отнимала руки, смотрела прямо в глаза, но в словах её не чувствовалось шутки.

— Нет, не очень...

Я ничего не ощущал! Рад был её приезду, мне нравилось снова смотреть на неё, слышать её голос, но не чувствовал я ничего. Что-то переменялось в моей душе: мне было всё равно...

— Тогда, быть может, и моя очередь подошла?

— Ты всегда без очереди, ты у меня льготница.

— Прекрасно! Тогда идём, погуляем. — Она сама предложила мне выход, и ещё какой!

— Куда?

— Куда угодно. Я от души насиделась в квартире.

— Есть хочешь? — вспомнил я.

— Нет. Мы с бабушкой ужинали. Ты поешь, я подожду.

— Я на ночь не ем — блюду форму!

— Тогда вперёд!..

Нет, не просто так ты приехала, но молчишь, не хочешь сразу впасть в объяснения. И можешь совсем ничего не сказать, если считаешь ненужным. Что ж, и мне помолчать пока, не задавать поспешных вопросов? Помолчу... Из Северодонецка она прислала только одно короткое письмо. И ничего нельзя было узнать из этого письма, ничего понять...

## 2.

На улице безлюдная тишина. Её не нарушал, а подчёркивал гулкий рёв редких автомобилей. Они пролетали мимо, жадными фарами хватали одинокого прохожего на тротуаре и, помяв секунду светом, мчались дальше ещё где-то вспарывать мрак над улицей, обнажать застывшие парочки в укромных местечках.

Вниз, к виадуку... Город ещё не остыл от дневной жары, только изредка от реки пахнет прохладным ветерком, словно глотнёшь ненароком прозрачной, невесомой влаги. В небе, сильно засвеченные дальними городскими огнями, блекло шевелились звёзды. По одной стороне улицы таинственно чернела густая роща, весной пронизанная сочными соловьиными трелями, а сейчас безмолвная и жутковатая своей непроницаемостью. Против рощи — цепочка

## Красные огни

домов, маслянисто поблескивают тёмные окна, за глухими заборами частных дворов прячутся вишенники, жердильники.

Тихонько подвывая, прошелестел поздний троллейбус. Лариса сняла туфли, пошла босиком.

— Как хорошо! — смеётся она. — Только щекотно, а так совсем, как в детстве. — Протянула туфли мне. — На, держи, помоги даме! Ноги устают от каблучков. Только, если встретим кого, сразу давай назад, обуюсь.

— Кому это нужно ночью, — как ты идёшь?

— Мне нужно.

— Тебе нужно сейчас шагать босиком, вот и шагай смело. Ночью каждый занят своим.

— Ах да, я же забыла! Ты же этот — опытный ночной романтик.

— Не язви. Я же не знал о тебе.

— Догадался бы...

— Гадать не обучен.

— Ну, хотя бы почувствовать что-то сердцем, душой... представить?

— Она остановилась, повернулась ко мне. — Нет, не смог?

— Нет.

— Да, конечно. — Она пошла дальше. — Странно подумать... Чего это я прицепилась? — И сразу, меняя тему разговора, спросила весело:

— А что интересного бывает по ночам?

— Не знаешь?

— Нет.

— Сомневаюсь.

— А ты не сомневайся, расскажи.

— Много разного.

— Боишься поделиться опытом?

— Какой там опыт!

— Нет, я всё больше убеждаюсь, ты времени зря не терял. Куда уж нам?..

Лариса сошла с тротуара на проезжую часть улицы, я — за ней. Так и спускались мы под гору на расстоянии протянутых рук, точно эта дистанция могла для нас что-нибудь значить.

— Зачем ты так?

— Я всегда говорю то, что думаю. Привычка.

— Ты дразнишь меня.

— Нет. Хочу отыграться.

— Отыграться? За что?

— За всё, что было и что будет; за все неприятности, которые ты мне доставил и ещё доставишь.

— Ты приехала поссориться?

Лариса опять остановилась, удивлённо посмотрела на меня, потом медленно и как-то осторожно сказала:

— Поссориться? Нет, конечно, хотя это идея! Мы же с тобой никогда не ссорились. Да и как бы мы могли поссориться, если даже захотели бы? При наших-то отношениях... Может, попробуем?..

— Нет, не надо — нет нужды.

— Как хочешь...

— А ты?

Она стояла, словно перед ней была невидимая стена.

— Понимаешь... Прости меня, Володя. Я что-то несу, ну совсем не то, что хочу. Что-то выплёскивается из меня. Может, это нужно?.. Не обращай внимания, пройдёт. Прими всё за шутку, даже если она не правится тебе. Понимаешь — пустое занятие, но когда не знаешь, как себя вести, почему-то пытаешься шутить. А вдруг и выйдет что? Я слишком привыкла не видеть тебя и всё не могу поверить, что говорю с тобой прямо, без листков этой дурацкой бумаги. Идём...

— Неужели мы так далеко разошлись?

— Наверно... Долго уходили. Ты вспомни, сколько наберётся дней, которые мы были вместе, за эти три последних года? Месяц, не больше. Старое забывается быстрее, чем появляется новое. Так что, баланс всё время отрицательный

Засигналила машина, чёрным зверем с огненными глазами нагоняя нас. Лариса с середины дороги отскочила ко мне, прижалась лицом к моему плечу, пока машина пролетала мимо.

— Испугалась? — сглупил я.

— Нет! — Она резко отстранилась. — Я никогда не пугаюсь, Володя, запомни это!

Я хотел исправиться и говорил ещё хуже.

— Девушкам не стыдно пугаться. Это придаёт им женственности...

— Меня это не касается! — отрезала она.

— Ну...

— Прекрати, Володя...

3.

Мы вышли на виадук. Серая железобетонная стрела под фиолетовыми глазами «кобр» через громадную балку. Высота — голова идёт кругом!

Лариса облокотилась на перила, долго смотрела вниз на слабо поблескивающие рельсы. Где-то в темноте — чуть в стороне — шумела речка.

— Куда здесь едут?

— На Москву. Электричкой можно в Новошахтинск.

— Странно. Сколько раз ездила, а такого огромного моста не видела.

— Наверное, ты не смотрела вверх, да и поезд быстро проскакивает.

— Может быть, — пожала плечами Лариса.

Раздирая густую темноту, издалека вырвался мощный луч электровозного прожектора — поезда здесь ходили часто.

— Слышь, Володь, ты можешь ответить на один вопрос?

— Попробую.

— Вот ты всё время живёшь на одном месте, и всё у тебя привычно, надёжно: друзья, учёба, город; а я постоянно мотаюсь... — Она, не отрываясь, смотрела на быстро растущий свет прожектора. — Скажи, что лучше: вот так переезжать всё время, или сидеть на месте?

— Не знаю.

## Красные оани

- Ты же всё знаешь, а теперь — «не знаю».
- Опять язвисьшь...
- Ну, хорошо, должно же у тебя быть хоть какое-то мнение?
- Попробуй сравнить две вещи, зная только об одной. Мне не приходилось выбирать.
- Ты просто уходишь от ответа.
- Да нет, не думаю.
- Или осторожничаешь, боишься сказать не то. Вдруг я жду чего-то другого? Я знаю, тебе не нравятся мои переезды, но ты молчишь. А я ждала от тебя всего лишь искренности.
- Зря ты так, Лариса. Я, правда, не думал об этом. Мне тоже нравится ездить, видеть новое, — это прекрасно. Но жить, по-моему, лучше на одном месте.
- Почему?
- Не знаю точно. Мне так кажется. — Мне очень хотелось сказать: «Жила бы здесь постоянно, не было бы этой нашей канители», — но я ничего не сказал.
- Ну, всё же?
- Человеку легче утвердиться — его поддерживает постоянство.
- Чего?
- Да всего.
- А точнее?
- Друзей, привычек, увлечений; наконец, возможность нормально жить.
- Всё это когда-нибудь становится скучным.
- Скучным? Пожалуй. Зато как весело мотаться по городам и хуторам. Туда-сюда, а потом, как ни крути, всё равно — одна.
- Не всегда.
- Да, конечно! Людей — тьма вокруг! И при желании всегда можно найти себе друзей. Только всё это так, на время. Чтобы заполнить пустоту. А потом прикинешь: друзья ли это?
- А если не можешь жить на одном месте, тогда как?
- «Не можешь» — не подходит слово. «Не хочешь» — так вернее.
- У меня цыганская кровь.
- Да ну?
- Ты не знал?
- Конечно! Это же здорово — спихивать всё на кровь. До семнадцати лет она молчала, потом вдруг заговорила. Нет, ты просто привыкла. Тебе уже не сидится на месте. Сначала — учиться, учёба толкнула тебя ещё к переездам, и пошло-поехало, и вот уже ты легче дышишь под стук колёс, тебе это нравится.
- Ничего ты, Вовчик, не понимаешь! — Лариса замолчала, долго смотрела на шумевший под мостом поезд, а когда стихло, добавила убеждённо:
- Ни-чего-шень-ки!
- Куда уж нам!
- А зря! — пропустила она мимо ушей мою реплику. — К этому нельзя

привыкнуть! — Она резко повернулась ко мне. — Пойми: ни за что нельзя! А надо бы знать: человеку только тогда хорошо на одном месте, когда он уверен, что место это его. Одному оно даётся прямо с рождения, другому его приходится искать всю жизнь! Понял?

— Ты ищешь своё место?

— Не знаю. Наверное. А может, просто судьба болтает, — как-то вяло ответила Лариса и пошла вдоль перил виадука.

Я стоял и смотрел на неё. И начинал понимать. Всего сразу не охватишь, но сколько же резких перемен перекечевало по тайным уголкам её души за эти годы, как же сильно наследил в них каждый прошедший месяц!

Ну что ей сказать? Что все мы меняемся и через каждые двенадцать месяцев становимся старше — кто умнее, кто глупее, — но почти всегда эти перемены закономерны? Что видны они только на расстоянии времени? Или ещё что-нибудь подобное? Всё это глупо, избито и неубедительно. И я молчал.

Я не находил Ларису ни лучшей, ни худшей; для меня она была одной-единственной, всё той же девчонкой из Новошахтинска, хотя порой я и не узнавал её, но если бы этими двумя словами можно было определять то, что происходит с людьми, всё было бы так просто. Но ведь есть ещё что-то, большое, разноликое и часто непонятное. Вот с ним-то как справиться?

Что-то снова терзало её, но я не спрашивал, — не хотел воткнуть колючку отчуждения между нами.

Мы, молча, перешли виадук, стали подниматься по улице. Двумя рядами потянулись старые, дореволюционной постройки дома в два-три этажа...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

5 мая

х. Верхняки

*Здравствуй, Володя!*

*Только что пришла с работы и прочла твою поздравительную открытку, за неё я тебе очень благодарна.*

*Ты обижаешься, что я не пишу, но ведь причины моего молчания те же. Ну, хорошо, не будем городить глупостей! Просто я очень устала, нет ни сил, ни желания всё тебе объяснять и на всё жаловаться.*

*Отвечу на последнее, очень расстроившее меня письмо. Если помнишь, ты начал его с обещания называть меня только Ларочкой, — это привело меня к неописуемому унынию. Всегда и везде от своих друзей и подруг я слышу одно и то же: «Ты стала бы исключительной, если бы была хоть немножко ласковой...»*

*Я сама знаю этот свой порок, он живёт во мне, как и моё имя. И вдруг ты оцениваешь меня совсем противоположно, хотя, по правде сказать, мне было бы много приятнее, если бы ты звал меня Лариской или как-то подобно, но не ласково.*

*Я прекрасно знаю, всё это неправильно, ненужно, но мне почему-то кажется, что ласкаются только подхалимы. И так всегда. Мне очень бы не хотелось подобных твоих мыслей обо мне. Не хочу я так думать и о тебе. Может, я не права, не знаю, но таким способом я пытаюсь избежать всего этого.*

## Красные оани

*О моей гордости ты сильно ошибаешься. Её нет совсем, есть только несчастное самолюбие, которое порой очень мешает жить. О поездке в Геленджик я теперь толком ничего не знаю. Натку не отпускают, а ехать одной не хочется. Я написала маме, чтобы она взяла отпуск в июне, — отдохнуть, видно, придётся с ней.*

*Новостей у меня мало. Научилась ездить на машине и на мотоцикле. По вечерам хожу играть на бильярде, а Натка — в кино или на танцы. Нашей соседке скоро должны прислать теннис, тогда будем ходить к ней.*

*Натка уже спит, на улице идёт дождь.*

*Первого мая ездили компанией в лес, после чего на работу вышли только через день. Девятого думаем прогулку повторить.*

*До свиданья, Лариса.*

1.

Прошла поливальная машина, пропустила нас сквозь веер водяных брызг. Запахло прибитой пылью и тёплой сыростью. Лариса шлёпала босыми ногами по лужам, капли воды далеко разлеталась по сторонам.

— Володь, это же естественно — ходить босиком!

— Вполне.

— Как здорово! Будто по тёплой, мелкой речке. Человек начинал ходить босиком.

— И быстро стёр пятки...

— Это обувь приучила его пятки стираться. Походи полгодика босым, и твоим пяткам не страшно будет ничего... — Она шагала впереди меня цепочкой маленьких луж на ровном, мокром асфальте, потом неожиданно остановилась, точно сбилась, запуталась в хитросплетении той цепочки, повернулась ко мне и вдруг серьёзно спросила:

— Где твои родители?

— Где-то между Туапсе и Сочи.

— Повезло мне!

— В чём?

— Загадала... Когда шла к тебе. Если откроет твоя мама, нам не суждено встретиться, — передам привет и уйду. Если отец — тоже. Только ты или сестра. Шансы равны: два на два. Открыла бабушка, и я не знала, что делать. Её я не учла, думала, она в Новошахтинске. Слава богу, она меня знает! Ничего не пришлось объяснять.

— Родители тебя бы тоже не выставили.

— Не в том дело. Я не смогла бы войти.

— Может, ты опять не ко мне приехала? — Сомнение неприятно кольнуло сердце.

— К тебе, Володечка, только к тебе.

— И ушла бы?

— Непременно.

— Куда же?

— Не знаю, не думала.

— К тётке?

— Нет, тётка отпадает. Дома без понятия, что я намылилась к тебе. А тётка — три дня и письмо. Дома обожают всё предусмотреть.

— Тогда куда же? У тебя ещё кто есть в Ростове?

— Какая разница? Может, уехала бы домой. Понимаешь, не терплю неловких положений, не переносу объяснений. Чувствую себя абсолютной дурой, если нельзя сказать прямо и нужно влиять.

— Ну и сказала бы прямо.

— А что? Представляешь, твоей маме — какая-то девица с вещами, на ночь глядя?... «Здравствуйте, я ваша тётя! (она пугается: невестка!) А где моя племянница Галочка (её сыночек)?» Рожа, конечно, наглая и для неё пренеприятная. Что бы она сказала, как ты думаешь?

— Достаточно сказать твоё имя. Она знает, что мы переписываемся.

— Объяснять — это ужасно! «Лариса». — «Что за Лариса?» — «Воронцова». Она жмёт плечами: «Воронцова?» — «Та, что пишет вашему сыну». — «Что пишет?» — «Письма». — «Ах да, письма! Так что вы хотите?» — Да, действительно, что? А я сама без понятия. «Володю можно?» — «Володю? Нет его». — «А где он?» — «Не знаю». — «Когда будет?» — «Тоже не знаю». — И далее варианты, в зависимости от того, как она одобряет мои конверты и твоё корпение над ответами: «Войдите, подождите его» или «Что ему передать?» Всё это ужасно длинно и противно. Можно, конечно, короче — набраться наглости и объявить: «Я подожду его у вас! Да, в квартире, не на лестнице же?!» Но ещё короче сказать: «Привет!» — и уйти.

Она снова шла впереди, подкрепляя свои слова жестами. На подсохшем асфальте лужи теперь темнели зеркальными пятнами, но желание бродить по ним, видимо, у Ларисы пропало, она старательно обходила их, резко сворачивая из стороны в сторону, и походка её стала похожа на танец.

Я поотстал немного и сзади любовался ею. Стройная, сильная девчонка! Босые ноги, лёгкое платье подчеркивают фигуру. Точно Марина Влади в фильме «Колдунья». И в то же время совсем не Марина Влади, а Ларка, такая сейчас близкая и своя. Мне хотелось, чтобы она окунулась в воду с головой, нырнула так, чтобы липло потом к ногам её мокрое платье, а волосы разметались по лбу, и прижалась бы она ко мне от лёгкого холода, я бы обнял её и говорил бы что-нибудь тихое и хорошее. Неужели это снова она? А тогда, на автовокзале? Кто тогда был? Непрístupная крепость? Безразличный поток? Или непонятная книга?.. Независимость и гордость! Высокое мнение о себе! И всё это не для меня. Чужая, незнакомая девушка... Глупо жалеть, но всё-таки жаль, что мы не вместе. Когда она рядом, отлетает всё...

Лариса обернулась.

— И чтобы не впадать в эту дурость, я загадала.

«Чепуха какая-то...» — подумал я.

— Чепуха, считаешь?

Я вздрогнул.

— Да...

— Почему?

— Ты же приехала, тебе нужно, ты же хотела. Зачем тогда ломать всё на полдороге, доверять какому-то случаю? Надо обязательно дождаться, найти...

## Красные оани

— Ты слишком много от меня хочешь, Володечка! И приехать, и найти...

— Ну, если бы ничего не вышло, если бы всё было зря?

— Нет, не зря. Я приезжала, ты бы знал об этом, может, пожалел бы, может, обрадовался, но для меня это уже кое-что, не так ли?

В этом она была права. Она знала точно — это для меня не пустяк.

— Ты бы сам как поступил?

Я попытался представить себя в её доме, разговор с родителями. Нет, не выходило что-то.

— Не знаю, — пробормотал я.

— Хитришь?

— Честно...

— Ты же всё должен знать и всё уметь. Ты же парень! Парень, в которого я всегда верила! Ты просто не имеешь права пасовать!

— Наверно, не спасовал бы, что-нибудь придумал бы.

— А ты придумай, Володя, ладно? Когда-нибудь обязательно придумай.

— Постараюсь, — неопределённо пообещал я.

— Постарайся, Володя. Только не тяни, ладно?..

Она замолчала. Шагала быстро, точно куда-то спешила. Перед нами открылась широкая площадь перед театром. Я нагнал её, и мы пошли рядом. Потом взял за руку, немного придержал. Она остановилась, повернулась ко мне.

— Лариса?..

Она молчала, только смотрела вопросительно. В фиолетовом свете фонаря блестели её волосы, глаза влажные, тянущиеся.

— Ларка...

— Что, Володя?

— Я... Ты молодец, что прислала, что дождалась. Я твой должник... на- всегда...

Она улыбнулась.

— Я тоже очень рада. Поверь мне. Я всегда хотела, но так получалось...

Она посерьёзнела, хотела ещё что-то сказать, но промолчала...

## 2.

Сквер драматического театра пустынно шелестел струями большого фонтана. Вечерами здесь играет музыка, гуляют люди. В ритме с музыкой переливается цветными лучами, рассыпая радужные брызги, фонтан. Сейчас только редкие фонари бросают обрывки скупого света на притихшие деревья и кусты да лёгкий ветерок бродит по песчаным аллеям, грустно заглядывает под длинные скамьи из реек, поглаживает траву на уснувших газонах.

Лариса взобралась на спинку скамейки, начала медленно раскачиваться, упершись руками и вытянув ноги. Потом позвала:

— Володь?

— А?

— Садись рядом.

— Я лучше постою. Мне так удобнее смотреть на тебя.

— Тебе нравится смотреть на меня?

— Нравится?.. Я не могу привыкнуть к этому.

— Володь, слышь? Я всё время жду, когда ты начнешь спрашивать.

— О чём?

— Неужели тебе неинтересно, как я там, что со мной было?

— Интересно, но ты же не говоришь. Да и не жду я ничего хорошего. Мне того автовокзала, знаешь, — по горло!

Она улыбнулась.

— Запомнился?

— Ещё бы! Ты была там какой-то чужой, холодной, как никогда. Я не узнал тебя... Не пойму...

— Сама не знаю... Очень хотела увидеть тебя. Пока ехала, что-то переменялось. Думалось почему-то: зря это всё, — для забавы — чересчур, для чувства — мизер. Только глянуть на тебя и сразу уехать. Вроде так уравнивать желания с обязанностями... Примирить эмоции с разумом... Как бы это всё назвать? Может, разочарование, усталость или ещё что-то. А возможно, просто отвыкла...

Что-то неприятное в ответ на её слова скользнуло в моем сознании и улеглось где-то на дне души, подняв горьковатую муть. Оказывается, я всё ещё умел на неё обижаться...

— А сейчас? — глухо и, наверное, грубо спросил я.

— Сейчас?.. — Она посмотрела в тёмные ветви ели напротив нашей скамейки, потом пристально — как умела — мне в глаза, сказала тихо:

— Сейчас это совсем не то.

— Да, конечно. Теперь имеется желание не только «глянуть». Неплохо бы ещё и прогуляться, трепануть пару слов, пощекотать старые чувства...

— Прекрати... Зачем ты так? Сейчас это потребность, необходимость. Я не смогу тебе объяснить пока. — Она снова смотрела в тёмные ветви ели, голос чуть заметно дрожал. — Пойми, мне очень нужна эта ночь. И твой город, Ростов... И особенно — ты... Я не могу тебе сейчас сказать всего — будет бесконечно путано и напрасно... Мне надо понять кое-что самой. Ты меня прости, но я снова ищу в тебе друга... Когда-нибудь ты узнаешь всё, я обещаю...

Она говорила медленно, трудно. Её тихий голос постепенно вытапливал обиду из моего сердца.

А может, хватит? К чему теперь всё это? Не надо мучить её и себя. Что оно даст, это поглаживание самолюбия? Ей трудно, и она пришла ко мне. Куда же ещё? Так должно быть...

— Ты прости меня, Ларка. — Я подошёл ближе, протянул ей руки. — Я просто мелкий, мелкий эгоист. Я... Э.. Да провались оно всё! Я сам, куда бы ни нырял от тебя, но не могу, возвращаюсь. Это как... даже не знаю. Ларк...

Она встала, потянулась ко мне, приникла. Я обхватил её за талию, прижал к себе, стал целовать длинным, до задыха, поцелуем. Что же это мы, словно в самом деле чужие, — давно бы так, начать надо было с этого. И сразу бы всё стало на свои места. Я поднял её, стал кружить по аллее.

— Пусти, — смеялась Лариса. — Завалишься, помнём все газоны!

— Нам же везёт, Ларка! Ве-езёт, понимаешь! Ни один обалдуй не выдержал бы этой канители! Нормальные люди давно бы разбежались и забыли всё...

— Пусти...

Я вдруг понял, отчего вся эта канитель. Поставил Ларису на скамейку.

Мы же с ней похожи! Удивительно похожи! Тянемся друг к другу, но старательно прячем своё влечение. Как хорошо показать другому, что можешь и без него! — Свободно! С лёгкостью! Без всяких там переживаний и дурных мыслей, — они-то не для меня! Ведь в жизни так много можно успеть. А ты далеко и в неизвестности. Так сложилось, мы-то тут при чём? И снова нужно делать первый шаг. Кому-у?! А вот тоскливо же и плохо, и срываемся мы, снова идём друг другу навстречу и снова прячем...

— Лариса, ну что же мы такое творим, а?..

Она молчала. Но правду ведь говорят, что люди могут понимать друг друга без слов! Если хотят. Если им очень нужно это. Можно слушать сердца, можно ловить мысли, взгляды... Э-э, да не в этом сейчас суть. Слетают же на людей хоть иногда минуты счастья!..

И мы снова целовались...

Небо на востоке подёрнулось голубизной. Совсем скоро рассвет. Голубизна наваливалась и заполняла сквер, а на востоке уже бледнела и таяла. Медленно, словно на фотобумаге в проявителе, стали обозначаться атлеты фонтана, здание театра, удлинялся ряд елей на нашей аллее. Воздух посвежел, где-то стрекотала первая птица.

— Пойдём на набережную, — сказала Лариса. — Хочу посмотреть Дон на заре.

— Пошли...

Я взял её за руку — пожалуй, вот так впервые. Мы перебежали площадь перед театром и — вниз, к реке.

3.

Город окрашивался мазками света. Простучал по боковой улице первый трамвай, прошуршала по асфальту площади одинокая машина. И снова пустынно и тихо.

— Володя, тебя берут в армию?

— Загребают со всем имуществом.

— С каким имуществом?

— Со всем. Которого у меня нет.

— А когда?

— Это известно только наивысшему воинскому начальству. Когда ему придёт в голову.

— А точнее.

— Без понятия. Пришлют повестку.

— Тебя будет кто ждать?

— В каком смысле?

— Ну, не понимаешь?.. Девушка...

— Это зависит только от неё.

— А кто она?

— Абсолютно мне неизвестная красавица.

— А сам ты как?

— Я в этом деле ни гу-гу!

— Ты хотел бы, чтобы тебя ждала девушка?

— По правде?

— Да.

— Не очень.

— Почему?

— Я очень обидчивый. А вдруг не дождётся?

— Ты не веришь девушкам?

— Не верю! — Я глянул на неё. Лариса смотрела очень серьёзно, и мой тон внезапно пропал.

— Но в чём же дело?

— Верю, — сказал я, — но не очень.

— Почему?

— А-а, все обещают, клянутся и все полны желания жить только ради клятвы. Только время — это не просто так, семечки щёлкать! Все меняются. Потом начинают искать причины, — виноватых, мол, нету, то да сё, а это, бр-р, противно. Нет, я не хотел бы проходить через такие кружева.

— Ты гнёшь какую-то палку.

— Может быть. Только хорошее легче переносить — его ждёшь, надеешься. А неудача всегда неожиданно бацает дубиной по голове.

— Перестраховщик!

— А как же? Чего зря надеяться и выглядеть потом дураком?

— Ты всё это придумал.

— Я не хочу никому мозги пудрить, а кто желает — пусть ждёт!

— Так сказать, по собственной прихоти, а ты тут ни при чём, да?

— Только так. Я ведь тоже могу не справиться, тогда скажут: «Негодяй и предатель».

— Не кажется ли тебе, что ты коё-что теряешь?

— Как угадать, где потеряешь, где найдёшь?

— И есть такие, что «хотят ждать»?

— Кто его знает? Может, есть, может, нет.

— А я?..

— У себя спроси...

Она замолчала, почему-то отняла руку. Лицо её стало грустным, и я понял — досаждая ей своей «твёрдой» точкой зрения, я помешал ей сказать что-то важное и, наверное, очень нужное нам обоим. И спохватился.

— Прости, Ларка. — Я обнял её за талию, привлёк к себе. — Забудь эти дурацкие шутки.

Лариса резко остановилась, повернулась ко мне.

— Когда тебя будут забирать в армию, ты напиши мне, обязательно, слышишь?

— Напишу.

— Нет, лучше дай телеграмму, как только получишь повестку. Позови меня, и я приеду, Немедленно! Только позови!..

Я молча гладил пальцами её пухлую щёку.

Это замечательно! Так должно быть! Я никогда не думал об этом, потому что не мог представить, что такое возможно. Или не хотел представлять. Но

теперь она — сама! Сама же! Она, уже потерянная навсегда и вновь родившаяся!

Только бы опять не переменялся тот свежий ветерок, что занес её ко мне!

Длинная, крутая лестница мечется из стороны в сторону на крутом береговом откосе, и там, где она ныряет в тоннель, спускаясь на набережную, мы снова долго и жадно целовались. Словно наверстывали упущенное.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

27 мая

х.Верхняки

*Здравствуй, Володя!*

*Из Верхняков я уезжаю, как только будет транспорт на Ростов. Числа второго-третьего думаю быть дома, шестого, возможно, приеду к тебе — раньше на экзамены в Кадиевку меня никто не отпустит.*

*Приеду я днём, часов в двенадцать, автобусом на девять тридцать. Твои условия мне не нужны — Белова Владимира, проживающего по адресу: Степная, 8, квартира 54, найти мне ничего не стоит. Правда, трудно будет приехать на площадь Карла Маркса, ещё труднее — перейти улицу. Но постараюсь справиться. Так что, жди. А может, не жди?*

*Привет Сергею.*

*Лариса.*

1.

Совсем светло. Река покрыта розоватыми клочьями тумана.

Прямо перед нами большой трехпалубный теплоход с непогашенными ещё навигационными огнями. Лёгкие пролёты высокого моста висят над рекой, вонзаясь в далёкую зелень прибрежной рощи на той стороне. Там же — павильоны, грибки городского пляжа. На золотящемся в первых лучах солнца песке чёрные, движущиеся точки — ранние купальщики или рыболовы.

Набережная нависла над водой, отгородясь от реки старинной кованой решёткой меж чугунных столбов, прячется днём от солнца в тени столетних лип, цветёт на открытых местах яркими мазками бесконечных клумб с умытыми росой, пышными красавицами розами.

Лариса взобралась на решётку парапета, по пояс свесилась над тёмно поблескивающей, мерно лижущей гранитные стены водой.

— Здесь глубоко? — спросила она.

— Морские суда ходят.

Лариса спрыгнула с решётки, подошла к клумбе, глянула по сторонам и быстро сорвала маленькую, едва распутившуюся розу. Что-то пошептала над ней и бросила в воду. Мы долго смотрели, как медленно уплывал цветок, постепенно растворяясь в утренней позолоте реки.

— Зачем?

— А, так...

— Ну и что?

— Загадала одну вещь. — Лариса улыбнулась.

— Ты этим часто пользуешься?

— Я же особа «женского полу».

— И мне, конечно, знать нельзя.

— Можно. Только нельзя говорить — ни за что не исполнится.

— Как же быть?

— Вот исполнится, тогда скажу.

— Долго ждать?

— А это уж как получится.

— А если не исполнится?

— Тогда не скажу. Только исполнится обязательно! Верь в это, слышишь?!

Давай ждать, а? — засмеялась она, но вдруг серьёзно добавила:

— Так нужно...

И я согласился, я ждал. Но так и не узнал, о чём загадала она тогда на набережной. Наверное, что-то очень необходимое ей в ту минуту. Возможно, её желание так и не исполнилось, или она просто забыла о нём, как часто люди забывают потом о многом, что раньше казалось дорогим и «на всю жизнь». Но я ждал, помнил — но не спрашивал. А сама она мне ничего так и не сказала...

Набережная. Павильоны, длинные рейчатые скамейки, старинные чугунные кнехты с витиеватыми надписями завода-изготовителя, плавучие рестораны. Тогда она ещё была лицом города. Летними вечерами здесь любили гулять горожане, сюда с гордостью привозили приезжих. Уютное и красивое место, со свежим речным воздухом, длинными гудками теплоходов, уходящих далеко-далеко...

Мы шли вдоль парапета, изредка останавливались возле судов у причальных стенок, на палубах которых уже бегали матросы с вёдрами и швабрами, глухо шипели брандспойты, рассматривали замысловатые цветочные узоры на клумбах, читали надписи на уже тёплых от солнца чугунных чушках-кнехтах. Потом я показал Ларисе новый речной вокзал — бело-голубой красавец, у ног которого плескались волны Дона.

Поднялось солнце. И сразу ветерок, остро пахнувший сыростью, свежей рыбой и мазутом, погнал последние клочья тумана куда-то вниз по реке; открылась чистая и широкая водная гладь, — маленькие волны, как большие зеркала, мерцали на её поверхности светом и тенью.

В ветвях деревьев неумоимо ссорились воробьи, по асфальту чинно расхаживали голуби в поисках утреннего корма, появились прохожие: речники, спешащие на работу, припоздавшие рыбаки с удочками и первыми сигаретами, изредка попадались парочки вроде нас — день для них ещё не начался, а ночь не кончилась, — и они, неведь откуда, стекались к лестнице, медленно уходили в город.

В шесть часов открылся летний буфет на речном вокзале. Мы ели «каменные» пирожки с повидлом, устроившись на длинной скамье, запивали их мутным лимонадом. Я не терпел пирожки с повидлом, но сейчас они почему-то казались вкусными — то ли от голода, то ли оттого, что их ест Лариса. Позже я узнал, она тоже не переносит их, да ещё чёрствые, но тогда мы любили всё: и город, и реку, и людей на набережной, и даже приторно-сладкую твёрдость пирожков. И ещё, наверное, мы любили друг друга...

Если людям не хватает дней для свиданий, ночей для любви им хватить не может.

Ночь кончилась. Солнце уже припекало, когда мы взяли такси и поехали домой.

Мы сидели на заднем сиденье, смотрели на летящие мимо дома и молчали, (впитывая настоящее и стараясь не думать о прошлом и будущем).

Может, мне только казалось тогда, что Лариса чувствует то же самое, что и я, но скажи она, что у неё всё иначе, я бы не поверил, лишь глянул бы в глаза — они не обманут. Но я не спросил, а Лариса ничего не сказала, только неожиданно обняла меня, на секунду прижала голову к моему плечу и тут же отстранилась, но руки с плеча не убрала. Я тоже обхватил её талию, так мы сидели на заднем сиденье — обнявшись до конца дороги — и со стороны, наверное, выглядели глуповато-счастливой молодой парой, у которой всё ясно и ладно, остается только любить друг друга.

### 2.

Мы сидели и смотрели в окно, а мимо проносилась цветная, безликая масса людей, дышали голубым зноем машины, мелькали знакомые улицы, дома, скверы, и молодой водитель сквозь густую ширму усов улыбался нам через зеркало заднего вида.

Мы молчали, так было легче. Ведь я уже выработал свои приёмы держаться по отношению к ней: не слишком радоваться хорошему, не очень огорчаться неприятному и только молча, сквозь душу, пропускать каждое её слово, любую написанную ей строчку. Наверное, что-то подобное было и у неё. Может быть, так было спокойнее для каждого из нас, давало какую-то надежду и маленькие шансы продержаться — ведь между нами в любой момент всё могло снова пойти кривь и вкось, и даже без нашего желания или участия, и нужно было бы опять искать что-то такое, мучительно трудное, чтобы хоть как-то всё исправить.

Мы чувствовали друг друга и потому молчали.

У дверей квартиры Лариса сказала:

— Вечером я уезжаю в Новошахтинск.

— Ну, начинается! — недовольно пробурчал я. — Чего так сразу?

— Нужно обязательно заехать домой.

— Ну, раз обязательно!

— Не издевайся, это так, Володя.

— Жаль...

— Не переживай, ещё надоем. Впереди у нас целый день!

— Как бы я хотел, чтобы ты мне надоела! Но, увы! Такого, видимо, никогда не случится!

— Неужели? — Она улыбнулась.

— Просто не хватит времени!

— Знаешь, домой-то я должна была явиться ещё вчера вечером. Сутки потерять — куда ни шло, — призналась она, — но сегодня?..

— Слышь, может, хватит бегать, а?

Она удивлённо посмотрела на меня.

— Ты же никогда не пытался меня остановить!

— Разве остановишь человека, которому всегда хорошо?

— Хорошо?.. — Её голос погрузнел. — Да, хорошо, конечно...

Я стоял и смотрел на неё, притихшую. Что с ней? Спросить? Нет?

— Ларка, остановись, прошу. В первый раз...

— А?.. Да, попробую...

Ну что ещё сказать? Далека она от моих просьб. Пока ещё очень далека. Я открыл дверь, пропустил её в квартиру.

— Где же можно ходить всю ночь? — всплеснула руками бабушка, появляясь в передней.

— В городе, бабуля, — улыбнулась Лариса. — Я давно здесь не была.

Бабушка едва слышно проворчала ещё что-то, ушла в кухню готовить завтрак.

Лариса присела на диван. Что-то тревожило её. Словно ждала: вот-вот обвалится потолок и нас придавит. На лице написано напряжение.

— Ну что ты? — улыбнулся я. — Держись молодцом.

Она, молча, кивнула, как-то вяло улыбнулась в ответ и через пару минут попросила:

— Пойдём ещё побродим.

— Так сразу?

— А что? Лето ведь. Чего в квартире сидеть? Тебе не хочется?

— Да нет, почему...

— Тебе бы поспать...

— Я могу не спать ещё две ночи подряд! — зачем-то похвалился я.

— Тогда пошли.

— Давай хоть умоемся да пожуём что-нибудь...

Нет, всё-таки не была она мне чужой. Ведь было же что-то у нас, и связывает оно нас крепко, не отпускает...

Хорошо было держать полотенце и смотреть, как она умывается, как блестят холодные капли на её ресницах, длинных и пушистых. Хорошо было вместе пить кофе на кухне, жевать бутерброды и слушать музыку, падающую на нас из репродуктора на стене. Хорошо было просто видеть её в метре от себя, прикасаться к ней, когда хочешь, даже целовать украдкой от бабушки. Хорошо, намного лучше, чем ждать и читать её письма, тёплые и нежные, холодные и дерзкие, теряясь в догадках и расшифровывая недомолвки. И я начинал понимать цену происходящего...

Умывание и горячий кофе почему-то произвели обратное действие: чуточку хотелось спать.

### 3.

Мы снова на улице.

Солнце стоит высоко, поливает зноем асфальт, дома и людей. Злобно рычат, плюются выхлопными газами в народ на троллейбусной остановке автомобили; обливаясь потом, по тротуарам мчатся прохожие — точно за ними гонятся тигры или все они опаздывают на самолёт. Суета, начало рабочего дня. Кто проспал, кто, наоборот, — недоспал со вчерашнего дня, у кого-то какие-то дела — все спешат, торопятся отдать свои силы обществу.

А совсем рядом безмолвно зеленеет роща, пряча в своей глубине тишину, прохладу и кислород.

Может быть, на всей улице только мы с Ларисой никуда не спешили, смотрели на этот утренний бег немножко сонными глазами.

— Идём в рощу, — предложил я.

— Идём. Хочу посмотреть рощу.

— Тогда давай искать вход.

— Какой ещё вход? Она же не огорожена.

— Ну и что ж? Увидишь, какой! Смотри — сплошная стена!

— В самом деле... Ты хоть когда-нибудь ходил сюда?

— Обижаешь... Всё исследовано... И вдоль, и поперёк...

Пришлось немало пройти, пока мы нашли узкую брешь в серо-зелёном обрыве рощи — за ней начиналась едва заметная тропинка. И сразу — сумрачно, заметно прохладнее. Тропка змеилась узкой расселиной меж зелёных вершин, и сойти с неё было невозможно — стволы деревьев толпились в тесных объёмах кустарника. Только изредка попадались прорехи, где можно было пройти десяток-другой шагов в сторону, и снова густящие заросли. Акации, дубки, клёны, ясени, одичавшие жердёлы — всё густо и беспорядочно намешано среди кустов бузины, боярышника, тёрна, сирени; на редких свободных клочках земли тянется к небу жёсткая, высокая трава. И будто город далеко-далеко: в шелесте листвы беспечно суетятся птицы, снуют насекомые.

Весной роща нежно-молодая, застенчиво трепещет клейкими листочками, красуется неброскими цветами, летом стоит неприступно-зелёной крепостью, горит страстной красотой осенью, печально колышет уныло-серыми ветвями зимой на колючем ветру, как маленькой радости, ожидая редкого снега. Островок дикой жизни посреди города, маленький оазис в каменной пустыне.

Мы уходили от улицы, и кустарник по бокам тропинки постепенно редел, деревья теряли корявость, выпрямлялись, стройнее, увереннее тянулись ввысь, листва и трава избавлялись от пыли, приобретали сочную зелень, а шум машин перерождался в птичий гомон. Всё сильнее над тропинкой, до кружения головы, запах прелых листьев, грибов, ещё чего-то терпкого и непонятного — лесной сырости. Точно прыгнул, закрыв глаза, с горячей солнечной скалы в прохладное море и захватило дух...

— Не продерёшься! — смеялась Лариса. — И темно как!

— Дикарка! Ещё не причесали её бульдозерами.

— Знаешь, мне тут нравится!

— Догадываюсь.

— Что?

— Прохлада и тишина.

— А вот и нет!

— Тогда не знаю.

— Здесь — как в настоящем лесу. Всё перемешано, перепутано. Противно смотреть на лес, деревья в котором растут рядами да ещё на равных расстояниях друг от друга.

— Природа их тоже не любит. Что за лес, когда тебя видно из конца в конец?

— В лесу должна быть таинственность. И ещё — сказочность. Иначе, какой лес? Где медведи, леший, Баба-Яга? Что за сказка, если видно, что деревья посажены человеком?

— Так уж заведено: сначала рубим, потом пытаемся сажать. Но хоть сюда не добрались.

— Понимают же, наверно. Чудо-то какое — дремучий лес посреди города. От него же дышится легче, что тут неясно?

— Разве только воздух? В июне здесь знаешь сколько соловьёв? И слышно аж куда! Откроешь балкон, свет потушишь и лежишь, слушаешь, а они друг перед другом выделяются: один не закончил, другой трель пустил, третий защёлкал, а то и сразу в несколько голосов. Лежишь, слушаешь, и на душе хорошо, словно касаешься чего-то удивительно чистого. Ночь будто цветёт. И засыпаешь как-то легко, без длинных переходов в сон — словно растаял, улетел, и сны хорошие снятся... До того, как сюда переехали, я только глиняных соловьёв слышал, — знаешь, что раньше на тряпки обменивали, воду в них ещё наливали. Думал: чего хорошего? Булькают, да и всё. А тут понял...

Лариса остановилась, слушала меня затаив дыхание. Что-то дрогнуло во мне — она была совсем такой, как когда-то на поляне. Глаза её блестящие, взгляд улетал куда-то в ветви деревьев, к пропавшим теперь соловьям, и, наверное, слышались ей чудные трели свежей июньской ночи, льющиеся в комнату сквозь открытую балконную дверь, и лёгкий шелест оконной гардины, виделась бледная темнота рощи, залитая молочным светом луны. Вряд ли думала она сейчас о каменной поступи города, сжимающего кольцо своего наступления на рощу, но пока ещё полной грудью глотающего чистый воздух, выдыхаемый ею.

— Пойдём напрямик, — очнулась Лариса, и мы свернули на боковую тропинку.

Тогда мы ещё не знали, да и представить не могли, что наши уверенные надежды на чьё-то понимание, наше сознание простоты подобных решений могут оказаться только нашими, и потому очень скоро от этой громадной рощи останутся лишь воспоминания да редкие островки зелени в окружении домов и предприятий, влияющих на городской воздух прямо противоположно. Какая-то мудрая, полная грандиозных планов голова, страдающая за рациональное использование земельных ресурсов, уверенной и могущественной рукой отсечёт этот кусок городских легких безжалостно и бездумно, уничтожит подаренное всем людям природой, стерев рощу с карты города, и с сознанием полной ответственности к порученному делу построит на её месте каменные джунгли. Так сказать, подарок гражданам от любящих городских властей.

Уже будет слабо алеть над миром заря экологической беды, а рощи по окраинам города всё будут вырубаться и вырубаться — большинство из них постигнет та же участь. Будто уж очень они кому-то мешали...

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

15 июля

г. Северодонецк

Здравствуй, Володя!

Сейчас я нахожусь в Северодонецке — послали сюда на работу. Город химиков — так его здесь называют. Город молодой, благоустроенный, везде асфальт и проспекты, дома все серые, многоэтажные. Начинается он центром и центром кончается — здесь нет ни одной частной постройки.

Я думала, нам дадут ученический отпуск, но не вышло — работы тут много, а людей пока мало. Вместе с нами прислали сюда пятьдесят человек из Ялты, тридцать пять из Луганска и сорок наших из Кадиевки. Всё для общепита, для создания условий серьёзно занятой молодёжи. Сейчас устраиваемся на работу, на той неделе вместе со всеми порядочными людьми будем шагать туда, где отдают свой труд и получают взамен красненькие бумажки.

Живём пока в школе, но хотим попасть в новое, открывающееся на днях, общежитие. Вчера уже успели побывать на танцах. Не знаю, какие танцы у вас, и ничего сказать о них не могу, но здесь они просто замечательные, и молодёжь на них может получить всё, что ей сейчас нужно. Или почти всё.

Как ты там теперь? Что думаешь делать летом?

А сейчас вот что: я хочу, чтобы ты ясно и понятно ответил мне, как ты ко мне относишься? Лично мне всё это ужасно надоело — я пишу тебе, ты молчишь, я снова пишу, а ты и в ус не дуешь.

Скажи, почему не было твоего письма в Верхняки, в конце мая? Ведь я писала тебе. Скажешь, — думал, уехала и письмо не застанет меня, да? Эх ты!

Володя, пока до свиданья.

Лариска.

1.

Метров через сто ещё развилка — в кусты ныряет совсем маленькая, едва заметная в жёсткой траве, тропинка.

— Сюда? — спросила Лариса и свернула, не дожидаясь ответа.

Я поворачиваю следом, и мы дерёмся сквозь заросли. Лариса осторожно раздвигает низкие ветви, но всё равно редкий сушняк чертит на загаре рук белые полосы, липнет на лицо застарелая паутина, перед глазами мельтешат какие-то мошки... Ну, нашла тропку! Но вернуться назад нельзя — мы непроходцы! И потому только вперёд!

Странная, вообще-то, тропка. Уж не зверьё ли её натоптало? Только нет здесь зверья, разве что — собаки забредут когда сдуру или в тоске по одичалости своих предков. Или осталась она ещё с тех времен, когда было вокруг зверьё, не заросла совсем, не исчезла? Кто-то из стариков мне рассказывал, что после войны, когда город примыкал ещё только к одному краю рощи и был здесь сильно похож на деревню, зимними голодными ночами выходили из рощи волки и нагоняли на крайние хаты хрипастым воем тоскливую жуть.

Ну а теперь что? Ни степи, ни леса, ни волков. И воют только троллейбусы редукторами задних мостов.

Тропка вертелась из стороны в сторону, запутывая нас, и скоро мы потеряли направление. Дважды перебрались через маленький овражек с чистеньким ручейком на дне, и — снова заросли, заросли. Чёрт-те что! — тропки, наверное, уже давно не было, и двигались мы просто там, где можно было пройти.

Неожиданно деревья расступились, кустарник исчез, и нам открылась большая травянистая поляна, накрытая голубым лоскутком неба.

— Ну, красота!.. — Лариса вышла на поляну, осмотрелась. — Тихо как...

Всё, хватит! Дальше — ни шагу! Я сел на траву под дерево, достал сигареты.

— Иди сюда...

Лариса медленно опустилась рядом на колени.

— Далеко до улицы?

— А кто его знает, как мы шли? Может, рядом, может, километра два...

— Но тихо же... Будто и нет города.

— Тихо... Значит, далеко...

Да, действительно здесь замечательно. Ладная тишина, спокойствие. Но почему же напряжены нервы? И разговор не клеится. Это совсем не то, что тогда в саду, когда мы воровали с ней виноград, что-то совсем другое висит над нами. И глаза её ласковые, улыбаются, только сквозь улыбку проступает тревога. Неужели и у меня так? Или пришло наше время? Одни, впервые по-настоящему наедине. Тогда чего же мы боимся?

Я взял её за руку. Она опустила глаза, сказала шёпотом:

— Подожди... Давай послушаем рощу...

Тишина. Мягкая и ровная. Но нет её и здесь. Роща звучит. Вот застрекотал, зазвенел кузнечик, где-то крикнула птица, заверещала и смолкла, прогудел, облетая поляну, маленький ворсистый комочек-шмель. И ещё — ветер. Он прячется где-то в листве и шепчет, шепчет, сладко и непрерывно, потом вдруг выскочит, пройдёт крепкой рукой по верхушкам травы, погладит, пустит зелёные, мягкие волны, и снова исчезнет... Живёт роща. Что ей до наших тревог?

Я снова взял её за руку.

— Лариса...

Она не сопротивлялась, только так же смотрела в глаза.

— Прошу, брось всё, переезжай сюда.

— Зачем?

— Я так хочу.

— А я?

— А ты нет?

Лариса грустно улыбнулась.

— Сейчас это уже поздно. Да и не нужно. Пока перееду, ты уйдёшь в армию, и всё останется по-прежнему.

— Ты будешь ждать меня здесь. Так будет лучше. Время пролетит быстро.

— Ждать можно где угодно, если хотеть. Не в этом дело...

Мы замолчали. Молчал я, потому что не знал, что сказать, молчала Лариса,

всегда весёлая и отчаянная, а теперь почему-то серьёзная — очень взрослая и красивая девушка, — и мне нравилось, что именно она взрослая и красивая, что сидим мы сейчас здесь вдвоём, а вокруг не рванная людскими голосами тишина, и пытаемся мы как-то решать свою судьбу — неумело и осторожно, хотим что-то сказать и не можем. Хотим и не можем — это самое трудное, пожалуй, в нашей жизни, и перед ним останавливаются многие.

Она отняла руку, смотрела теперь куда-то в сторону. Наверное, мы были чуточку похожи на разобидевшихся детсадовцев. А может, и нет. Ведь всё это, в самом деле, было трудным для нас. Как настоять на своём, но не принуждать? Как сделать, чтобы лучше стало нам обоим? Как сказать ей всё, когда не поворачивается язык и, хотя знаешь её уже столько времени, понимаешь, чего она хочет, почти уверен во всём, но всякий раз она для тебя новая, незнакомка, и ты спотыкаешься, останавливаешься, будто при первой встрече, — ведь ты ещё никогда не говорил ничего подобного.

Да и хорошо это, наверное, — не привыкать к таким словам, не мешать их с обыденностью, не упрощать. Нелёгкое это занятие, когда в первый раз, когда для тебя эта девчонка всё или почти всё.

Что я испытывал к ней в тот момент? Видимо, что-то очень хорошее. Смотрел на неё, и душа наполнилась нежностью. Я чувствовал, я знал — другой мне не надо. Все эти прошлые увлечения — чепуха, миф! Но что бы было, если бы она не приехала, если бы вообще никогда не приезжала? Письма? Они таяли, мельчали — их тоже бы давно не было. Только на этих жданных и неожиданных встречах мы тянем, держимся. Только на них.

Я тоже стал перед ней на колени, потянулся, приник, стал её целовать. Долго, счастливо. Так и стояли мы друг перед другом на коленях и целовались, робко, нежно — точно каялись. Молча! Отчаянно! Бесконечно...

— Володя, ты должен ко мне приехать! — Она дышала трудно, я чувствовал, как вздымается её грудь. — Это не просто мои прежние приставания. Пойми, иначе у нас ничего не выйдет, всё будет зря, если ты не приедешь ко мне сам. Так надо. Так должно быть... — В кустах на той стороне поляны что-то звякнуло, и Лариса замолчала. Мы посмотрели на кусты и ничего, кроме самих кустов да деревьев, не увидели.

Но слова уже улетели, оборвались, и мы снова сидели рядом и молчали, опять шептал нам что-то ветер в листе деревьев.

Солнце катилось по небу, и световая яма на поляне, становилась всё шире, подбиралась к нам, меняя всё вокруг. Мы смотрели на это движение света и ждали — ждали чего-то такого решительного и мгновенного, точно сигнала к очень нужному нам обоим. Вот как только доползёт до нас черта тени, коснётся нас солнце, мы встанем и уйдём дальше в чащу, переместимся по жизни, чтобы стать совсем другими.

И тут я понял: солнце не достанет нас! Большой клён справа от нас слишком далеко выставился на поляну, развесился широкими листьями, разлапился мощными ветвями и цепко держит тень своей кроной — солнце уже стало заходить за неё. Никуда мы не уйдем, нигде не переместимся! Я посмотрел на клён, на светило, на такую обширную поляну, где каждому должно быть солнечно, но не всякому удавалось, и на душе стало тоскливо.

Будто шёл, шёл куда-то я, устал, выдохся и всё уже — вот она, цель, но вдруг открылась на дороге громадная пропасть, перебраться через которую невозможно и надо либо оставаться на месте, либо повернуть назад.

Но на месте — это ведь тоже «впереди» по сравнению с «назад»!

И можно подумать ещё раз хорошенько, попытаться решить, как преодолеть эту пропасть.

И попробовать ещё раз...

Я очнулся.

И тогда сказал:

— Я не хочу обещать, но я приеду к тебе в Северодонецк, слышишь? — Я снова держал её за плечи и, по-моему, даже легонько встряхнул. — Приеду этой осенью! Во что бы то ни стало!..

Лариса молчала, и тогда я стал целовать её, перебирая пальцами мягкий шёлк её волос, чувствуя, как вздрагивает она всем телом.

2.

— Володя, это же очень трудно так. Ведь жизнь-то идёт, движется. И все вокруг живут. Тебя видят, ты видишь, разговариваешь, смеёшься, развлекаешься, кому-то нравишься или стараешься понравиться. Девчонки ведь любят нравиться. А там смотришь, кто-то за тобой приударил, знаки внимания и всё такое, уже куда-то зовёт. И надо бы не пойти, так думаешь, но идёшь, что-то ищешь, но не находишь и гонишь прочь. Каждый день приходится решать — как быть? — сомневаться и не верить, потому что тот, кто мог бы стереть все сомнения, предоставил тебе всё это — рискованно предоставил, — то ли слишком уверенный в себе, то ли совершенно безразличный, вот и ломаешь голову: как же быть? Обидеться и начхать на всё? Забыть и брать своё от жизни? Или притвориться, оставив крохотную надежду, и продолжать эту игру в старинную любовь, не вкладывая в неё ни души, ни сердца? Или прощать всё, каждый раз делая вид, что всё в порядке? Видишь, сколько вопросов? И надо было что-то решать... — Она сорвала на краю поляны одуванчик, три раза дунула на белый пушистый шарик. — Смотри — баба! — Она бросила одуванчик, села рядом со мной под дерево. — Вот и приходилось решать. Но ведь каждый день что-то новое, да такое — куда уж там помнить старое! Попробуй не забудь! Вот и нужна была каждый раз очередная встряска следующей, что ли? — не знаю даже, как сказать... Извини, я тут наговорила сорок бочек арестантов, но это уж так — накипело...

...Ну что там звякает в кустах?

Опять ничего.

— Нет, ты говори, обязательно говори.

— Володя, я дурная девица, совсем не похожа на других. Тебе трудно со мною...

Да, найдёшь на тебя похожую! Такую же решительную и своенравную! Такую же независимую и уверенную в себе! Такую же непонятную и противоречивую в чувствах, в поступках! Легче, наверно, — иголку в стог сена... Нет, но всё же, что там звякает?..

— Трудно? Не знаю...

Я встал и пошёл к дальним кустам. Трава на поляне густая, сочная, тянется выше колен. Я оглянулся. Лариса смотрела на меня и молчала. Понимает, нет?

За кустами зазвякало сильнее, задрезжала, точно на ворота колодца, цепь. В сторону метнулась рыжая тень. Телёнок!

— Ларк, иди сюда...

Лариса подошла, увидела, и глаза её засветились радостью:

— Надо же? Какая прелесть!

Телёнок, позвякивая бубенцом из консервной банки, доверчиво тыкал бархатистым носом Ларисе в бок, она почесывала его бугорки-рожки и смеялась.

— Ух ты, хороший, хор-роший такой! Ой, молодец! — Телёнок фыркнул и побежал на цепи по широкой, прямой просечке, что начиналась здесь, у поляны, и уходила в глубь рощи, запрыгал, взбрыкивая ножками. Играет...

— Интересно, чей он?

— Завёл кто-то, смелый. В деревне и то запретили держать, а в городе?..

— Что, так мешают?

— Боятся, мяса и молока будет слишком много.

— Дождутся...

— Видишь, не на поляне привязали, прячут.

— Могут спереть?

— Да, в пользу государства. Наверное, тут ещё есть.

— Вполне...

Мы прочертили два следа в обратном направлении — рассекли двумя бороздами зелёные волны на поляне.

— Может мне и трудно с тобой, Ларка, но я не хочу другого...

Она потянулась ко мне, прильнула, и сразу стало всё другим: и мир, и эта роща, и небо над нами — только бешено от радости стучало сердце...

Потом я лежал па траве, положив голову ей на колени. Высоко вверх, через большую зелёную яму поляны, перепрыгивали маленькие облака. Казалось, они отталкиваются от верхушек акаций и клёнов, отчего те слегка раскачивались. Я смотрел на облака и думал, почему так легко делаются сложные вещи, а простые, наоборот, — тяжело, со скрипом и болью?..

Лариса прислонилась спиной к стволу дерева и тоже смотрела на облака.

— Володь, ты помнишь наши звёзды в Новошахтинске?

— Да.

— Это были наши первые звёзды, понимаешь? Таких уже не будет. Глупые мы тогда были, наивные. Только, по-моему, мало мы изменились за эти годы. Надо бы почаще их вспоминать.

Голос её звучал грустно и почему-то дрожал.

— Я всё помню, Лариса, всё-всё, до мельчайших подробностей. И ночи на поляне, и виноград, и рыбалку, и вашу лавочку под тютиной. Я никогда ничего не вспоминал, просто всё это как-то всегда жило во мне, присутствовало. Как душа, что ли? Где бы я ни был. И с кем бы. Я никогда не был равнодушен ни к нашему маленькому общему, ни к тебе. Мог любить, ненавидеть, ругать, ждать с замирающим сердцем — что угодно, но равнодушным — никогда!..

Я чувствовал, этот словесный поток идёт из меня сам, без каких-то усилий с моей стороны — так непривычно, так легко, даже мороз по коже пошёл, — впервые я так с ней говорил, без намёков или уязвленного самолюбия, без оглядки и смущения, просто, душой, всеми свободными словами.

— Это выбросить, затоптать, забыть? Нет. В любом случае. Даже когда неприятно и трудно...

Лариса смотрела на облака, и мне казалось, я слышу стук её сердца — счастливый, чуточку возбуждённый и в то же время спокойный, и мне думалось, больше уже никаких трудностей у нас с ней не будет — какие там трудности, когда ради этой минуты столько перенесено, пройдено тупиком, нагромождено всяких завалов? Хватит, пожалуй...

Она сорвала травинку, стала щекотать мне лицо, а глаза её светились чем-то новым, совершенно мне незнакомым, и ещё мне почему-то вспомнились все мои прежние увлечения, прошедшие сквозь наши с Ларисой отношения, вспомнились нечаянно, на миг, и унеслись, но я невольно сравнил. Нет, не стоило сравнивать. Человек не должен делать сравнения, потому что не знает точно и не понимает, как рождается любовь — единственная, трудная, но настоящая, — чувство, что приходит неизвестно как, заставляет всесильно тянуться к другому человеку совсем не по признакам лучшести его перед всем миром, часто совсем без причин, не оставляет и маленького шансика совладать с собой, воспротивиться. Я не знал ничего. Может, и правда, это всего лишь Амур пускает свои стрелы, из прихоти, из каприза выбирая цель? Только зачем же эти стрелы сгорают, бывают недолговечны и хрупки? Почему уходит любовь? Знают все и — никто...

— Лариса?

— А?

— Я постоянно ощущаю, как сижу на угольях, но не могу с них слезть. Всё думаю, хочу понять, но не получается. Странно как-то. Точно у нас с тобой всё уже было и в то же время — ничего. И разговоры наши: вспоминаем, объясняем... — Ну что я? Опять не туда ползу...

— Что тут объяснишь, Володя?

— Знаешь, я человек уже вполне самостоятельный.

— Так ли? — Она улыбнулась, но как-то грустно, натянуто.

Зато на тропинке-просеке кто-то засмеялся вполне весело и громко. Мы насторожились. Послышались голоса, на край поляны вышла женщина-армянка, на вид лет сорока, с зелёным эмалированным ведром. Черноволосый мальчишка тащил следом за цепь телка, залиvisto смеялся. Женщинаглянула на нас и, наверное, не удивилась, стала спокойно поить свою рыжую молнию. Потом мальчишка играл с телком — тот носился на цепи по кругу, смешно раскидывая ножки, пацан гонялся за ним и весело смеялся, Лариса смотрела на них и как-то отрешённо улыбалась. Дети. А мы уже были взрослыми. Наши напряжённые души смягчились, потеплели. Этот мальчишка и его телок были как нельзя, кстати — они отвлекли нас. Может, к лучшему, может, к худшему, но тогда мы почувствовали — они нужны нам.

Тут женщина сказала сердито несколько слов по-армянски, и мальчишка сразу успокоился, потянул телка за цепь. Телёнок тоже успокоился, словно

понимал армянскую речь, покорно пошёл за мальчишкой — в глубь рощи. Они увели его. То ли менять место, где трава получше, то ли прятать от нас или ещё кого-то, не знаю, — в этом тоже был резон. Тогда только очень от-важные люди решались на такое — держать врага общества в городе, ведь каждый из них запросто мог лишиться своего годового труда и, как говорится, быть к тому же ещё и освистанным.

Мы проводили их долгим взглядом, потом снова целовались. И на душе вдруг стало весело. Нет, мир всё же прекрасен, раз бывают в нём вот такие картинки, раз удаётся преодолеть в нём самые тягостные, и трудные моменты, раз есть ещё в нём такие места, как эта роща, где не только легче дышится, но и говорится свободнее, понимается проще и любитя крепче.

Совсем случайно я посмотрел на часы.

— Сколько? — спросила Лариса.

— Почти два...

В ответ она почему-то вздохнула. Пора было уходить.

3.

Через три часа мы сидели в кафе на автовокзале за тем же столиком, что и в прошлый раз, и пили сухое вино из пузатых фужеров — ждали отправления автобуса на Новошахтинск.

Мозаика на окнах светилась тускло — небо над городом заволочло тяжёлыми тучами, жара подушнела, сгустилась, обещая дождь.

Сегодня людей в кафе много, и нашей официантке уже некогда выражать своё презрение таким посетителям, как мы, — она носилась между столиками бабочкой, клацала карманными счётами и писала в своём блокноте с таким усердием, будто хотела составить хорошее мнение о себе.

Лариса ехала в противоположную сторону, и всё сейчас у нас было по-другому, да и выглядели мы, вероятно, иначе — если бы официантка могла запомнить нас, она точно заметила бы это. Стрелки часов неторопливо сокращали нашу встречу, мы сидели в красных креслах, смотрели, как пузырится в фужерах вино и снова почти не разговаривали. И вроде грустно не было, но и до весёлого, кажется, далеко...

Как все же здорово, что она приехала. Не посмотрела ни на что. И всё теперь прояснилось, всё вернулось и нашло себя. Рано, ох как рано решил я, что всё закончилось... Такие отношения не кончаются просто так, не рвутся без большой причины, не исчезают сами по себе. Ведь мы же любим друг друга — это давно ясно, пусть даже довольно странно любим и для кого-то совсем непонятно, но это же всё настоящее; нельзя любовь отдавать слепому случаю...

Я смотрел на Ларису и твёрдо обещал себе: «Всё, еду в Северодонецк! К чёрту все страхи, неловкости и условности! Всё сделаю одним разом! Заберу! Навсегда! Хватит, побегали. Она будет только моей...»

— Я напишу тебе, как только вернусь в Северодонецк, — словно продолжая мои мысли, сказала Лариса. — Не забывай, я жду тебя.

— Я приеду...

Лариса потянулась через стол, взяла мою руку, посмотрела на часы. Я почувствовал, как нервно сжались и разжались её пальцы.

— Пора, — сказала она, вставая. — Пойдём.

Мы вышли на перрон. Автобус стоял под посадкой. Возле него толпился народ, спорил с контролёром, заталкивал сумки и чемоданы в багажники, хитро подмигивал водителю: возьми мол, без билета.

Отъезжающие, наконец, утрамбовались в автобус. Лариса обернулась на опустевший перрон, потом, пряча волнение в грустных глазах, сказала:

— Не забывай меня, слышишь! Я же есть, я всегда рядом...

Я, молча, смотрел, как ветер треплет, впусшивая, её волосы, как за ними, на стекле автобусного окна, собираются редкие капельки дождя.

Автобус выдохнул облачко синего дыма, негромко заурчал. Лариса почему-то подставила для поцелуя щёку и, едва я успел коснуться её губами, резко отстранилась, решительно пошла в автобус. Потом она долго пробиралась на своё место. Автобус, поворачивая, уже выезжал на улицу, когда я увидел, как она села и только раз успела махнуть мне рукой.

Дождь заходил затяжной и нудный. Громыхнул гром, лениво, не спеша покатился по-над домами. Серая сетка обтянула, навес перрона, с шифера кровли повисли тоненькие струйки, асфальт проезжей части чернел на глазах, резко пахло пылью, и казалось, наступил вечер. Людей за навесом словно вымело, машины на улице шелестели мягко и монотонно.

Дождь припустил сильнее, а я стоял под навесом, курил и не знал, что делать: вокруг стало пусто и неудобно. Точно попал я в чужой город, где нет у меня ни дел, ни знакомых, но и выбраться из которого нет возможности.

Сигарета жгла пальцы. Я выбросил её в маленький поток за краем перрона, глянул, как шипанула она облачком пара, поплыла, поворачиваясь и размокая, потом шагнул из-под навеса, не прячась и не обходя луж.

Дождь сек улицу, но меня он не мог загнать под зонтик.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

28 августа

г. Северодонецк

Здравствуй, Володя!

*Мне окончательно надоела эта неясность между нами (вернее, не ясно мне), и я решила сказать, что люблю тебя, если можно так назвать то чувство, которое и испытываю к тебе.*

*Пока ещё свежа в моей памяти наша последняя встреча, и мне кажется, что другого мне не надо, только ты будешь всегда для меня единственным. Но пугает одна мысль: что будет через полгода, год? Вот так — люблю и сомневаюсь.*

*Понимаешь, не знаю даже, почему я утаила от тебя тогда, что чуть не вышла замуж. Это было в июле месяце. Мы обо всём уже договорились с Витей — что будет и как, — но в самую последнюю минуту, когда уже надо было идти в ЗАГС, я удрала.*

*Тогда в Северодонецке я о тебе почти не вспоминала. Слишком много было нового, чтобы о чём-то вспоминать. Но в ту, решающую минуту, мой мозг всё же среагировал — произошёл ответный, отрезвляющий толчок, ему я сейчас очень благодарна.*

*На следующий день я выклянчила отпуск и отправилась домой. С тобой мы почти не переписывались, и я не могла знать твоих мыслей, понимать твои интересы, а тем более — твоего отношения ко мне в данный момент. Может быть, ты даже вовсе не помнишь ничего и забыл о моём существовании, и мой приезд к тебе окажется совсем лишним. Помог Андрюшка. Он сказал о твоём уходе в армию, и это всё решило.*

*Да, я заезжала домой, и мне нужно было обернуться в один день, но ты беспечно гулял и не чувствовал абсолютно ничего.*

*Теперь я хочу знать: нашлась ли та девушка, которая решила тебя ждать из армии, любить и т. д. (может, это не слишком учтиво, но не стану перечислять)? Когда-то ты был для меня просто прекрасным другом, отличным человеком — я часто и аккуратно посылала ему письма. Но сейчас... Ведь мне всегда было хорошо с тобой, даже чересчур спокойно и хорошо. И я буду любить тебя, буду...*

*Ты извини, может, что не так, может, я скачу в своих мыслях, но пойми — я волнуюсь...*

*Домой приехала в девять вечера, и встреча с мамой прошла за «круглым столом» в самой «дружеской и теплой» обстановке — было сказано всего лишь несколько слов: «Мне поневоле приходится тебе верить, но прошу, не делай глупостей».*

*В Северодонецк вернулась во вторник и с того дня жду тебя в гости. Ты мне нужен, и, по-моему, я нужна тебе не меньше. Надо же, в конце концов, шагнуть навстречу друг другу. Приезжай! Если тебя не устроит женское общежитие, ты сможешь остановиться у моих знакомых ребят, они — братья и занимают отдельную секцию. Только смотри не увлекайся — у них очень симпатичная сестра.*

*Лжи мне не надо.*

*Лариса.*

1.

Распределения мы получили шикарные, города все столичные да солидные: Ленинград, Минск, Киев, Свердловск, Ташкент... Мне достался Ашхабад. Нам вручали направления, и никто почему-то не хотел предупреждать, что все эти города всего лишь места величия трестов да главков, и нам, молодым специалистам, шансов работать в них абсолютно никаких, потому что там доморощенных валом, да к тому же и с «волосатыми руками» местного производства, а нам ехать ещё и ехать уже по их могущественным усмотрениям как раз в те края, где таких специалистов, как мы, днём с огнём, не сыщешь, потому что успели они разбежаться от прошлого выпуска. Никто не думал даже намекнуть подобное, хоть знали бы мы, на что идём, и не бил бы нас удар разочарования сразу же по приезде, — всяк говоривший только чуток смущался при наших радостных вопросах. Видно, это считали мелочью или просто не желали портить нам настроения перед дальней дорогой, подтирать наши честолюбивые намерения, и мы, полные понимания собственной значимости и столь необходимого нашего присутствия в таких прекрасных городах, начали собираться и потихоньку отбывать.

Мишка Строев из параллельной группы получил направление, в точности похожее на моё, и уехал неделей раньше. Я удивился до обалдения, когда через пять дней он позвонил и, хохотнув в трубку, сказал прокисшим басом, что ждёт меня в сквере на площади Карла Маркса. Недоумение сменилось тревогой, я быстро собрался и поехал на площадь.

— Здорово! — Круглое Мишкино лицо цвело зубастой улыбкой.

— Привет! Ты что, не ездил?

— Уже приехал!

— Как?

— А вот так! Пришёл доложить тебе, как встретили меня там саксаулы и скорпионы...

— Давай выкладывай...

И Мишка начал «выкладывать». Как пропали радужные надежды вместе с перспективой гулять по зелёному Ашхабаду, как получил новое направление и отправился в Безмеин — городок «вшивенький», но «ещё ничего» по сравнению с другими, потому, что находится на краю пустыни и всего лишь в полусотне километров от Ашхабада, там «хоть по стакану в день, но воду дают», кругом жарница, «точно в камере для сушки леса», жить негде — квартиру ищи сам и питайся, как хочешь, а «зряплата» с гулькин нос. А где искать квартиру и как питаться, если в городе не знаешь ни людей, ни обычаев и привычек, а тем более — местного языка, да ещё при такой жаре и зарплате? Сдохнешь, и всё! Засохнешь под туркменским солнцем! Но ему-то ещё повезло — могли бы загнать куда подальше.

Конечно, про стакан воды и сушильную камеру он перетрепал, но про питание, жильё и зарплату походило на правду, — это было неожиданно и совсем не то, что нам выдавали в техникуме. Он повесил на моё бодрое настроение большой камень и бросил его в воду.

— Вот я и того — смылся! — Мишка снова оскалил рот в ухмылке. — Решил тебя предупредить, чтоб не мотался зря.

— Испугался жарюки?

— Не, ну ты, конечно, можешь двигать, это твои собственные мансы, — обиделся Мишка. — Я тебя предупредил? Да. Думай сам — башка есть. Никто нас там не ждёт, и нужны мы им, как лошади телега, вот в чём дело.

Он собрался уйти.

— Подожди. Документы забрал?

— Да кто их там у меня требовал? Проще простого: вот твои документы и вали оформляться на месте. А там — как потрёкал я с одним в отделе кадров завода, как увидел радость по поводу моего прибытия на его физии, так сразу на вокзал — как раз поезд на Красноводск и билеты в кассе есть. Ну и дёрнул я от той экзотики. По правде сказать, в Красноводске остался бы, — понравился городок, но туда не посылают, завода там нет, что ли...

— Теперь куда думаешь?

— Не знаю пока. Похожу, посмотрю — куда спешить? Ростов — город большой. Не бойсь, без хомута не останемся, — безработица у нас ликвидирована полностью и навсегда!

Он был уверен, что внушил мне. Но я ещё ничего не решил. И не ехать

как будто бы непорядочно, но и начинать с ожидания картины, нарисованной Мишкой, не очень-то хотелось. Да и как с Ларкой, поедет ли она туда? Всё надо было выяснить.

Это «всё» неожиданно решилось на другой день. Как раз когда я меньше всего этого ждал и уже собрался ехать в Северодонецк.

Вечером я просматривал городскую газету и на четвёртой странице в полосе объявлений прочитал: «Комбинату строительных материалов №1 требуются...» — Дальше шёл длинный перечень профессий, отнести к которым себя я никак не мог, но внизу скромно примостилась, в общем-то, редкая тогда, строчка: «...мастер в формовочный цех №1».

Это был шанс, шанс получить работу и, самое главное, — забить место перед уходом в армию — можно ли было его упускать? Утром, чувствуя возможную конкуренцию среди своих бывших и тоже ещё не уехавших соучеников, я помчался на комбинат. Только бы место пока было не занятым, а там... Я уже представлял себе, с какой радостью меня примут, — ведь это же не шуточка для солидного предприятия — отсутствие мастера в цеху!

Возле отдела кадров я протоптался с час — начальник где-то задерживался. Потом появился высокий мужчина — сухой, голый череп в тяжёлых роговых очках, — погромыхал связкой ключей, отпирая обитую железом дверь, массивную решётку, и я понял — это он!

С трудом подавляя волнение — как-никак, но всё же, не считая практики, в первый раз на работу, да ещё руководителем, — я постучал.

— Войдите, — прокуренной хрипотой отозвались за дверью.

Осторожно переступил порог. Кадровик сидел за деревянным барьером и тянул дым из папиросы.

— Я насчёт работы... По объявлению... — Для пущей убедительности протянул газету.

Он длинно посмотрел на меня, положил папиросу в пепельницу.

— Документы! — У него был тон милиционера на вокзале при встрече с подозрительным прохожим.

— Вот диплом, вот паспорт, вот трудовая книжка, на практике выдали...

— Разберёмся!

Он долго, поворачивая голову, процеживал толстыми стеклами очков мои документы — читал, как шифровку, а у меня чесалась спина и горели уши, словно выуживал он в документах только позорящие меня факты и собирался вывесить их на доску объявлений, что висела в коридоре сразу за его дверью. Мне уже ничего не хотелось — только бы эта процедура быстрее кончилась. А он вдруг спросил:

— Вам в армию в этом году?

— Да, — не понял я. — При чём здесь армия?

Он ещё потасовал мои документы и совсем неожиданно объявил:

— Нет, мы не можем вас принять.

— Почему это? — опешил я. — Вам же требуется...

— Требуются, — снизошёл до объяснений кадровик. — Но какой вы мастер? Только что закончили учебное заведение, ни опыта у вас, ни...

— Где бы я набрался опыта? — уже совсем некрасиво перебил я его. — Где?

— Вот то-то! Вы же ничего не умеете.

— Что надо, то умею, — буркнул я.

— Нет, нет, и не просите, взять мы вас не можем. — Он протянул документы.

Разговаривать дальше было бесполезно.

Меня душила обида. Я тогда ещё не знал, почему кадровики так не любят оформлять на работу призывников и беременных женщин — как раз тех, для кого официально якобы везде горит зелёный свет. Но слышать от него, не знающего меня абсолютно, сведения о своей некомпетентности, было невыносимо. Я догадывался — не в ней причина; разъяснить, хотя бы себе, ничего не мог, хотел выдать ему пару ласковых на прощанье, но удержался, промолчал и тихонько прикрыл за собой дверь.

Ну, не берут, и ладно! Обойдусь! Подумаешь, шарашкина контора! Негодование подкатывало к горлу и опадало — тогда было почему-то жалко упущенного, а сам я казался себе мелким и неуклюжим.

На троллейбусной остановке одиноко маячил Васька Лисицын. Он учился на курс старше, закончил техникум в прошлом году и теперь, оказывается, работал тут, на комбинате. Я рассказал ему о своём провале. Васька непонятно хмыкнул, потом посоветовал:

— Топай к главному инженеру. Он мужик ничё, поможет.

— Да ну их!..

— Не, ты сходи. Попытка не пытка. Не похудеешь. Куда ещё устроишься? Делать было нечего, и я пошёл. Рассказал всё — по-моему, не слишком толково, сбивчиво, но главный вопросов задавать не стал, протянул лист бумаги:

— Пиши заявление.

С визой главного инженера на заявлении я снова открыл дверь отдела кадров. Череп недовольно померцал на меня очками, потом прочитал заявление и убежал с ним. Пошёл выяснять, козёл! Но ничего у тебя не выйдет! Я уже твёрдо верил: главный — мужик что надо!

Я думал, кадровик будет стесняться, прятать смущение или ещё что-то в этом роде, но он вернулся и, как ни в чём не бывало, начал оформлять меня на работу. Тон его стал отеческим, почти ласковым, и любой случайный посетитель непременно подумал бы, что это он отыскал меня для комбината. И ещё он сказал под конец:

— Мы доверяем вам ответственный участок битвы за выполнение плана... в виде исключения. Помните об этом...

«Куды ж там, ты доверяешь!» — хотел сгрубить я в ответ торжествующе, но снова промолчал, не стал связываться.

Так началась моя работа, и поездку в Северодонецк снова пришлось отложить на те, две законные недели, что положены призывнику перед уходом в армию.

## 2.

Мой призыв затягивался. Середина октября, а я всё бегаю на работу и жду повестку. Это ожидание уже стало частью моей жизни, но дядей из райвоенкомата такие штучки, видимо, мало трогают.

Зато ничего не хочет ждать Лариса. Она снова зачем-то приезжала в Новошахтинск, вчера — звонок: завтра, то есть сегодня, буду проездом в Северодонецк с пересадкой у тебя. Встречай электричку на три пятнадцать...

Сегодня воскресенье, и народу на пригородном вокзале тьма, едут в основном вновь испечённые горожане — недавние жители окрестных хуторов и станиц, — сумки прут, аж пыхтят, и сейчас ничего — повидали родителей, запаслись харчишками, — теперь можно жить, — работать или учиться, — до следующей субботы. Вон, правда, рыбаки прибыли, видно, с моря или с низовьев Дона, купили в киоске пачку сигарет и тут же закуривают — уши попухли на рыбалке, эт точно. Вот какие-то старушки; вон двое солдат, в отпуск или из отпуска — непонятно, но с первого взгляда — не наши, приезжие; где-то громко заколготели цыганки — всё это тонет в общей массе сумочников, стирается, блекнет.

Электрички приходят одна за одной: с юга, с севера, с запада — от моря, выплывают порции людей, и толпа, как морская волна, пульсирует — то вздымается, то опадает.

Ага, вот электричка из Новошахтинска. Но как бы не прозевать Ларису. Я стою на высокой первой платформе, тяну шею, верчу головой — ворот от перрона на привокзальную площадь двое — немножко завидую Сергею: с его стодевяностошестисантиметрового роста запросто видно в любой конец.

Ну, наконец-то! Она! И сразу, точно не было двух месяцев разлуки, словно расстались мы всего лишь несколько дней назад — так свежо всё в памяти и остро в ощущениях, и это наше свиданье, намеченное и обязательное, как продолжение прежних.

— Володя...

— Здравствуй, Ларк!.. — Я обнял её, уверенно прикоснулся губами к щеке.

— Давно ждёшь?

— С трёх часов.

Лариса посмотрела на часы.

— Опоздала всё-таки на двадцать минут.

— Да хоть на час!

— Да? — Она посмотрела на меня, старательно изображая удивление, но глаза её блестели весёлой, прозрачной чернотой. — Так уж тебе всё равно?

— Не притворяйся, я всё вижу!

Она засмеялась, и сразу настроение стало просто замечательным.

— Идём на троллейбус.

— Володя, автобус на Северодонецк отходит в пять ноль пять утра.

— Даже так? Это здорово!

— Да, но билет надо купить сейчас...

— Хорошо, идём покупать билет. Где твои вещи?

— Вот. — Лариса показала на маленькую сумку, та висела на длинной ручке у неё на плече.

— Тогда вперёд!

Мне так хотелось нести её вещи, взвалить её ношу на себя, и я отобрал у неё сумку — хоть эту маленькую сумку! Мы пошли через площадь к белой башне нового Южного автовокзала.

«И чего только можно понатыкать в семнадцатизэтажную свечку? — думал я, задирая голову на всю серебристую высоту здания автовокзала. — Гостиницы вроде бы нет...»

Купили билет, потом звонили Сергею.

— Серый? Привет!

— Привет!

— Ну что там, ничего не отменяется?

— Это никому не дано! Она приехала?

— Рядом стоит.

— Дай ей трубку.

— Не дам.

— Ну, дай.

— Отвали. Так что делаем?

— Я сейчас позвоню Лидухе, вы заедете за ней, а я сомотаюсь за плёнками. Есть одна классная вещица, послушаете. Да, ещё зайдите в магазин, купите что-нибудь.

— Что лучше?

— Там посмотрите сами. Что-нибудь лёгкое на закуску: конфет каких-нибудь, пирожных, может, лимончик попадётся. Три бутылки сухого я уже взял.

— Мы есть хотим...

— Не дрожи — найдём.

— Дома у тебя кто?

— Никого и надолго. Да ты не мечи икру. Смотрите, не шляйтесь там долго, чтоб к шести были, как штыки.

— Лады...

Лариса выжидающе смотрела на меня сквозь стекло телефонной будки, я подмигнул ей и повесил трубку.

— Ларк, — вышел я к ней, — ты устала?

— За три часа в электричке?

— Ну, тогда такое дело: Сергея ты помнишь?

— Да что-то есть такое. Фитиль?

— Точно. Так вот, у него сегодня вроде бы день рождения, и он пригласил нас к себе.

— Как же без подарка? Надо купить.

— Да нет, у него что-то похожее на день рождения, какой-то праздник, а родился он, вообще-то, в марте.

— Что за праздник? Именины?

— Ну, не праздник, так мероприятие.

— Володя, с каких это пор ты стал со мной крутить? Говори прямо — вечеринка.

— Что-то вроде... — признался я, и мне сразу стало легче. — В честь твоего приезда. Ну, потанцуем, послушаем магнитофон, пожуём что-нибудь.

— Я ещё не привык приглашать её на такие мероприятия.

— Кто там будет?

— Только мы да Сергей с Лидухой.

— Кто такая Лидуха?

— Девчонка Сергея.

— Думал, не пойду? — Она спросила это так, что сразу все сомнения отпали, и я понял — она пойдет со мной куда угодно, именно, поэтому и приехала сюда.

— Тогда едем за Лидухой и — к Сергею...

3.

Лидуха жила в большом старинном доме в центре, недалеко от драмтеатра. В таких домах широкие лестницы с коваными решётками, квадратные комнаты и трёхметровые потолки. Как получали квартиры в этих домах, да ещё на главной улице, было для меня загадкой. Мы с Сергеем привыкли к своему району Ленгородку, его жактовским дворикам и неровным мостовым, — только недавно мои родители получили квартиру в одной из новостроек города.

Я позвонил Лидухе из автомата, сказал, что жду на улице. Она ответила, что уже летит, и это её «уже» растянулось минут на сорок.

Мы начали с Ларисой тихо психовать, когда из ворот своего дома выскочила Лидуха. Она так торопилась, так запыхалась, что приготовленное мною «культурное внушение» пришлось отложить.

Лидуха девушка высокая, с тонкими чертами лица и немного худая. Чем она нравилась Сергею, трудно сказать, хотя некрасивой её назвать нельзя. Может, всегдашней послушностью и тихим нравом, несмотря на то, что она девчонка бойкая и шустрая, обожает твист и всякую подвижность. Или иногда проявляющимися в ней намёками на аристократичность, умением одеться, держаться всегда соответственно, сказать порой такое, что может иногда и не дойти сразу до нашего обычного сознания, подчеркнуть необидно, что пришла она к нам из другого круга, но и в нашем она вполне своя. Вот такие штучки уживались в ней, и это было естественным.

— Всё! — выдохнула Лидуха. — Вырвалась!

— Знакомься, — Лариса.

Лидуха восхищённо ахнула и сразу, без обиняков, чмокнула Ларису в щёку, подхватила под руку и затарахтела длинно и весело:

— Ты и есть та самая девушка, что пишет этому недотёпе? Они тут мне все уши прожужжали о тебе, мы ждём тебя — помираем! Как хорошо, что наконец-то ты приехала...

Лариса посмотрела на меня и ничего не сказала.

— Ну ладно, Лидуха, заканчивай помаду тратить. Надо купить что-нибудь да мчаться к Сергею, — он там уже волосы рвёт. Вы бегите в кондитерскую, возьмите что-нибудь сладкое под кофе, а я в гастроном — пошамать. Может, пузырьёчек шампанского, а?

— Как на Новый год, — усмехнулась Лариса, и я почувствовал, — вспомнила она ту бутылку шампанского, с которой ждала меня тогда на Новый год в Новошахтинске.

— Мы же встречаем тебя! — поддержала предложение Лидуха. — Обязательно шампанского! Идём...

— Лишнего не набирайте...

— Будет всё, что нужно, я в курсе, — остановила меня Лидуха. — Мы пошли...

— Во что покупать будем?

— Ничего, как-нибудь рассуем по сумкам.

— Встречаемся на троллейбусной остановке, — сказал я, и мы помчались в разные стороны.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

25 сентября

г. Северодонецк

*Володя, ты заставляешь меня переживать неприятные минуты и глотать горькие капли неудавшихся надежд. Извини, не поздоровалась — не выдержала.*

*Ну, в чём дело, скажи, а? Уже прошёл месяц осени, я жду, жду тебя, а ты по-прежнему тянешь и тянешь волынку, хотя твёрдо обещал приехать. Ты же понимаешь, сейчас каждый день для меня пытка, растянутая и мучительная, и я снова не знаю, что делать, к какой стене прислониться. Иногда мне кажется, что я просто ненавижу тебя! Как могу, избегаю этого чувства, но оно возвращается вновь и вновь, — что тут поделаешь, против себя не пойдёшь. А ведь ты же в этом виноват, ты!*

*Потом сильно ругаю себя и клянчу, но всё же очень обидно, когда столько ждёшь, и всё напрасно, и не просто ждёшь, а ждёшь — завтра, а завтра — опять завтра, и так каждый день, каждый час, считаешь даже минуты. И ведь уверен — чувство твоё живое, хорошее, ему бы только расти и крепнуть, но снова ему чего-то не хватает, и всё ползёт опять не в ту сторону.*

*А сейчас, когда до твоей службы в армии остались, может быть, считанные дни, я просто боюсь, что подтвердятся мои самые худшие предположения, мы не увидимся больше, не скажем друг другу ничего перед разлукой, — я всё сильнее и сильнее верю, так оно и будет.*

*А ведь это в твоих силах — всё изменить, и сейчас ты в состоянии сделать то, что ни тебе, ни мне прежде не удалось бы. Так что, подумай хорошенько — у нас ещё есть время.*

*Так и просят на бумагу слова из песни: «Возвращайся, я без тебя столько дней...» и как там дальше, ты знаешь. Вот видишь, я жду по-прежнему.*

*Не понимаю, зачем я тебя целую в письмах, но всё равно целую и в этот раз... Твоя Лариса.*

1.

Шампанского в магазине не было. Я купил две пачки сигарет, пошёл назад. Девчонки запаздывали. От нечего делать, я закурил и стал смотреть на противоположную сторону улицы — там был парк, играла музыка и вокруг танцплощадки сновала молодёжь. Ещё не стемнело, ранние осенние сумерки только-только принялись укутывать город своей пеленой, заблестела жёлто-розовым светом высокие «кобры», свесив головы к середине улицы, резче замигал светофор на ближнем перекрёстке, красными и белыми огнями

тронули асфальт бегущие куда-то машины. Обычный вечер в нашем южном городе.

Людей на остановке «Крепостной» немного: трое мужчин да две женщины — ждут троллейбус, спокойно так, уверенно, сознавая, что хотя в выходной день транспорт и ходит почему-то редко, но гуляющие ещё не хлынули по домам, потому в троллейбусе всё же будет свободно.

Из-за угла появились девчонки. Сумки их заметно потолстели — значит, удачливее меня оказались, шли они, не спеша, и о чём-то болтали. Уже нашли общий язык!

Неожиданно следом за ними вырулили два парня. Я сразу понял: это из тех, местных ханыг, что вечно толкутся в этом парке, огинаются у гастронома. Они шагали размашисто и уверенно, как по собственной квартире. Да иначе и быть не могло. Один — высокий и тощий, с длинными патлами под Джорджи Беста, кажется, из тех, кто собственную хлюпость возводит в достоинство и компенсирует её беспредельным нахальством. Другой — ростом поменьше, но плотнее, лица его я не видел, — он с трудом поспевал за патлатым и голову держал вполоборота.

Девчонки шли быстро, но парни ещё быстрее нагоняли их, а я пока не связывал происходящего и только наблюдал за ними.

Неожиданно патлатый побежал, заплётно раскидывая ноги, и вдруг с каким-то победным гиканьем облапил девчонок за плечи своими руками-плетьми, втискиваясь между ними, повис на секунду на двух живых опорах. Девчонки разом резко разошлись в стороны, руки-плети засемафорили в воздухе, и парень растянулся на асфальте во весь свой рост, точно складной метр при измерении.

«Бухой, скотина!» — первое, что пришло мне в голову.

Девчонки прибавили шагу, второй парень громко и весело зареготал, театрально хватаясь за живот, однако не отставал. Патлатый цветисто выматюкался, быстро сложился обратно и, поднявшись, закричал хрипастым голосом:

— Ах вы, сучки! — Он выставил вперед наподобие вилки два длинных, тонких и, наверное, когтистых пальца, тараном пошёл на девчонок. — Да я вас, падлы!..

Это уже серьёзно! Бить девчонок у той братвы особая радость...

Нет, не избежать драки. Не хотелось бы на глазах у Ларки заниматься этим скотским делом, но как при ней не заметить такого?

Надо постараться сразу уложить плотного, а с этим блатным дохляком уж как-нибудь...

Девчонки подбежали, те двое — за ними, и... сразу ойкнул, захлебнулся хохотом плотный, отплыл спиной к большому деревянному щиту для наклейки афиш, гулко грохнулся о него, сполз на тротуар. Ну что, патлатый? Я выжидал. Может, на этом всё и кончится?

Патлатый словно натолкнулся на столб, стал, глянул на меня мутными глазами. (Наркоша?!..) И вдруг попятился, посунулся, побежал назад — думал, догонять буду. Что, слабо, гад?! Тебе только девчонок лапать!..

На этом всё бы и кончилось, если бы подошёл троллейбус. Но троллейбуса, как назло, не было. Очень скоро патлатый снова нарисовался из-за угла, теперь

— с двумя корешами, да и плотный уже поднялся, хоть и мотал головой, но явно приходил в себя, и народ на остановке стал таять, растворяться в липких, жёлтых сумерках. Вот сволочи! Ведь видели же всё! Стали бы рядом со мной хоть двое мужиков, смотришь, и отвалили бы те сразу — я был уверен. Но нет, разбежались, — «ничего не знаю, моя хата с краю...»

А теперь? Теперь держись! Я знал эту братию. Они из этого района и здесь хозяева. И хорошо ещё, если будут только кулаками махать, — при нужде и ножи достанут, и железные прутья. Как это так — у них дома и кто-то посмел?! И не все такие, как длинный, — одного побоялся! — народ среди них есть отчаянный — на всё пойдёт, хотя какое всё же наслаждение, одного молотить шоблой — себе ничего не стоит!

Не стоять, начать самому!.. Ну, гад, получай! Ещё! Сбить уверенность, пусть даже последствия будут хуже. Только не дать себя свалить, — тогда хана, начнут лупить ногами... Спиной надо к столбу, чтоб не зашёл кто сзади... Ну, хоть тебя, патлатый, длинный призрак, а всё равно ухайдокаю!.. До боли в зубах я ненавидел его в эту минуту!

Голова работала ясно, без, тумана ударов, а зрение двоилось, троилось — всё надо было видеть, только успевай поворачиваться да уходить от взмахов кулаков. Ага, столб тебе мешает, получи, не заходи сбоку, гад! Но краем глаза я видел, топают от перекрёстка, спешат на расправу ещё какие-то длинные и короткие фигуры — будет потом что вспомнить, и каждый похвалится, когда и как он врзал, — это будет потом, когда «засвистят милицию», и переведётся дух после долгого, прокуренного бега. На душе становилось совсем тоскливо...

И ещё я заметил, как оторвался от столба, открыл спину и Ларка с размаху влупила по кумполу сумкой на длинной ручке зашедшему сзади и уже готовому обхватить меня краснорожему, прыщавому лбу. Тот охнул, схватился за голову и отвалил отдышаться...

Ну, Ларка, я всегда верил в тебя, ты не отступишь, не испугаешься какого-то ханыги, на всё пойдёшь в трудную минуту! А где ж Лидуха? Её я не видел, про Лидуху я совсем забыл...

И в это время заскрипели за спиной, раскрылись двери троллейбуса.

— Прыгай! — крикнула Лариса, и мы, как оказалось, все трое, точно сговорившись, вскочили в переднюю дверь. Кто-то когтисто ухватился сзади за мой свитер, потянул, я ударил ногой, не оборачиваясь, свитер затрещал под мышкой, но остался на мне, двери за спиной захлопнулись с ржавым грохотом, и троллейбус под удары кулаков по металлу и какие-то вопли взвыл к перекрёстку.

— Спасибо! — сказал я молодому парню за рулём, поднялся по ступенькам. Он понимающе улыбнулся.

Девчонки настороженно смотрели на меня, но страха в их глазах я не видел. Лариса быстро достала носовой платок, начала промокать мою разбитую губу, и каждое это промокание, как нажатие кнопки, наполняло моё сердце нежностью и благодарностью. Хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, ласковое, чтоб стало горячо и тревожно её сердцу, чтоб тоже сжималось оно и разжималось нежностью. А может, всё уже так и было? Тогда к чему слова, и так всё ясно...

Ну, ты, Лидуха, тоже молодец! Не побоялась поменять свою хрупкость на отчаянный шаг, хоть и видел я только, как ты шагнула в троллейбус. Но не закричала же, не убежала, хоть дом твой был совсем рядом...

— Вот так, не захочешь, а найдёшь... — сказал я, потрогал разбитую губу и попытался улыбнуться.

Сзади на весь троллейбус визгливо «разорялась» какая-то женщина:

— Безобразие! Я жаловаться буду! Водитель, остановите троллейбус немедленно! Мне сойти надо...

Парень спокойно давил на педаль.

Ну что ты орёшь, милая, не бережёшь здоровье? Что значит пройти пешком одну остановку, подышать воздухом, по сравнению с кулаками четырёх здоровых парней, да ещё уверенно ждущих подмогу?..

Пассажиры у передних дверей понимающе молчали.

2.

— Вот красавец! Ну, видуха! Где это ты так почистился? — смеялся Сергей, пропуская нас в квартиру.

— Где надо, там и почистился! Пусть не лезут... — Я прошёл мимо и в комнате — сразу к зеркалу.

Сзади услышал серьёзный голос:

— Где это вы так?

Пока девчонки что-то там рассказывали, хорошенько рассмотрел себя. Да, видуха — не дай Бог! Разбита губа, подплыл глаз, хорошо хоть к фингалам не имею слабости. Но жить можно. Я достал сигареты, пошёл на кухню. Нет, настроение не было испорчено — рядом была Лариса, и за это можно получить пару хороших ударов по физиономии. Правда, разбитая губа не входила в планы сегодняшней вечеринки, но это уж Ларисе судить, мешает она нам или нет.

На кухне девчонки выкладывали на стол содержимое своих сумок. Лариса достала мятую картонную коробку, открыла её — в коробке красовалось месиво крема и бисквита.

— Торт?! — удивился Сергей. — Ну, чудо кулинарии! Что с ним?

Девчонки молчали.

— Она испекла его на голове одного чудика, — ответил за них я.

— Куда его выбросить? — опросила Лариса.

— Выбросить? Нет, мы его съедим, обязательно съедим. — Я отобрал у Ларисы коробку. — Серый, дай какую-нибудь тарелку побольше.

— Конечно, съедим! — засмеялся Сергей. — Трофеев-то вам не досталось, он будет вместо трофея. Давай сюда. — Он достал из шкафа большое блюдо и вывалил на него торт, соскреб ложкой остатки крема в коробке. — Пока пусть поживёт в холодильнике...

Девчонки повеселели.

Потом Лариса медленно, как-то украдкой, извлекла из сумки банку с вареньем и посмотрела на меня.

— Ну, даёшь! — сказал я и больно улыбнулся разбитой губой. Конечно же, я так и думал: не от торта же он вырубился. — Целая?

Она смущённо кивнула, приложила палец к губам.

Но Сергей заметил, кивнул на банку под тихий смех Лидухи:

— А это что?

— Не видишь, что ли? Варенье вишнёвое, консервный завод «Красный сад»! — ответил я с фальшивым недовольством.

— И это тоже в сумке? — Он надул губы в беззвучном смехе.

— Это помяло торт! — сказала Лариса сердито, и все засмеялись.

Потом девчонки что-то резали, чистили, раскладывали по тарелкам, на скорую руку накрывали на стол. Сергей повозился с магнитофоном, и вдруг знакомый, на хрипе, голос запел:

*В заповедных и дремучих,  
страшных Муромских лесах  
Всяка нечисть бродит тучей  
и в проезжих гонит страх...*

Девчонки притихли. Лариса подошла к магнитофону, замерла, глядя на вращающиеся бобины. Лидуха тоже бросила кухню, примостилась рядом с Сергеем на диване. Все оцепенели, попав в звуки песни, как цепенеет человек, попадая в электрическое поле. Голос хрипел, иногда срывался, по слова не просто пелись — они играли, жили, лихорадили, гнали по коже мурашки...

*А на нейтральной полосе — цветы  
Необычайной красоты!..*

Это были новые песни — истории, маленькие спектакли под струны гитары, они натягивали нервы тетивой и били точно в цель. Каждый замирал, боясь пропустить хоть слово.

Песни только появились, но автор уже был известен всем. Мы не знали, кто он, но знали его! Песни уже были не приняты, что равноценно — запрещены, а мы тянулись как раз к тому, что не принято. Значит, это, в самом деле, новое, действительно настоящее — мы слушали песни и молчали, догадываясь, что не ошиблись.

*За меня невеста отрыдает честно,  
За меня ребята отдадут долги,  
За меня другие отпоят все песни,  
И, быть может, выьют за меня враги.*

Радио и телевидение тогда изливалось бесчисленными праздничными концертами. Обязательно заседание «по поводу», потом концерт. Словно по заведённому сценарию. Хороших песен было много, но чаще почему-то звучали как раз те, что вызывали сомнения. По крайней мере, ими открывали концерты. Могла быть хорошая музыка, неплохой текст, но не было главного — искренности. И потому — веры.

По поводу одной такой песни Сергей как-то сказал недовольно:

## Красные оани

— Тянут на голую идею и не заботятся даже о смысле. Слышь, что за чехня? «Луна, словно репа, а звёзды — фасоль!»! Что за сравнения, где тут поэзия? Где ты видел луну с хвостом и ботвой? А фасоль как — в стручках или лущёная? Лишь бы зарифмовать со словом «соль»! Тогда нужно было писать: луна, словно каша, — всё равно бессмыслица, зато и «мамаша» подрифмовалась бы... А ведь большие люди своего дела этим занимаются...

Тут было совсем другое.

*Лучше гор могут быть только горы,  
На которых ещё не бывал...*

Тут были наша жизнь, наша боль.

Он не написал ещё лучших своих песен, о нём помалкивали, будто его и не было, а Он уже был популярен так, как мало кому снилось.

Песни врезались в память, как алмазный бур в мягкий грунт. Плёнка кончилась, девчонки тут же попросили повторить. Сергей перемотал её, запустил, а я только спросил:

— Где достал?

— Геня Муха дал переписать. А у кого он взял, не знаю, но говорит — только на день.

— Переписал уже?

— Не успел. Завтра сделаю, — сказал он довольно. — Будем слушать...

Бобины вращались, и мы слушали песни. Отложив все дела и разговоры. Нам нужно было слушать...

Писать сейчас о Нём что-то новое бесполезно, да и бессмысленно. Он сам написал о себе всё, что хотел. Поэтому я не берусь этого делать...

Вино кислое и чуть-чуть сладит. Налитое в фужеры, оно мутновато поблескивает и мерцании свечей, отчего кажется настоящим на сердцевинках виноградинок и этим дополняет вкус. Но веселье за столом не клеилось. То ли моё разукрашенное лицо чересчур напоминало о прозе жизни на троллейбусной остановке, то ли песни Высоцкого так подействовали, то ли ещё что-то, но все сидели за столом и помалкивали, только магнитофон голосом Тома Джонса негромко тянул из угла комнаты «Дилайлу».

— Магомаев тоже прилично исполняет эту песню... — тихо сказал Сергей. Магомаев — кумир, и мало кто сомневался, что «он может не хуже».

— Да, неплохо, — согласилась Лидуха, — но, понимаешь, тут чуть-чуть не то. Для Джонса это его песня, так сказать, органически его, — они очень соответствуют друг другу. Для Магомаева немножко чужая. И в этом суть.

С Лидухой трудно было спорить.

Песня сменилась, и вдруг знакомый ансамбль запел: «Эти горестные проводы, запоздалые, унылые...», — у меня неожиданно тоскливо сжалось сердце — мне показалось, мы тоже кого-то провожаем, провожаем так, чтобы не увидеть больше никогда, и потому молчим, и сказать что-нибудь становится с каждой минутой всё трудней, да и говорить особо нечего, потому что на чувства всегда не хватает слов.

Мне стало жаль этих проводов, этого синего, чуток пасмурного вечера,

жаль так, будто для каждого из нас он был последним. Я обнял Ларису за плечи, коснулся губами где-то возле уха, зарылся лицом в стрижку, она порывисто прижалась ко мне, а Сергей с Лидухой только грустно улыбались.

Потом Лидуха сказала:

— Ну чего расквасились? Давайте танцевать! Нельзя же так долго грустить под хорошее вино и музыку!

Сергей поднялся первым, пригласил Ларису — разбил наше единение и, кажется, вовремя. Я подошёл к Лидухе...

«Гляжусь в тебя, как в зеркало...» — пел молодой Юрий Антонов.

Сквозь узкий жактовский дворик к нам в окно заглядывала жёлтая луна. Я медленно танцевал с Лидухой, и мне было хорошо видно, как чертят светлый лунный лик длинные, полосистые и от света чёрные облака, а он сбрасывает и сбрасывает их, уходит, освобождается, заливая город молочным сиянием. Наверное, и нам бы так: сбрасывать и сбрасывать, освобождаться от всего ненужного, что темнит и мешают, чтобы хоть какой-то, пусть не сильный, но обязательно чистый свет шёл для другого...

Мы поменялись. Адамо нашёптывал «Падает снег»...

— Ларис?

— Да.

— Тебе не скучно в нашей тихой компании? — Для чего спросил, не знаю. Вспомнились её письма.

Она посмотрела на меня с укором, и мне стало неловко.

— Прости... Но ты такая грустная.

— А ты весёлый?

— Ну, после чего мне веселиться? — Пытаясь шутить, потрогал разбитую губу.

— А мне? — возразила она совершенно серьёзно и тоже приложила палец к моей губе. — Мне тоже больно...

— Спасибо...

— Не надо, Володя... Мне хорошо с тобой...

Я этому верил.

И снова Том Джонс: «*The green, green grass at home...*» Я танцевал с Ларисой, и что-то новое теснилось в груди. Оно было непохоже на всё прежнее, оставаясь постоянным в своей привязанности. Я не мог объяснить этого чувства, не понимал его ещё, но знал — оно другое. Не было прежней увлечённости, порывистых переживаний и мучительных сомнений, оставалась лишь непонятная спокойная уверенность в своих чувствах, ощущение надёжности происходящего и чистое, ясное сознание удовлетворения самым простым — окрепло желание слиться с нею, жить одной душой.

Видимо, мы совсем повзрослели, так вот, наверное, переходят от увлечения к любви. Не знаю точно, не стану уверять, что всё именно так, но тогда я впервые подумал об этом без страха и уже не постыдился бы сказать: «Я люблю тебя, Ларчонок, люблю...»

Потом Сергей с Лидухой убирали со стола, а мы с Ларисой мыли на кухне посуду. Я стоял с полотенцем в руках, она подавала мне чистые тарелки, как подают ребёнка после купания, и я думал — неплохо было бы на самом деле

## Красные оани

так. С какой-то необъяснимой нежностью вытирал я тарелки, ставил в шкаф и даже жалел, что их мало. Неужели такие простые, естественные для людей занятия могут когда-нибудь раздражать два любящих сердца, ведь ничто так не сближает, как самые обыкновенные житейские дела.

Лидуха порылись па книжной полке, достала томик Тютчева, раскрыла наугад:

*И в нашей жизни повседневной  
Бывают радужные сны...*

Мы сидели на диване, а она расхаживала по комнате и читала нам стихи, читала очень здорово, точно настоящая артистка, и я подумал — мне так никогда не прочитать. И почему нас в школе учили только задалбливать стихи — главное, наизусть! Пусть даже не понимая их, а не умению читать, хотя бы вот так, по книге? Лидуха читала, и стихи становились другими, и было такое чувство, будто в школе нас обманули.

Потом Лидуха читала па память Сергея Есенина, тогда уже не запретного, но ещё и не разрешённого, и мы ей тихонько аплодировали.

Нам необходимо было всё непохожее, но мы и умели отличать его от бездарного.

Заговорили о поэтах. О Маяковском Лидуха сказала безапелляционно:

— Твердят, он великий поэт, а я не верю. Потому что громко и складно бить в барабан ещё не значит исполнять «Реквием» Моцарта.

Ох, Лидуха, Лидуха! И где ты набралась таких мыслей? Услышала бы твои слова наша учительница литературы — и умерла бы от страха. За такие твои вольные и непривычные речи. За свою возможную некомпетентность. Хотя каждый вроде бы волен выбирать по вкусу. И это же ненормально — всем любить одного и хором хаять другого...

— Слушайте лучше, что вам прочитаю, — сказала Лидуха. Она порылась в сумочке, достала листок бумаги. — Слушайте...

*Над вороным утёсом —  
Белой зари рукав.  
Ногу — уже с заносом  
Бега — с трудом вскопав...*

Она читала увлечённо, а мы слушали. Закончив, сказала:

— Вот это для меня...

— Кто это? — спросила Лариса.

— Марина Цветаева.

Никто не слышал этого имени.

— Кто она?

— Русская поэтесса. Понимаете, именно Русская с большой буквы!

— А Макс кто? — спросила Лариса.

— Видимо, Максимилиан Волошин, её друг. Тоже русский поэт и художник.

— Они жили до революции? — спросил Сергей.

— Почему до революции? В наше время.

— Неужели у нас?

— Не знаю. Хотя вряд ли. Такие у нас не живут. По крайней мере, долго.

— Где ты достала? — спросил Сергей.

— Так, люди дали. Её книг не купишь. Но люди знают...

Да, люди знают. Но боже, как много не знали мы. Да и не могли знать. От этого делалось чуточку жутко.

Телевизор давно не работал — закончил свою нудную программу — продолжение рабочего дня. Мы пили кофе, ели истерзанный торт с большого блюда столовыми ложками и всё говорили о поэзии. Лидуха, в основном, просвещала нас. Потом разговор как-то сам по себе разделился: Сергей с Лидухой устроились на диване и о чём-то шептались, обнявшись, мы с Ларисой сидели за столом.

— Ты устроился на работу? — спросила она.

— Да.

— Теперь ты не приедешь, — сказала она убеждённо.

— Приеду... — Мне не нравилась её убежденность, и я старался, чтобы мой голос звучал не менее уверенно, но не знаю, что из этого выходило, кажется, больше было похоже на беспечность. Я нервничал и старался доказать. — Я же сказал, что приеду. У меня будет две свободные недели перед армией. Так положено по закону — отпуск, куда они денутся?

Лариса посмотрела на меня — в глазах её отражался апельсиновый свет торшера — и ничего не сказала.

Потом Сергей ушёл провожать Лидуху, и мы на два часа остались вдвоём. Тикали старинные часы на стене, дважды отбивали коротким боем наше время, чуть чадно догорала свеча в бронзовом подсвечнике на столе. Осязаемо уходили минуты.

А мы только целовались, сидя на диване, и молчали, пытаюсь слушать музыку...

#### 4.

Ждать городской транспорт в четыре часа утра — дело дохлое. Говорят, к этому времени даже таксисты стараются хоть чуток вздремнуть. Мы шлёпали по пустым, гулким улицам к Южному автовокзалу, оборачивались на малейший шум мотора. Редкие машины не желали останавливаться, проносились мимо. Загуляла парочка, пусть и дальше гуляет. А им, водителям, что до этого? Наверное, они очень спешили по своим столь ранним делам. Или просто додрёмывали за рулём без охоты нарушать собственный покой. Так или иначе, но с полчаса мы шагали прямо по проезжей части, совсем не надеясь поймать что-нибудь попутное. Хмурое небо висело над нами, впитывало звуки шагов.

В городе никогда не бывает тихо. Даже ночью, даже вот так — под утро. То проурчит машина, прокатится по пустынным улицам какой-то гудок, хлопнет забытая ставня, кто-то громко, хрипасто закашляется, взбеленится в темноте дурным лаем собака. Загадочные шорохи, непонятные шумы, и

ночь только усиливает их, разгоняет по жёлтым от электричества улицам, точно на каждый звук надевает ржавую трубу рупора.

Мы бодро спускались по проспекту Стачки, и вдруг позади застучал трамвай, пронзительно задзинькал, нагоняя. Мы обернулись, отчаянно замахали руками — до остановки ещё метров двести, а надеяться, что скоро будет следующий, бесполезно. В стеклянной колбе прямо на нас надвигалось широкое, доброе лицо тётки-водителя — из-под белой вязаной шапки выбились крупные рыжие завитушки волос.

Трамвай, напряжённо дёргаясь, остановился. Дверь открылась, из неё выпрыгнул сердитый тёткин голос:

— Какого чёрта шляетесь по рельсам?!

Мы молчали, только чуть-чуть отступили назад видимо, зря старались, надеясь на тёткину доброту.

— Да садитесь же! — Голос был резкий, с досадинкой, но мигом перестал казаться сердитым.

Мы вскочили на подножку, двери, громыхнув, захлопнулись, и трамвай застучал дальше.

— Повезло, — улыбнулась Лариса.

Устроились на жёлтых рейчатых сиденьях.

— Да это у нас обычно! — весело соврал я. — И знаешь почему?

— Почему?

— Трамвай у нас особенный. Такого трамвая, как у нас, нет нигде больше в Союзе.

— Да ну?! — смеялась Лариса.

— Вот тебе и ну! Я серьёзно. Не веришь?

— Не верю. Ты, как в пословице, где каждый кулик своё болото хвалит...

— Белый свет люминесцентных ламп влажно серебрил её волосы.

— Пословица твоя — мимо нашего трамвая. — Я обнял её, носом разрыл стрижку над ухом. — Но тебе я могу открыть страшнющую тайну.

— Ну?.. — В её голосе звенело нетерпение.

— Поклянись, что не выдашь!

— Клянусь!

— Так вот, ты видела рельсы? Они особенные.

— Из серебра или платины?

— Нет. У нас европейская колея. Она — умже общесоюзной. Такая, как в Германии, Бельгии — вообще на Западе. А всё потому, что строили пути бельгийцы и трамвай наш уже стучал по Ростову ещё за пятнадцать лет до того, как его увидели в Москве. Секёшь? Вот то-то! Такие непонятные дела тогда творились. А когда появилась российская колея, то есть — пошли трамваи везде, у нас была уже развитая трамвайная сеть, менять колею было затруднительно, так и осталась. Говорят, такой трамвай ещё в Риге, и всё. Только недавно появились дуги, а была штанга токоприемника — ролик, по-нашему. Провода под него натягивались прямо, а под дугу — зигзагами, чтоб не протиралась. Ролик был привязан верёвкой к заднему окну и часто слетал на перекрёстках, а кондукторы страшно сердились, когда приходилось его ставить.

— Чего им сердиться?

— Если в один конец пять-шесть раз слетит да ещё трамвай битком, по-неволе записхуешь.

Лариса смеялась.

— Вот теперь ты убедилась, что наш трамвай особенный, а в таком трамвае и обслуживание особенное. Пожалуйста: подали в четыре часа утра целый вагон для двоих! Где ты такое ещё видела?..

Ближе к центру появился народ. Откуда он выползал, стекался — сонный, взъерошенный, — непонятно, спешил, словно ночные бабочки, на серебристый свет автовокзала.

Мы выскочили из трамвая, пошли к белой, со срезанной темнотой верхушкой, башне автовокзала — разыскивать Ларисын автобус. На часах было четыре сорок пять.

Пассажиров совсем мало. Автобус чуть слышно пофыркивал у перрона, приванивая свежий ночной воздух. Он был похож на большого красного зверя, ненадолго притаившегося в засаде. Всё, последние десять минут. Мы стояли, обнявшись, у красного бока зверя и почти не разговаривали. Ведь сейчас вот между нами влезет, вопрётся злобное, хитрое и бездушное пространство, оно станет расти, неумолимо шириться, радуясь своей мощи, и ему будет всё равно, кто уехал, а кто остался, — отдалять-то нас друг от друга оно будет одинаково.

Что-то опять тревожило душу, не хотелось выпускать её — вот так, не разжимать рук, дожидаться, пока автобус уйдёт, поступить хоть раз безрассудно, а потом...

Чёрная, кудлатая голова высунулась из дверей, толстый водитель спросил недовольно:

— Ну, кто там едет?

— Пора... — прошептала Лариса, на её ресницах блеснули слезинки, чистые, светлые, как тёплые крохотные бриллианты. — Пора, Володя...

— Ну что ты, Ларис? Всё будет хорошо. Я приеду. — Я целовал её часто: губы, нос, глаза... и повторял, повторял:

— Всё будет хорошо, слышишь? Всё будет хорошо!.. — И, кажется, сам уже верил в это.

Она ушла, села на своё место. Автобус мигнул мне габаритными огнями, окрасился багряным заревом, тормознув на перекрёстке, неторопливо выбрался на улицу и пропал.

Блёклые звезды над городом затягивались со стороны реки какой-то туманной мутью, по привокзальной площади пробежался, крутнув мусор у ларьков и пригнув людей на остановке трамвая, сырой, холодный бродяга-ветер, зажатая бетоном под переходным мостиком черно, по-осеннему шумела Темерничка.

Я не стал ругать себя, что снова не удержал её. Может быть, опять не пришло время. Но не было бы таких, тянущих душу, отъездов, не было бы и всех врезающихся в сердце встреч...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1 ноября

г. Северодонецк

Здравствуй, Володя!

Даже не знаю, с чего начать. Не могу передать тебе сразу всё то, что я сейчас чувствую. Понимаешь — не могу! Слишком долго ты молчал. Я не виню тебя, но всё же так нельзя. И даже сейчас, когда передо мной лежит твоё письмо, я не в состоянии одним мигом простить тебе такого долгого молчания — очень уж это обидно!

Ты намекаешь о какой-то осторожности. А не лишнее ли это? Чего, собственно, ты боишься? Осторожность! Зачем она нам, и в чём ты сомневаешься? Живи и всё, понимаешь — живи! Этого вполне достаточно. Жизнь без риска не очень-то интересна.

Ты говорил мне, что я тебе очень сильно нравлюсь, но теперь мне кажется, что не именно «очень сильно», а просто нравлюсь, как любая встреченная тобой на улице девчонка, которую ты можешь оценить коротким словом «ничего».

Всё, что ты пишешь о том, как сделать наши отношения более близкими и лучшими, никуда не годится потому, что это всего лишь слова приличия. Я понимаю, ты не хочешь меня обидеть своей резкой правдой, но к чему? Не лучше ли прямо?

Эх, жаль, нет тебя сейчас здесь, рядом, мы бы с тобой поговорили на эту тему как надо.

Что письма? Ты мыслишь лихорадочно, думаешь, что прав, ждёшь спора, согласия или объяснений — всё это смешно, ведь перед тобой всего лишь безжизненный листок белой бумаги в клеточку и красными полями. Но могла бы я и через него передать всё начистоту, без кривляний, зарок и недо-молвок, всё, как оно и должно выглядеть, только боюсь я совсем маленького пустячка... Когда я была у тебя летом, и бабушка искала адрес Сергея (я думала, ты у него), в ящичке твоего стола я видела всё свои письма целые, невредимые и никому больше не нужные, их мог бы каждый, кому не лень, прочитать. Нет, я не думаю, что их кто-то почитывает ради спортивного интереса, я знаю, это твой стол, и сама я туда вторглась нечаянно, прости меня, но всё же... Ведь это «никому» — ты, и я подумала, ты прочитал их и забыл, только уложил в стол, так, на всякий случай. Теперь тебе ясно, почему я не всегда пишу, что думаю и чувствую, — чаще то, что может казаться более приличным, а выходит менее действительным.

Ну, вообще-то, хватит об этом. Договорим, когда увидимся, — я всё еще не теряю надежды.

Целую, Лариса.

Привет Сергею и Лидухе.

Ты знаешь, пришла какая-то дурная идея. У вас там должен быть отдел кадров речного или морского пароходства. Может, поплавать, а?

Воронцова.

1.

Моя поездка в Северодонецк всё же не состоялась.

Повестка свалилась, как бомба с неба. Принести особых огорчений она мне, конечно, не могла — я давно упрятался от них в глубокую воронку ожидания, — но всё же перечеркнула все мои надежды на будущее.

А получилось это так. В начале ноября, когда всё связанное с моим уходом в армию уже автоматически переносилось за праздники, рыжий и тощий допризывник, с лицом, на котором будто засохли ржавые разводья воды, приволок повестку (как я думал) на расчёт.

Я работал во вторую смену и утром безмятежно спал, когда он пришёл. Я открыл, и он спросил как-то злорадно, с кривой усмешечкой, словно застукал меня над чем-то паскудным или поймал, как беглеца от алиментов:

— Белов Владимир?..

— Да. А что?

— Распишитесь вот здесь. — Он протянул мне клочок розовой бумаги.

Это была повестка, и на ней было написано нечто странно поспешное: уже сегодня к десяти часам явиться в райвоенкомат.

— Это мне? — зачем-то спросил я.

— Кому ж ещё? — Рыжий довольно ухмыльнулся, точно давно уже подложил мне кнопку на стул, а я ничего не замечаю и вот-вот сяду.

Я расписался и под топот ног, спускавшегося по лестнице рыжего, облегченно вздохнул. Ну, наконец-то! Теперь скажут точно, когда. По моим подсчётам это выходило числа семнадцатого-двадцатого. Ну и отлично! Две свободных недели да ещё с праздниками посредине, да с расчётом и пособием в кармане — это кое-что! И к Ларке можно сгонять, и вообще, отдохнуть...

С почти лёгким сердцем я побежал в военкомат. В груди напевалось что-то такое по-детски весёлое:

*Пришла повестка на бумаге  
туалетной — другой нету!  
Явиться в райвоенкомат —  
лысым, бритым и помытым.*

И так далее... И вот там, уже в военкомате, на меня и свалилась эта самая бомба.

Со мной долго не разговаривали, а точнее — совсем не объяснялись, мне просто вручили повестку на призыв, где серым, ротапринтным шрифтом было начертано: завтра с вещами и соответствующей причёской явиться к семи часам утра для отправки на областной сборный пункт, что вполне можно было понимать как — в воинскую часть.

На секунду я оторопел. Потом спросил у дежурного по отделению офицера:

— А как же две недели?

Он посмотрел на меня так, будто сморозил я нечто глупое и до ужаса смешное, выдержал паузу, спросил сам:

— Это какие две недели?

— Те, что положены.

— Пособие тебе на работе выплатят. — Он окончательно ломал мои планы, наши намерения. — Что ещё?..

— О деньгах я знаю.

— Тогда чего мне голову морочишь?

Нет, это невыносимо, когда тебя не понимают. Не хотят понимать! Что-то там не сработало в их механизме, и эта несработка лупанула по мне.

— А дни? Две недели?..

Лейтенант протяжно посмотрел на меня. От его лица повеяло глубокой осенью.

— Будешь таким шустрым, в части быстренько схлопочешь суток десять, тогда и отдохнёшь. Ишь ты, заморился!

— Я...

— Идите... — Голос его стал сухим, официальным. Он сделал вид, что сильно занят, склонился над картотекой, потом прихватил какую-то бумагу и вышел, прихлопнув за собой обитую чёрным дерматином дверь.

Прав я или не прав? Кто его знает? Может, это только рассказы какие — две недели? Он это знает, но показал мне кое-что округлённое.

Дальше выяснять было просто бессмысленно. Не станешь же умолять, выпрашивать, падать в обморок и доказывать, как тебе это нужно? Так, значит, так...

Тогда я ещё не ведал, что прошла уже та минута, с которой мне необходимо было получше помнить о моих личных долгах и обязанностях и побыстрее забывать о всяких там правах...

Я вышел на улицу, и всё вдруг в городе заговорило о скором расставании. Я вспомнил, как в Ростов неспешно пришла осень, медленно срывая листву с деревьев, купая в прохладных солнечных лучах серебряные нити паутины, летящие невесть откуда, как один за другим уходили в армию мои друзья и сокурсники, а меня почему-то всё не трогали, как сам осваивался на работе и снова ждал писем от Ларисы, каждый день откладывая встречу. И вот всё позади. Теперь оно ясно и точно, как приказ. Облегчение? В первую минуту — да, но потом... Ведь город напоминал, кричал каждым камнем, каждым изгибом тротуара, любой оголённой веткой. Дома, Лендворец, вокзал, трамваи и даже галки на изогнутых клёнах в сквере — всё твердило: это надолго, на неизвестно сколько, на вечность, навсегда... Оставались одни сутки, а точнее — двадцать часов.

В знак протеста за пропавшие две недели я не постригся.

Потом я увольнялся, подписывал обходной, слушая на ходу напутствия, ждал денег у кассы, мчался домой, обежав по дороге нескольких друзей и знакомых — все, чрезмерно удивляясь, ахали, поздравляли, точно меня брали сразу генералом, а затем почему-то начинали утешать, будто я им жаловался. А я не слушал, я бежал дальше. Дома ахнули родители, и пришёл их черед бегать — вечером нужно было принимать гостей.

Иногда сквозь всю эту суету в моём сознании возникало лицо Ларисы, грустное и немного растерянное, — таким, казалось мне, оно будет, когда Лариса узнает о моём призыве, о том, что встреча наша снова переносится, — меня отвлекали, и лицо исчезало, чтобы скоро появиться вновь. Это было похоже на тяжелый сон, о котором будто бы и не думаешь, но который никак не выходит из головы. Я послал ей телеграмму, но кажется, это было ещё хуже — она уже ничем не могла нам помочь, к тому же — ничего не объясняла.

Вечером собрались гости. Процедура напутствий повторилась; только теперь, разбавленные спиртным, они звучали намного веселей. Скоро всё стало на свои места. Немногие друзья, ещё обойдённые вниманием военкомата, откровенно увлеклись малочисленными девчонками, толклись возле магнитофона, и даже Сергей почти не отходил от Лидухи. Старшие, собравшись в одном конце стола, перебирали эпизоды из солдатской жизни за последние тридцать лет. Я почувствовал себя одиноким — эх, была бы сейчас Ларка рядом! — и ненужным здесь, взял сигареты, ушёл на лестничную площадку.

Минуты через три, осторожно, как кот, на площадку выступил один из наших гостей — высокий, лысоватый мужчина лет тридцати пяти. Как он попал на наш вечер, я не знал — ни в родственниках, ни в друзьях он у меня не числился. Мужчина прикурил, бросил спичку в щель между перилами, потом посмотрел на меня мутноватыми, выпуклыми глазами, спросил:

— Это ты идёшь служить?

— Я...

— Молодец! — непонятно восхитился он. Я пожал плечами.

— Да ты не нервничай, ничё, не психуй! Всё будет в ажуре, я т-те говорю! Сам три года оттянул, знаю. Живой, как видишь, пришёл, ничё. Но служба, парень, дело серьёзное... — Под глазами у него резко обозначены мешки, плечо в мелу, и сам он будто весь из шарниров, дёргается.

«Пьёт!» — отметил я молча.

— ...А сичас куда труднее, — продолжал мужчина. — Сичас ты знаешь, какая международная обстановка? Вот то-то! Тяжело, брат, уф, как тяжело... Война будет не позже, чем через год-полтора, голову даю... Погоди, куда ты?..

Я отодвинул его плечом, пошёл вниз по лестнице...

## 2.

Утро было пепельно-серым и пустым.

У военкомата пестрела, шевелилась толпа. Визжала гармошка, слышались всхлипывания, смех, а то и пьяная перебранка, булькала водка в гранёные стаканы, кого-то уводили под руки. Призывников можно было узнать по хмуро-спокойным, трезвым лицам. Толпа пылала к ним какой-то отчаянной любовью.

«Для чего это всё? — мелькнула мысль, и в памяти всплыл мутно-выпуклый, бычий глаз. — Как и впрямь на войну...» Призывников собрал военком, минут пять о чём-то говорил — нам, мало разумеющим, было всё равно о чём, — потом погнал нестриженных в расположенную рядом парикмахерскую. Я не пошёл.

Подкатил автобус, потонул в толпе, и стало непонятно, кто едет, а кто остаётся. Кто-то прощался, точно навеки, кто-то клялся ждать без предела, кто-то рыдал — всё это сливалось в сплошной гул. Я пожимал руки, подставлял щёку для поцелуев и поглядывал на открытую дверь автобуса. Было муторно, как на похмелье, окружающий шум — непонятен и нуден, и только хотелось, чтобы быстрее это всё закончилось. Душа затвердела и напряжённо захлопнулась, как захлопываются створки перловицы при чужом прикосновении.

Наконец расселись, закрыли дверь. Толпа потянулась за автобусом, точно привязанная, кое-кто, не желая заканчивать внеочередной праздник, кинулся к транспорту — ехать следом на областной сборный пункт в Батайск.

За окном автобуса кружились, мелькали знакомые улицы, дома, зазеленел сочным цветом густого ограждения моста Дон. Автобус вырвался на простор, побежал во всю свою умеренную прыть по широкому загородному шоссе. Я оглянулся, посмотрел через заднее стекло, как высоко над рекой теснится Ростов, нисколько не отдаляясь по мере движения автобуса, поймал его улыбку — не грусти, друг, до встречи!.. — и почувствовал: на душе потеплело. Напряжение начало спадать, а прошлое значило уже не больше, чем старая рубашка. Я незаметно подмигнул городу и отвернулся — смотреть теперь нужно было только вперёд, где ждала нас новая, тревожащая своей неизведанностью жизнь.

Большинство парней в автобусе было знакомо мне ещё с той поры, когда нас ставили на воинский учёт, и служба в армии казалась такой далёкой и потому — мало реальной. Мы прошли вместе все стадии учёта, перебрались через все комиссии и сейчас были довольны стабильностью нашей группы, надеялись попасть в одну часть, потому, что знали уже: земляк в армии — дело великое.

Три дня мы сачковали на областном призывном пункте. По полдня валялись на нарах в казарме из старого, тёмного кирпича, старательно уклонялись от посещения столовой ввиду обеспеченности домашними харчами и полной несъедобности блюд там, гоняли в футбол на влажном, покрытом молодой осенней травкой стадионе сборного пункта и потихоньку приходили в себя.

Потом была ещё одна — последняя и решающая! — медицинская комиссия, и, наконец, нас распределили по командам. Нашу группу целиком «купил» молодой капитан-бурят с пропеллерами в голубых петлицах и «крабом» на фуражке. Так впервые я столкнулся с авиацией — родом войск, служить в котором я никогда не надеялся, но к которому всегда относился с почтительным уважением. Нам предстояла учёба в школе младших авиационных специалистов или просто — в ШМАСе.

Каждое утро и каждый вечер капитан с помощью сопровождавшего его сержанта — русоволосого невысокого паренька, который был всего на год старше нас, но уже обладал уверенным командным тоном и бывалым солдатским взглядом на «салажню», — выстраивал нашу группу в неровные шеренги и тщательно пересчитывал окликом. Мы не терялись, и успокоенный капитан отпускал нас.

В большом пустынном дворе, огороженном с трёх сторон высоким решётчатым забором, а с четвёртой — ниточками рельсов в зарослях прошлогодней травы, нас погрузили в зелёные пассажирские вагоны воинского эшелона. Поезд простоял ещё часов шесть при закрытых дверях и неожиданно повёз нас в сторону Ростова. Мы прилипли к окнам, расплющив носы о мутные стёкла и затаив дыхание, смотрели в последний раз на проплывающие в сизой полутьме очертания реки, моста, знакомых домов и тыльной стороны вокзала, медленно тающих и расплывающихся в густеющей синеве ночи.

Кругнулись и пропали весёлые, светлые окна Лендворца — там, наверное, играла музыка, но уже не для нас, и потому они стали далёкими, отнятыми ни за что ни про что, — гасли, терялись в извилинах балки, по которой упользала наша зелёная лента, уличные огни и многоэтажное кружево окон, только телевизионная башня долго ещё мигала нам багровыми разводьями тумана вокруг сигнальных фонарей, появляясь то справа, то слева по ходу поезда.

Мы больше стояли, чем ехали, но всё-таки продвигались вперёд. Через толстые грязные стекла вагонных окон пытались определить названия станций, а затем строили догадки о том, куда нас везут. Спрашивали у сержанта. Тот делал важное лицо, словно знал что-то исключительное, говорил таинственно и коротко: «Приедете — узнаете!» За окнами хмуро проплывали в ноябрьской непогоде с виду украинские села, переехали реку, похожую на Днепр. Мы понимали, везут нас на запад, считали — это лучше, чем на восток, потому что в любом случае так ближе к дому. Тогда мы ещё думали, что это имеет значение. Догадки чуть-чуть успокаивали, но не снимали любопытства совсем.

Часами мы валялись на полках, усиленно спали, точно хотели наспаться на всю службу, лениво доедали содержимое домашних сумок, трепали анекдоты да изредка подметали пол в купе.

3.

Разбудили нас слова команды:

— Выходи строиться!

Поезд стоял. Земля за окном смутно белела, маслянисто поблёскивали полосы рельсов. Поодаль — под фонарём — чернела решётка бетонного ограждения.

Мы зашевелились, полезли с полок, собирая в полумраке свои вещи (грязная лампочка в коридоре почти не давала света), потянулись к выходу, осторожно спускались на тощий, мокрый снежок — первый для нас в этом году. Потом неловко, почти бестолково строились.

За забором, закрывая полнеба тяжёлой темнотой, круто чернела гора, подслеповато мигала редкими, беспорядочно разбросанными по склону огоньками.

Неужели Карпаты? Других гор на западе нет. Что-то приятное шевельнулось в душе. Больше всего мне не хотелось в пустыни: песчаные или снежные — всё равно.

Долго раздумывать не дали. Нас повели вдоль склона горы по узкой кривой улице через спящий городок. Город был маленький, это заметно сразу по домам, по отсутствию трамвайных линий, троллейбусных проводов. С одной стороны дороги бесконечно тянулась гора, с другой — где-то внизу — глухо шумела река. Падал редкий снег, мокрый и липкий, долго таял, попадая за шиворот, охлаждал пальцы ног в быстро намокших туфлях. После застоявшейся духоты вагона дышалось легко, и шагать было приятно — только пружинили отвыкшие от ходьбы ноги.

Дорога вилась и петляла, пересекая пустынные перекрестки, выходила к тёмной реке и вновь ныряла в густоту маленьких домиков, прижималась к

горе. Минут через сорок, когда нас уже начал пробирать пот, мы подошли к высоким зелёным воротам с красными металлическими звёздами. КПП. Ворота, негромко звякнув, раскрылись, и наша колонна потекла через них к низким старинным зданиям во дворе, над которыми темнела массивная башня, похожая на колокольню.

«Наша школа...» — догадались мы.

Ворота бесшумно захлопнулись за нами, окончательно отрезали путь к нашей прошлой жизни. И мне показалось в тот момент, ничего другого больше у нас не будет, и всё, что осталось нам, находится здесь, за этими воротами.

Позже мы узнали: школа находилась на территории бывшего женского монастыря, на окраине маленького украинского городка Могилёва-Подольского, одним забором она выходила к Днестру. Высокий склон горы здесь вплотную подступал к школе, оставив лишь неровную, мощённую бульжником дорогу, что втискивалась между глухой оградой бывшего монастыря и крутым склоном, но совсем не горы — до Карпат мы не доехали километром двести. Это был склон огромной балки, местами шириной километров в пять и глубиной метров в сто, по дну которой катила свои воды мутная, бурливо-белая река Днестр. Местные жители называли балку Старым Руслом.

#### 4.

Курс молодого бойца давался тяжело. Всё было новым, непривычным и часто непонятым. Иногда казалось, — заставляют исполнять никому не нужные и ничего не значащие команды, порой откровенно глупые. Словно так просто, ради прихоти. Но здесь желания не спрашивали, времени на размышления не оставляли, ударили нас сразу по макушкам известным девизом: «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Никого не интересовала наша прошлая жизнь, наши привычки, желания — значили они тут не больше, чем вчерашний дым над осенней трубой. Особенно было трудно, если взводу доставался слишком ретивый сержант — царь и бог в карантине, — он старался сделать тебя «хорошим солдатом» ради твоей же пользы. Но мы-то уже знали, всё это ради относительно лёгкой службы в школе помощником командира взвода: боятся такие служаки действующей части побольше огня. Ведь хорошего из хорошего не надо делать, он уже такой, а из дурной глины не слепишь скульптуры, как ни пыхти. От этих стараний и шли переборы.

С утра десяток раз подъём-отбой, потом зарядка на заснеженном стадионе, тренаж. На завтрак приходили, как после смены. Уходили, точно не ели. После завтрака всё повторялось до отбоя, только успевай поворачиваться да переделывать заново. И не только за себя — за всех. Пуговицы не желали пролезать в петли гимнастёрки, сапоги натягиваться на ноги; постели самопроизвольно морщились, в строю стучали, будто горох сыпали; а старшина Шведко поминутно капризничал. Потом, на сон грядущий, ещё раз десять подъём-отбой, и день заканчивался. Старшина завершал обход коек, и все мы, спортивные и неспортивные на гражданке парни, одинаково облегчённо вздыхали.

Когда всё успокаивается и гаснет свет, лежишь, слушаешь декабрьский ротный кашель и долго не можешь уснуть — гложет тоска по дому, рождён-

ная большим расстоянием, трудным днём и полным твоим бесправием в этой отлаженной машине, и он уже не кажется реальным, выплывает в памяти, как хороший старый кинофильм, который никак не забыть.

Давили бесконечные сроки службы, а мы не собирались здесь привыкать и, может быть, надеялись отбыть как-то это, такое бескрайнее, время.

Но всё же привыкали. Постепенно, незаметно для себя. Пуговицы начали застёгиваться, сапоги надеваться легко; и можно было уже не спеша уложиться во время подъёма. Привыкали к пище, к распорядку дня, тяжёлым сапогам и непривычной одежде. Всё становилось сносным, а в старшине вдруг прорезался громадный юмор — это была пытка, стоять в строю и не засмеяться, когда он прохаживался взад-вперёд и на кого-нибудь выступал. Мы быстро окрестили его Тарапунькой.

Свободным был лишь час после обеда. Так называемое «личное время». Первое письмо я написал Ларисе. Потом — остальным. Скоро пришли ответы. Молчала только Лариса. Вместе с ответами пришли письма от других добровольцев переписки. Сначала это было приятно — как-никак, помнят меня ещё в Ростове, уважают. Но скоро меня охватил кошмар письмописания. Как-то я посчитал: сорок пять адресатов! Всё свободное время уходило на ответы, и я всё равно не успевал. Каждый день два-три письма. Ответы мои были почти все одинаковые, сочинять их было мучительно: коротко — нехорошо, длинно — тяжело от повторений, под копирку — нельзя, а новостей в солдатской жизни мало. Для книг, шахмат и телевизора времени не оставалось совсем. Это был мост в мою прежнюю жизнь, но мост слишком широкий.

Месяца два сражался я с потоком дружелюбия, потом начал сдавать. Некоторым письмам я уже не радовался. Иногда просто желал, чтобы они потерялись или их вообще забыли написать. Прервать переписку самому? Что тогда будешь стоять в глазах людей, которые к тебе от всей души?

Письма шли. Лишь одного письма я не мог найти на алфавитной полке, куда ежедневно ротный почтальон Мишка Голубев раскладывал содержимое своего чемоданчика.

Не получила, наверное!.. Я психовал и снова писал, теперь уже точно не зная, где она и куда отсылать конверт. Её последнее письмо, пересланное мне в часть, было наполнено острой чувствительностью и тоскливым одиночеством, оно тревожило душу и убивало первые дни службы.

После принятия присяги начались занятия в классах, и служба стала казаться вполне нормальной. Это уже было настоящее, понятное дело. Курс молодого бойца свинцовым туманом ушёл в прошлое, и потому мы смотрели на него уже другими глазами.

... Письмо от Ларисы пришло. Может быть, даже вовремя. Но как измерить длину однообразных дней ожидания, особенно здесь, в армии, где на первых порах резко обостряются все ощущения, выглядят контрастными и выпуклыми, где часто человеком руководит тоска, разбавленная бессилием что-либо изменить? Как смириться с тисками времени, если я уже окончательно понял всю нелепицу своего отношения к Ларисе, — ведь могло же, могло быть у нас иначе, и это было в моих руках! Теперь я понимал: всё, что пока было у нас, шло только от неё — наверное, уже тогда она была старше меня...

Я посмотрел на письмо и спрятал в карман. Точно оно грозило мне разоблачениями.

Я лежал после отбоя с открытыми глазами, слушал натруженный солдатский храп и чувствовал себя в состоянии сделать всё, как надо, давил подушку кулаками в бессильной ярости на запоздалое прозрение, и какой-то ехидный внутренний голос упрямо нашёптывал мне: «Утраченного времени не вернёшь... Упущенный момент не поймает... Не вернёшь... Не поймает...» Я старался думать о другом, отбрасывал эти мысли вкуса хины, но они возвращались снова и снова, пока я не засыпал — тяжело, но спокойно, потому, что во сне время поворачивало вспять, — я встречался с Ларисой, и всё решалось просто и счастливо.

Проносив письмо несколько дней в кармане, я наконец решился, разорвал конверт, как разрывают упаковку билетика моментальной лотереи...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

25 декабря

г. Северодонецк

*Здравствуй, Володя!*

*Ты уже солдат, и я получила письмо не с привычным обратным адресом, а с номером воинской части.*

*Долго не решалась сесть за ответ — грустно-таки сознавать, что всё получилось вопреки нашим желаниям: ни ты ко мне не приехал, ни я тебя не проводила в армию, и можно считать, что остались мы, как и прежде, только старыми друзьями.*

*Ты пишешь, вышло всё неожиданно, а мне почему-то думается, у нас с тобой слишком много неожиданностей, и они почти всегда играют главную роль.*

*Но, несмотря на это, я очень надеюсь остаться для тебя таким же хорошим другом, как и прежде, я уверена, что никто из девушек тебя в армию не провожал, а потому соперниц и недовольных не будет. Верю я и в нашу скорую встречу, ты только напиши, дадут ли тебе отпуск, а если дадут, то когда, чтобы на этот раз я не опоздала, смогла приехать и застать тебя.*

*Твоё прошлое письмо я почти забыла и считаю первое письмо из армии знаком того, что ты не думаешь обо мне, как о слишком навязчивой девице, и у тебя всё-таки есть что-то ко мне, может быть, даже больше, чем я до сих пор полагала. Или ты просто заскучал там в полнейшем мужском окружении? Скажи правду! Нет, я не хочу думать так, не желаю, чтобы это маленькое сомнение оказалось правдой.*

*Живу я по-старому и работаю так же. Кончились, видимо, мои переезды, но своим для меня этот город ещё не стал. Все недоразумения с местными парнями сумела уладить и на меня больше никто не обижается. На Новый год, наверное, поеду домой — получала письмо от мамы, она просит приехать обязательно.*

*Зима у нас уже на все сто. Лежит снег, морозно, в парке залили каток, и вечерами мы мотаемся туда кататься на коньках — как говорится, сбросить лишнюю энергию. Как там на почве зимы у вас?*

*Пиши мне чаще, пиши о себе всё, потому что я хочу знать каждый твой шаг, представлять каждый твой жест, тем более, что у тебя сейчас каждый шаг новый, любой жест непривычный и для тебя, и для меня, а я хочу видеть всё — то, что тебя сейчас окружает, мне интересно. Пиши, а я буду читать и стараться не забывать тебя, наши последние встречи, которые одновременно и спасли меня, и многое мне прояснили, а главное — подарили надежду, чему я сильно радовалась, да так, что меня хватило на одно глупое письмо, за которое мне теперь бывает стыдно.*

*Ты не верь, что это мешает мне тянуться к тебе, ведь говорят же, что отвергнутая любовь сильнее, и даже Пушкин о нас сказал, что нравятся нам как раз те парни, кто любит нас меньше. Правда, я ещё не совсем точно знаю, подходит это к нам с тобой или нет, но часто задумываюсь.*

*Так что, давай продолжить снова привычное нам дело — писать письма — и опять надеяться: авось из этого что-либо и выйдет. Как много у меня сейчас имеется вопросов к тебе, и как много я могла бы тебе сказать! Но не будем нетерпеливыми...*

*Эх, Володя! Если б ты знал, чего мне стоила твоя телеграмма!.. Это ж представить надо, как мечешься, чего-то ищешь, душа стонет и сгорает, а ты не можешь ничего изменить! И самое трудное — понимать: всё поздно, поздно, поздно...*

*Потому пока заканчиваю.*

*С Новым годом тебя...*

*Крепко целую, твоя Лариска.*

1.

Зима стояла морозная и снежная. Весь городок опутан сетью дорог и дорожек, прочищенных или протоптанных в сугробах. Серые тучи тяжело проплывали через Старое Русло, скрывались над противоположным склоном, цепляясь за верхушки дальних деревьев. Иногда они просыпались густым, мелким снегом, распушивался откуда-то ветер, и тогда всё вокруг скрывалось в белых объятьях метели. Парное дыхание пощипывало в носу. Во время разводов мы стояли на морозе под колючим ветерком и откровенно замерзали в самой лучшей в мире армейской форме (как внушал нам недавно замполит роты). Мысли наши неудержимо тянулись в классы, за толстые монастырские стены, где гуляло калёное тепло массивных изразцовых печей.

С крутыми склонами Старого Руслу мы уже познакомились вплотную. Все учебные тревоги — дневные и ночные — проводились только на них, причём ловкий «противник» всегда почему-то успевал занять позиции наверху, тогда как нам приходилось постоянно атаковать его снизу. Мы взбирались по скользкой крутизне, и жёлтая луна насмехалась над взводом в мутном небе, прыгая за ним по пятам. Опять тревога, три часа ночи. Тренировки — это хорошо, но наш помкомвзвода Малухин изобрёл такой вид наказания: чуть что — и вперёд, на штурм! Опять кто-то провинился, мы так к этому привыкли, что даже не интересуемся: кто?

Всё бегом, бегом, хоть и в гору, крутую, замёрзшую, при полной выкладке, на раздумья и выбор дороги времени нет. Пот заливает лицо, потеют стекла,

в противогазе уже противно хлюпает, а где-то меж лопаток ползёт горячий холод. Этот умник топает рядом належке, откормленный, выпавшийся во время наших занятий, ему от таких тревог только удовольствие да похвала начальства — умеет, мол, добиться дисциплины.

Я лезу в гору и больше всего боюсь скатиться вниз, а потому цепляюсь за всё что можно: высокую прошлогоднюю траву, голый, корявый кустарник. Разрываю мёрзлый снег сапогами, коленями, а то и голыми руками. И топаю, топаю, если не ползу. Кое-кто из парней в темноте примкнули штыки к карабинам и тайком от сержанта (увидит — разорётся, прилепит пару нарядов) втыкают их в плотный наст. А что делать: самое страшное — это сорваться, съехать, нагребая спиной сугроб, к самому забору школы, а там обязательно стоит кто-либо из помощников Малухина — придётся начинать всё сначала, никто не поймёт, не поверит, что сил уже нет, а сделает так, что вместе с тобой повторить нужно будет всему взводу...

Вперед, и всё! Там спайка, там дружба, ещё что-то там...

Но об этом мы совсем не хотим думать. Что за дурацкие тревоги, пыхтишь километра два по склону, а наверху никого — лишь тишина, да мертвенная бледность холмиков от зарытых виноградных кустов, да рядами бетонные столбы... Но возмущаться можно только молча, иначе всё без пользы, лишь себе хуже, а потому лезь и лезь, цепляйся обезьяньей хваткой (хотя по силам ли это обезьянам?) да смотри под ноги.

Вон с тоскливым криком поехал вниз Никулин (на самом деле — Мишка Бородин, он получил эту кличку на первом же физво: в трико и кедах, с расстояния метров в тридцать — вылитый Никулин в «Кавказской пленнице»), вон ещё кто-то вслед за ним... Ух, ты, чёрт!.. Хоть на животе, но удержался... Надо меньше отвлекаться.

Ну, вот и вершина... Сержант Малухин стоит у виноградного рядка, ухмыляется нам в круглые стеклышки противогаза. Будто не знаем мы, что сапоги у него с подковами...

Осенью, перед самым окончанием школы, нам устроили такой марш-бросок на двадцать километров в один конец и столько же обратно при полной выкладке да ещё на время, что я, до армии запросто бегавший два-три часа с мячом на футбольном поле, вспомнил эти зимние штурмы и подумал: нет, не одолел бы я эти километры в первые месяцы службы. Солдатская амуниция не футбольный мяч, а передвижение части в расчётное время совсем не похоже на игру — здесь мало интереса, ещё меньше азарта, тут можно положиться только на упорство.

Одно лишь навевало сомнения: мы служили в авиации и потому думали — зачем нам это?

А главными всё же были занятия в классах. Они были похожи на учёбу в техникуме, с той лишь разницей, что одеты мы были в военную форму и изучали самолёты.

## 2.

С первых же дней занятий у нас появился коварный враг. После раннего подъёма, хорошей физзарядки и развода на морозе он подбирался к нам с

теплом горячей печки, подкрадывался подло и незаметно. В классах нас быстро размаривало, веки непомерно тяжелели и вполне самостоятельно слипались, из сапог медленно и недовольно выползал холод плаща, контуры предметов сиреневели, размывались и исчезали, а голос преподавателя звучал монотонно и глухо.

Кое-кто из курсантов пытался сражаться со сном, делая вид, что внимательно слушает преподавателя, другие же через пяток минут после звонка на урок откровенно засыпали. Измотанные холодной зимой и курсом молодого бойца, они поневоле добирали на занятиях утеранные прежде кусочки отдыха.

Но как ни хитри, как ни прячь свои сонные глаза за чужим, спинами, незаметно спать на занятиях дело трудное и почти безнадёжное — на это надо было иметь особые способности. Преподаватели к нашим страданиям относились по-разному. Одних они приводили в бешенство, и тут же следовало наказание, другие терпеливо делали замечания, но ни те, ни другие не могли добиться желаемого — клевать носом и засыпать продолжали с упорством молодости и здоровья.

Заместитель командира роты, военный преподаватель, высокий черноусый красавец капитан Маринеску, обнаружив придавленных сном к столу курсантов, негромко говорил: «Кто спит... — а затем кричал на весь класс: — Встать!» Плавающие в сладостных облаках дремоты и, естественно, не слышавшие его первых слов, курсанты напряженно вскакивали, вытягивались по стойке смирно, считая, что аудиторию посетило начальство, потом ничего не понимая, глупо хлопали глазами под дружный хохот взвода. Отпираться было бесполезно, разрядка свежим, бодрящим ветром пролетала над классом, и занятия продолжались дальше.

Несколько таких «Встать!» — и на уроках капитана Маринеску спать уже не рисковали.

Сонливость ушла сама по себе, исчезла с первыми яркими лучами февральского солнца, как тяжёлые, зимние тучи над Старым Руслом. А может, это мы просто втянулись...

### 3.

Я прочитал письмо от Ларисы и, наконец, решился, написал ей обо всём. Как любил и о чём думал все эти годы. Как верил и не верил. Как мечтал о ней и старательно прятал от всех свои мечты.

Письмо давалось трудно. Не подбирались нужные слова, фразы лепились напыщенно и не совсем искренне. Несколько раз рвал бумагу в клочья и начинал заново. Мне очень нужно было, чтобы она поняла меня, не свернула всё на щемящую армейскую тоску и неуютность первых месяцев службы. И всё равно казалось, что выходит плохо. Потом решил: будь что будет, плюнул на всё и решительно накатал письмо одним махом. Прямо на самоподготовке. Быстро заклеил конверт, чтобы не сомневаться, отослал таким, каким письмо получилось.

Если любит — поймёт.

Но позже всё равно думал, как примет она мою откровенность, чем ответит мне её задетое самолюбие. Мысли эти преследовали меня. Ждал почему-

то худшего. Действительно, что я сейчас — здесь, в армии, в другом мире, далёком от неё, где так много будней и так мало праздников? Что ей может быть интересно? Неужели всё это похоже на прочитанную книгу, которую поставили на полку, чтобы окунуться в новые? Нет, к хорошим книгам возвращаются обязательно.

А вдруг она просто захочет отомстить мне?

И даже приносящие скупую радость хорошие строчки её писем не могли прогнать проникающую в душу и оседающую там мутным налётом, обыкновенную до зелени, тоску, и тогда оставались лишь воспоминания — наполовину реальные, наполовину надуманные, подкрашенные временем, они долго не давали уснуть по ночам, но имели одно преимущество перед настоящим: их никто не мог изменить. Там были только Лариса и я.

Всё больше и больше я начинал жить воспоминаниями. В память пробирались мельчайшие подробности наших встреч: от первой в Новошахтинске, до последней — у Сергея, когда мы ели мятый торт столовыми ложками, потом молча прощались у красного автобуса. Наплывали наши разговоры, её голос, глаза, каждый раз такие знакомые и новые, её стрижка, её... Я начинал понимать — мои воспоминания мешаются с мечтами, и тогда старался прогнать их, удавалось мне это плохо — они уходили на миг и возвращались снова.

Помогала служба — она отвлекала. Я добровольно брался за любое дело и скоро уже считался хорошим курсантом. Это могло бы показаться служебным рвением, и вряд ли каждый сумел бы понять его причины. Понять и поверить. Потому что одно и то же состояние человеческой души может сделать его одинаково и плохим, и хорошим, только сложно заметить ту грань, что разделяет эти понятия, ещё труднее заставить себя шагнуть в ту или другую стороны, и, видимо, всё выходит помимо наших желаний.

Правда, оставалась ещё надежда. Хорошая, живая надежда, что не покидает людей, не принимающих безысходности своего положения. Она рождена была молодостью и верой в лучшее, огромным желанием видеть Ларису, посмотреть ей в глаза, услышать голос, целовать её и говорить нежные слова. Надежда шептала мне: «Будь уверен, нет, не изменит она никогда вашему чувству, будут и письма, будут и встречи, и всё, что желаете вы». — И я верил этому.

Я отослал письмо, запаса терпением и стал ждать. Но чем больше дней отсчитывал невидимый солдатский счётчик, тем тягостнее становилось это ожидание.

Военные будни росли и росли, до отказа заполняли жизнь. Дом отодвигался всё дальше — последних моих друзей забрали и армию, количество переписки снизилось до терпимого уровня. Непривычное становилось обыденным, невероятное — обычным, серая масса дней делилась и начинала дарить что-то хорошее. Только образ Ларисы неизменно сиял ясным светом над буднями, как последняя связь между моими прошлым и настоящим.

Учёба давалась сравнительно легко. Сказывалось, что я окончил техникум, а программа школы была рассчитана на курсантов с восьмиклассным образованием.

4.

Наверное, мне стало легче, когда у меня появились друзья. Хорошие, крепкие друзья, какие бывают только в армии. Случилось это не сразу, но как бы само собой.

Вроде бы незаметно мы стали бывать вместе. Сначала вместе со всеми бегали на спортплощадку погонять футбольчик по снегу. Саня прилично двигал мячик, был подвижный и ловкий, Игорь же — наоборот, угловато метался по площадке, махал ногами мимо мяча.

— А ну, мазила! — смеялся Саня и пускал мяч Игорю меж ног.

— Щас посмотрим! — кричал Игорь и снова махал мимо.

Но в защите он стоял глухо, как каменная башня, пройти его было трудно. Мяч проходил, а соперник нет. В мини-футбол — по-нашему, почему-то, «дыр-дыр» — играли на баскетбольной площадке три на три, здесь требовались хорошая техника и интуитивное понимание друг друга. Но мы брали Игоря в защиту, он стоял стеной меж баскетбольных стоек, остальное вытягивали мы с Саней. Получалось совсем неплохо, если считать по количеству побед над футбольными тройками со всей школы. А среди них были такие, кто считал себя асами.

С площадки возвращались шумно. Возбуждённо обсуждали игру. Потом вдруг оказалось, и на занятиях мы сидим вместе, уже на перерывах ходим втроём в курилку, да и в наряд не прочь объединиться.

Постепенно обнаружилось ещё кое-что. Наши потребности и взгляды на жизнь: порядочность, отношения между людьми, книги, фильмы и прочее — были сравнительно похожи. Мы старались уметь хранить чужие тайны и уважать хороших людей. Мы не думали об этом, но уже потянулись друг к другу. Так взаимопонимание быстро переросло во взаимоподдержку.

В первый раз в армии из бани вываливает до ужаса одинаковая толпа, которую только что одели в военную форму. Каждый ходит в этой толпе и с трудом находит знакомых, удивляется, что это ему удаётся. Так разительно похожи один па другого — взвод, рота, как принято говорить, дружная семья. И все дружны, свой всегда стоит за своего, но это скорее спайка, стадный принцип взаимоподдержки, при такой дружбе вряд ли поведаешь кому сокровенное, потому и носишь его в себе, как кенгуру в сумке детёныша. В самые трудные дни в одиночку жуёшь свою тоску, свои чувства и никогда не можешь представить, что из этого выйдет.

Проходит время, и взвод начинает делиться на отдельных людей. Кто-то становится ближе, кто-то — дальше, проступают конкретные лица, очень разные характеры. Обнаруживаются вдруг сволочи, подонки, которые могут обмануть, насмеяться, а то и просто предать; выявляются слабые, безразличные ко всему люди. И тех, и других мало, но их влияние в роте велико, потому что любой их поступок всегда может ударить по каждому. Кое-кто уже успел подружиться с начальством, кого-то «заложить» не без пользы для себя; смотришь, уже влез на какую-то должность, и жизнь пошла легче. Странно, но только на их фоне начинаешь видеть по-настоящему хороших парней. Они почему-то никуда не лезут — ни в друзья, ни в начальники, и потому их трудно сразу выделить.

Конечно, можно попытаться заставить быть близкими совершенно чужих людей, принудить помогать, заботиться. Как говорят, воспитать настоящую армейскую дружбу, а это, мол, и есть взаимовыручка и взаимоподдержка. Чепуха всё это. Можно презирать и помогать, можно не любить и выручать. Всё зависит от обстоятельств и обыкновенной порядочности. Не может быть в большой массе людей одинаковых друзей, сколько ни приучай или принуждай.

Всё должно прийти само, естественно и точно. Не надо только спешить, всему своё время...

Игорь, среднего роста, светлоголовый, с голубыми улыбочивыми глазами, мой земляк — из города нашей области. Саня, высокий шатен, с карими, весёлыми глазами и ровным пробором в густой шевелюре, призывался из Грозного с Северного Кавказа, но, смеясь, уверял, что тоже наш земляк. А что? Если брать по размерам нашей страны, это очень даже так. А земляки — уже полдружбы. У парней дома остались невесты. Игорь вообще был фактически женат. И первые разговоры по душам — о них, этих девчонках, что ждут и пишут желанные письма. Читали их вслух, делясь хорошим настроением. И тогда, глядя на них, я впервые засомневался, изменил своей уверенности в пустоте обещаний и ненужности любых намерений перед уходом в армию. Всякий домашний пустячок, накружнённый рукой девчонки, которая ждёт, приносил большую радость. Да, ждать — это трудно, я понимал. Не каждому под силу. Но имеем ли мы право отказываться от такой попытки добровольно? Теперь я понимал — нет!

Пусть это лотерея, но ведь женитьба тоже лотерея. И каждый обязан тянуть свой билет...

О себе я помалкивал. Но уйти от вопроса не удалось. Игорь дочитал письмо, сложил его в конверт, сунул в карман. Спросил, улыбаясь:

— Вовчик, ты что-то темнишь, помалкиваешь, о себе — ни гу-гу, а? У тебя что, не было девчонки?

— Он угрюм, как железная дверь, за которой хранится страшная тайна! — в тон ему пробасил Саня.

— Нет, — ответил я, и это было похоже на правду.

— Ну, ты, кончай! — не поверил Игорь.

Я промолчал. Саня внимательно посмотрел на меня, сказал:

— Тебе всё надо знать. Не видишь, что ли?

— Так получилось, — сказал я.

— Странно, — задумчиво сказал Игорь. — Столько писем каждый день. А я уж тебя в донжуаны записал.

— Это всё не то: родня или ребята да девчонки, что не совсем меня забыли.

Саня засвистел какой-то мотив. Мы пилили дрова для учебного корпуса, и солнце, отражённое чистым снегом, шурило ему глаза.

— Я бы почитал, да ничего интересного. Всё о погоде да о кино, кого забрали в армию или кто женился.

Саня сдвинул шапку на затылок, потянул пилу. Игорь сидел верхом на бревне для его устойчивости. Было тихо и тепло, пахло мерзлыми опилками

и чистым снегом. На большой вербе возле учебного корпуса громко переругивались вороны.

— Может, что и будет... — неуверенно пообещал я...

5.

Обстановка в библиотеке, как в храме. Всегда тихо и торжественно. Заведовала библиотекой Нина Николаевна, за глаза — Ника, женщина лет двадцати восьми с фигурой греческой богини. Абсолютно всё — профиль лица, шея, грудь, стан, ноги — всё у неё могло свободно сдавать экзамен на совершенство.

Она взбиралась по лесенке, чтобы отыскать на верхней полке какую-то книгу, а мы отчаянно любовались её красивейшими ногами, затынутыми в чёрные чулки, замирали, не поднимая глаз, потому что упаси Бог, чтобы она это заметила. Я не скажу, что мы страдали излишней скромностью или боялись обидеть её своими голодными взглядами, быть изгнанными, наконец, из храма. Нет, мы были обыкновенными, вполне нормальными двадцатилетними парнями, лишёнными женского общества, и на жизнь смотрели вполне реально. Дело было в другом: мы преклонялись перед ней, она приручила нас своей отточенной культурой в обращении с нами, с книгой, искренним желанием всегда помочь нам в выборе чтения. С ней можно было поговорить, поспорить, совсем как там, на гражданке, и в библиотеке мы часто забывали, где находимся.

Говорили, у неё не сложилась семейная жизнь — разошлась с мужем, воспитывает восьмилетнюю дочь — откуда кто знает? И мы не очень-то верили этому. Возможно, мы чуточку ревновали её, но нельзя же такую женщину разменять на мужа-хмыря (мы были без всяких сомнений), сумевшего её обидеть, окунуть в семейные нужды и тяготы. Нет, у неё этого не было. Она могла перестать быть для нас богиней, этакой библиотечной богиней, и мы с лёгкостью отменяли разные такие «говорят...»

В первый наш приход она встретила нас ободряющей улыбкой. Мы топтались у стойки, дожидаясь своей очереди, и очень стеснялись своих нулевых причёсок. Она поговорила с нами минут пять и пустила к стеллажам.

Чего только здесь не было! Мы всегда удивлялись, что в таком маленьком городе, в рядовой воинской части была очень хорошая библиотека. Кто создал её, мы не знали, но, несомненно, без Ники не обошлось. Мы зачастили в библиотеку, часами рылись на полках ради тех авторов, о которых либо только слышали, либо вообще понятия не имели. Набирали стопки книг: Бунин, Алексей Константинович Толстой, Сент-Экзюпери, Томас и Генрих Манн, Франс, Беранже, Фолкнер...

Вот Игорь нашёл маленький томик Есенина, и мы тут же у полок начали читать стихи, которые знали только по тетрадям да отдельным листкам. Мы были уверены, эти стихи никогда не печатали, их не могли напечатать — их удел жить среди людей, и они уже почти стали народными. Откуда эта книга? Мы посмотрели издательство. Оказалось — город Бухарест. И всё стало ясно, но книга в библиотеке жила.

Мы читали запоем, и нам было мало. Ника приносила книги из дому, до-

ставала ещё где-то, если мы спрашивали, а таких в библиотеке не было. Мы считали себя читающим народом, проглотили немало книг на гражданке, и, как оказалось, не все одни и те же. И здесь, с помощью друг друга, пользовались размеренной жизнью и добирали, добирали, с каждым таким добором чувствуя, как всё больше не хватает нам. Ника старалась для нас, наверное, это ей приносило радость.

— Знаете, Нина Николаевна, — сказал как-то Игорь, — если бы в школе преподавали литературу, а не литературоведение, все эти книги мы прочитали бы ещё дома.

Ника тряхнула чёрной стрижкой, подняла от стола пушистые ресницы — приготовилась слушать.

— Школьной программой, как нарочно, отбивают у детей охоту читать, — продолжал Игорь. — Берут у писателя или самое сложное, или самое непонятное. Ну, скажите, зачем восьмикласснику забивать голову «Мертвыми душами», если у Гоголя есть «Вечера...»? Придёт время, и человек, любя Гоголя, сам осмыслит эти «Души»...

— А Чехов? — подключился Саня. — Дай бог каждому познать всего Чехова, многие ведь останавливаются на «Толстом и тонком» да «Хамелеоне». И так возьмите любого...

Ника хитро улыбалась и молчала. Она скажет ещё свое слово, а мы уже заводились.

— Шустряки, — продолжал Игорь. — Лепят за литературу пары, пугают детей. Заставляют шпарить по учебнику. Флоринский всё, мол, знает, а вы талдоньте вслед за ним. У него чётко расписано: что и как! В чём «идейные достоинства». Так что, долби слово в слово, как законы физики. И никакой отсебятины! А чтобы имел хоть какое-то понятие, о чём талдонишь, тебе дадут кусочек в хрестоматии.

— Согласна, согласна, мальчики, — запротестовала Ника. — Вас надо срочно в Академию педагогических паук. Вы бы там навели порядок!

— А что? — сказал Саня.

— Да, вы правы. — Ника уже не смеялась. — Литературу надо читать и осмысливать, а не заучивать чужие слова, хоть и в учебниках. Она не должна быть зажата нормативными рамками, это не чертёж, по которому строят типовые дома.

— Рамки, схемы — это удобно, — вмешался в разговор я. — Техника безопасности кой для кого...

Я вспомнил наши уроки литературы в техникуме. Вела их Валентина Сергеевна, интеллигентка, как говорится, до мозга костей. И нам не верилось, что она просто по возрасту не могла учиться в гимназии, — мы видели в ней гимназистку, считали, что так оно и было, а потом она училась в каком-нибудь закрытом пансионе или университете, где главными предметами были искусство, изысканные манеры и культура.

Она отлично знала русскую литературу. Но к таким мыслям подталкивали ещё и внешность Валентины Сергеевны, её голос. Пышные белые локоны, похожие на букли, тонкие черты лица, длинные, нервные пальцы, безупречная манера одеваться. Слова она произносила тихо и чётко, с безукоризненно

правильным произношением. Они ложились чеканной печатью на полужаргонную, смешанную речь нашего города, которой пользовались мы.

Очень часто она приходила в аудиторию, бесшумно опускала на край стола классный журнал, тетрадь с конспектами и говорила:

— Сегодня мы с вами будем нарушителями. Нарушим программу. Сегодня мы будем читать стихи...

И она читала нам стихи. Читала много, читала прекрасно. Проходил урок, звенел звонок, а мы не уходили.

— Вы, наверное, знаете какие-то стихи и можете прочесть. Прошу... — Она хотела слышать нас.

А что? Читали! Сначала стеснялись, не приученные к такому занятию, потом мало-помалу решались: пусть неумело, пусть знали мало. Но это были уроки, они запоминались.

Или приносила книгу. Совсем не программную.

— Сегодня мы прочтём пару глав, потом вы все найдёте эту книгу и познакомитесь с ней самостоятельно, а через две недели мы её обсудим. Договорились?..

И обсуждали, и спорили. И даже раскритиковали одну книгу известного в городе автора, «рекомендованную обкомом к изучению». Много лет спустя я перечитал её и понял: мы не ошиблись.

Она была в шоке, когда одна наша девочка сказала, что Чернышевский из мещан.

Она жила литературой и старалась ввести в эту жизнь нас. И может, благодаря ей, литература не вызвала в нас аллергию.

Я был убеждён, в школьной программе по литературе много не так, составлена она по образу и подобию других наук людьми, не слишком задумывавшимися над ней, вероятно, даже бездарных в этой области, и привычными загонять всё в одну форму, но сильно в такие разговоры не вмешивался. Не хотел кривить душой и петь личную песню в общем хоре — у меня была Валентина Сергеевна...

На следующий день Игорь держал в руках книгу какого-то околολитературного деятеля и спрашивал с усмешечкой:

— Нина Николаевна, что за профессия такая — литературовед? То ли ведёт куда литературу, то ли заведует, как овощной базой?

— Это такая профессия, когда вполне определённые дядьки могут прилично существовать при литературном ведомстве, — с ходу вставлял Саня.

— И чем же они там занимаются, Санечка? — улыбалась Ника.

— Изучают, Нина Николаевна. Долго и нудно. И не без пользы... для себя. Бедный Пушкин написал столько прозы, стихов, и всего-то лет за двадцать, а они изучают-лопают это написанное уже лет сто пятьдесят. Что, много? Ну, уж последние пятьдесят это точно. Он умер в долгах, а они — кандидаты и доктора — диссертации лепят пачками и за бабки, которые ему не снились. Вот уж для кого постарался Александр Сергеевич. Они же всё знают, даже то, о чём авторы сами ни гу-гу. Все замыслы, тайны, скрытые значения произведения...

— Ты путаешь, Саша, литературу вообще и литературу художественную.

Кто-то же должен изучать великих. Хотя бы для потомства, — серьёзноела Ника. — И книги бывают разные, их тоже кто-то пишет, а они ой как порой бывают необходимы.

— Не, я не против, — не сдавался Саня. — Ну, написал кто-то книгу, скажем, о Пушкине, сдал в библиотеку, берите, читайте, что ещё? А их вон сколько: пушкинисты, лермонтисты, ещё кто?..

— Если б всё было так просто, то и спорить было бы не о чем. Всё это очень необходимо. Наше всеобщее богатство — культура — накапливалось по крохам. Только тогда оно богатство, когда объёмно. Может, не всё в нём ценно, это правильно, но уж фундамент — по кирпичику.

— А нельзя ли этот фундамент, ну, скажем, просто так, из любви? — спрашивал Саня.

— Ты что? Это же ненаучно! Какая ж наука без кандидатов и докторов? И без манэй? Стоять будет, засохнет, если просто так. Чтобы изучить одну книгу — институт нужен.

— Уймитесь, мальчики. Чтобы рассуждать о чём-то, надо его хорошо знать, а мы с вами, к сожалению, плаваем на поверхности.

— А собственное мнение! — восклицал Саня.

— Собственное мнение — шёпотом, — говорил я и смотрел на Нику. Она опять улыбалась, и мы понимали её.

Но униматься не хотели. Именно — для Ники. В следующий раз Игорь заводил спор о критике.

— Вы знаете, Нина Николаевна, критики — это те дяди и тётки, которые знают всё, но сами ничего не умеют.

— Да? — говорила Ника. — Но без критики нельзя. Вспомните: Белинский, Добролюбов.

— Белинский? — опять вмешивался заводной Саня. — Он что, кончал институт по этой специальности?

— Нет, по-видимому.

— Ну?! — торжествующе подводил черту Игорь. — Что из этого следует? Что без критики нельзя. Но критика не зоотехния, которой нужно специально учиться, чтобы не подох скот. Корочки получил — критик, нет — кати мимо. Потому что без них ты баран в литературе. И писатель, и читатель. Того, так вообще за пустое место признают, вроде пишут не для него. А вот с корочками и карты в руки, — лепи, чему научили, и ни шагу в сторону. Кого надо — возвысим, кого надо — раздавим, и всё с очень учёными мотивировками. Так, мол, и так.

— Если хвалят, значит, дрянь, если хаот — надо читать. Это уже закон! — ехидно подписывался Саня.

— Критика, мальчики, не только наблюдает, она ещё и соблюдает. Здесь вы правы немножко, — говорила Ника и склонялась над формулярами.

— Ка-анешно, Нина Николаевна. Давайте, лопая сдобные булочки, начнём учить, как сеять зерно и месить тесто того, кто этот хлеб растит, мелет муку и печёт булки.

— Этому мы его научить не можем, но сказать, вкусными ли они получились или нет, тут вполне в состоянии. Даже ты, Саня.

— Так и тут же есть, кому сказать! Писателю-мастеру, слово которого уже принято. Читателю. Что уж мы, все такие дремучие?

— Только кто тебе даст слово? — вставлял Игорь. — Литература должна быть многообразной, — сколько писателей, столько читателей с разными вкусами. Зря массы обижают, они всегда сумеют отделить настоящее...

Споры были интересными, но, обычно, ни к чему не приводили. Мы, конечно, многого ещё не понимали, судили излишне резко и не всегда справедливо. Если великих «убивают», то зачем такая критика, какой бы хорошей она ни прикидывалась?..

Солнце заглядывало в узкие окна библиотеки, косыми лучами щупало книжные полки, золотило корешки книг. Мы умолкали и смотрели на Нику. Наплывало такое ощущение, будто мы её обидели. Что за мука: вместо кого-то слушать упрёки, глотать обвинения? И мы уже готовы были извиняться.

Но Ника хотела, чтобы мы мыслили, и потому терпела.

6.

В воскресенье полдня свободных, и после обеда мы опять топаем в библиотеку. Узкая снеговая дорожка к клубу меж двух накладных сугробов утрамбована солдатскими подошвами до желтизны. Бежим в одних гимнастерках, и мороз на ходу облизывает короткие волосы, до красноты растирает щёки.

Книжные полки светлого, грубого дерева, пахнут высушенными стружками, пылью и конторским клеем. И ещё — детством. Класа со второго я уже бегал по библиотекам, и запахи эти врезались в память.

Копаться на книжных полках и что-то выискивать стало в эту первую армейскую зиму нашим любимым занятием. Иногда кто-нибудь находит редкое и подходящее нам, — книга тут же пролистывается, чуток обсуждается и забирается из библиотеки, чтобы поочередно быть прочитанной. Но даже просто так, найти, подержать в руках старого друга, что-то вспомнить, прочесть пару абзацев, когда чувствуешь, что незачем спешить, когда мысли твои свободны, как ветер в степи, — даже так для нас это удовольствие, и оно растягивается нами до самого ужина.

— Вот, смотри, Вовчик. — Саня спустился с библиотечной лесенки. — Кажется, это то. «Праздник, который всегда с тобой». Эрнест Хемингуэй.

Я взял у него тоненькую, в затрепанном переплёте книжку. Вчера, в субботу, в клубе показывали «Снега Килиманджаро». Чем-то новым дохнул на нас этот фильм, наверное, мужеством, но не тем геройским мужеством, которое проявляют в силу необходимости и обязательно для чего-то — так внушали нам с детства, а просто мужеством, свойственным обыкновенной человеческой порядочности. Фильм был по рассказам Эрнеста Хемингуэя, которого, как оказалось, никто из нас не читал, — это сразу же породило поиски.

Конечно, мы слышали о Хемингуэе, но только отдалённо, по газетным заметкам, что ли, или с чьих-то слов, не помню. Тогда, кроме, пожалуй, Марка Твена, О'Генри да Джека Лондона, американцев у нас не слишком жаловали, а тем более — рекомендовали. Где-то ещё прятались Скотт Фицджеральд и Ирвинг Стоун и многие другие, и вот мы столкнулись с Хемингуэем.

Полистали книжку, показали её Нике. Та одобрительно кивнула. Прочитали залпом: три вечера на троих.

— Здесь же другая жизнь, парни, — сказал после Игорь. — И всё правда, без всяких там прибрёхов.

— Это американский Ремарк, — отозвался Саня.

— Это Хемингуэй, — сказал я. — Мужики, надо читать ещё...

В библиотеке нашлись «Прощай, оружие», «Фиеста», потом помогала Ника: она доставала и приносила его книги. Мы читали все подряд и хотели ещё, добрались даже до Кашкина — нам всё нужно было знать в его книгах и в книгах о нём.

Обычно в местах, где живёт сразу много людей, книги читают так: либо все одну, либо никто. Прочтёт кто-то, похвалит — и пошёл слушок — давай забивать очередь. А скажет кто: дрянь, мутота, и никому эта книга не нужна — чего зря потеть? О Хемингуэе мы почему-то помалкивали, понимали, наверное, — с ним так нельзя, его необходимо почувствовать самому и принять сердцем, иначе всё зря...

Пройдёт время, и он станет модным у нас, на чёрном рынке за его книги будут драть бешеные деньги, но тогда... тогда почти случайно мы столкнулись с ним и были странно и однообразно счастливы. Так получилось, и, наверное, совсем не случайно.

— Не читайте, мальчики, книги — всех книг перечитать нельзя, да и не нужно это. Читайте писателей, близких вам по духу, — говорила Ника, накручивая на палец чёрный локон на щеке, и мы верили ей.

Одним из первых для меня среди таких, был Хемингуэй.

7.

Зима катилась на убыль.

На склонах Русла появлялись и росли на глазах чёрные, парующие плешины, дороги днём покрывались жидкой, грязной кашей, ночью шершаво стекленели и хрустели под ногами, воробьи у нашей столовой с каждым днём становились веселее и нахальнее. Если удавалось найти тихое место, после обеда можно было полчаса побалдеть на солнце, почти как в альпийских снегах Кавказа.

Наконец-то наш почтальон Мишка Голубев — самый маленький в роте по росту, но самый уважаемый по должности, точно сам являлся соавтором всех получаемых нами писем — помахал у меня перед носом конвертом, подписанным знакомым круглым почерком с привычной закорючкой в конце обратного адреса, не похожей ни на имя, ни на фамилию Ларисы.

Сердце колотилось где-то в горле, я выхватил у него конверт, разорвал. В конверте письмо и фотография. Прочитать я не успел — по роте пронеслась команда строиться на самоподготовку. Я сунул письмо и фотографию в карман гимнастёрки и в этот момент поймал на себе взгляд Игоря. Он как-то непонятно улыбнулся и ничего не сказал. Мы побежали на выход.

Уже в строю я осторожно достал из кармана фотографию, показал ему, стоящему рядом. Игорь глянул на фотографию, потом, не поднимая руки, сжал пальцы в кулак, выставив вперед большой палец, и уже весело, понимающе улыбнулся.

— На-пра-о! Ш-шагом арш! — проревел сержант Малухин, и взвод затопал на самоподготовку.

И только в учебном классе мне удалось потихоньку прочитать письмо.

### ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

26 января

г. Северодонецк

*Здравствуй, Володечка!*

*Ну что ты со мной сделал? Я не могу, я задыхаюсь от чувства, которое, видимо, можно было бы назвать счастьем, если бы точно знать, что это такое. Наконец-то я услышала (пусть только прочтала) то, что так долго надеялась услышать, ждала, переживала и уже думала — никогда не услышу, потому что перестала верить, что сумею разбудить такое же чувство в тебе.*

*Ты понимаешь, я много думала о нас, наших отношениях, и часто меня мучил вопрос: почему это я, девчонка, не прощающая слабостей другим и себе, могу что-то делать, чтобы изменить наши отношения, решаюсь на такие вещи, на которые не стоило бы решаться ни под каким предлогом, — в результате ты всё знаешь обо мне и чего я хочу, что чувствую и чем живу, но молчишь, упираешься и никак не хочешь ответить, вот и получается, будто я тяну из тебя каждое слово. Прошло время, и я с большущим унынием решила: всё правильно, так было и будет, тебе приятно со мной, даже хорошо, но ты в самом деле не можешь любить меня — я тебя достаточно хорошо знаю и давно должна была докумекать: если б любил, давно бы сказал об этом, сделал бы всё, чтобы мы были вместе. Да так оно и должно быть.*

*Потому пообещала себе больше не терзать тебя своим занудством, приказала себе забыть обо всём, что может смахивать на нечто большее, чем старая, хорошая дружба, делать так, чтобы она тебя больше не тяготила. Да и сама я как? Ну, нравится мальчик, ну и что? С ним просто замечательно дружить...*

*С трудом садилась за ответ тебе, долго мучилась над листом бумаги и снова чёркала, чёркала своё самолюбие хорошими словами, берегла тебя, а заодно — и себя. Понимала, что не могу уже иначе, не могу, как раньше, и все мои срывы теперь только для меня.*

*От тебя я уже ничего не ждала, но вместо успокоения это почему-то приносило боль.*

*И вдруг ты всё перевернул, перемешал, я думала, что начала уже свыкаться (или мириться) с поставленными себе условиями, а тут даже опешила, не зная, как принимать твоё письмо, — оно было как удар из-за угла. Немножко остыла, покопалась в себе, хорошенько вспомнила тебя и поняла: письмо это я всё же ждала, тихонько и тайно от себя, ждала так же упорно, как и не верила в бесконечность всех наших неурядиц. Оно только подтвердило, что я по-прежнему очень люблю тебя, что решительная забывчивость моя деланная и рассыпалась она, как песочный замок под дождём и ветром, едва я увидела эти желанные строчки.*

*Извини, может, написала слишком сухо, может, что-то не так, — я*

*сейчас волнуясь, мысли мои слегка путаются, ведь во мне так внезапно окрепла надежда.*

*И чтобы как-то поддержать её, не дать ей умереть и сократить нашу разлуку, я решила приехать к тебе на недельку, это будет скоро — как только сумею вырваться из этого приюта под названием «наша работа». Думаю, в конце февраля — начале марта. Ты напиши мне, как легче к тебе добраться, где найти тебя, кем нужно представляться, и где я смогу остановиться. Впрочем, всё это не так уж и важно.*

*Как видишь, я снова пытаюсь ускорить события, но быть с тобой рядом сейчас для меня потребность — это очень нужно для Моего спокойствия. Вот видишь, какая эгоистка — думаю только о себе...*

*Ну и о тебе, конечно, Володя! Хочу, чтобы ты меня очень-очень ждал! Я приеду!*

*В остальном в моей жизни всё по-старому.*

*На Новый год ездила домой, где мне объявили о твоём «неожиданном» уходе в армию, спросили, как я думаю — дальше. Мне, в общем-то, вопрос не понравился — будто мы с тобой наделали глупостей и ты сбежал (пусть в армию), а мне теперь расхлёбывать! — и я промолчала; но был там один моментик, который заставил задуматься: я вдруг поняла, тайны зачастую бывают тайнами лишь для тех, кто их создаёт и хранит. Видно, мама, особо не навязываясь, следила за нашими отношениями, догадывалась о встречах и знала цену твоих писем для меня — ну хотя бы по интонациям голоса, когда я спрашивала о них, или по нетерпению, с которым я разрывала конверты и садилась за ответ. Я была смущена открытием и потому ушла, но в душе и сейчас ей очень благодарна, за то, что она всё помнит.*

*Привет тебе от Иринки, моей подруги (помнишь, у её брата ты должен был жить в Северодонецке?) Она жаждала увидеть тебя (ох уж это вечное женское любопытство, эта страсть к сравнениям!), но так и не увидела. И прекрасно! Пусть лучше видеть тебя буду только я — не хочу делиться! Нет, я не ревную, но... всё же ревную.*

*На этом заканчиваю. Жду ответа.*

*Твоя Лариса.*

1.

Я ждал чего угодно, только не этого. Она приедет, она решила, мы скоро будем вместе! Я знал, это будет так, — что ей расстояние, деньги, если нам сейчас так нужно встретиться? Нет, теперь уж я не отпущу её чужой, она знает, она потому и едет ко мне. Долой колебания, нерешительность — всё будет, как надо!

Навёл необходимые справки, быстро написал ответ. Жду, очень жду, «до потери пульса!», люблю! Найти меня очень просто — в Могилёве-Подольском все знают нашу школу, и любой встречный покажет дорогу. На КПП сказать мою фамилию — и меня позовут. Представиться... представиться можно женой — после секундного колебания написал я это непривычное, режущее слух, слово. А лучше всего дать телеграмму, и я встречу на вокзале. Остановиться можно будет в маленькой городской гостинице — если что, моё на-

чальство поможет с номером. А меня обязательно отпустит в увольнение и на столько, на сколько потребуется нам...

Ещё я присмотрел небольшой, двухэтажный домик, за его охрянистыми стенами прятался городской загс, вот туда-то и поведу я её сразу — ещё по дороге в гостиницу, только о нём пока — молчок, пусть это будет маленькой неожиданностью — она поймёт меня и будет счастлива.

Да и не может быть у нас теперь иначе!

На радостях рассказал всё друзьям.

— Вот видишь, Саня, — серьёзно сказал Игорь, — мы с тобой тоже кое-что соображаем. Я же говорил, он темнит.

Саня в знак полнейшего согласия прикрыл глаза.

Мы сидели на широком монастырском подоконнике в курилке в перерыве между уроками и тянули вонючие сигареты, которые почему-то называлась «Ароматные». Некурящий Игорь морщил нос от табачного дыма, непрерывно гонял его перед собой ладонью.

В открытую форточку комьями вваливалась сырость, за грязными от ранних дождей, мокрыми стёклами свинцовело хмурое, в драных облаках, небо, виднелся кусок улицы с чёрными корягами деревьев. Тоска висела над улицей, как в ноябре.

— Ничего я не темню. — Я смотрел через мутные стекла на волны осевших, серых сугробов в садике на противоположной стороне улицы и старался говорить спокойно.

— Покажи фотку, — попросил Саня.

Я достал из кармана гимнастёрки снимок. Маленькую любительскую фотку. Саня долго смотрел на неё, потом протянул Игорю.

— «Не темню», — говоришь? — «У меня никого, так получилось», — передразнил он меня. — Всё прибудняем, а сами? Такая девчонка! На тебе — едет в гости!

— Парни, не знаю... Это трудно объяснить. Да мы с ней уже больше трёх лет, но скорее морочим друг другу головы. Всё как-то не так, шиворот-навыворот. Всё время что-то мешает, постоянно мы далеко друг от друга. Увиделись и разбежались надолго. Даже перед призывом не смогли встретиться. Я никогда бы не решился назвать её своей. Для этого всё должно быть чётко. А у нас... И да, и нет. Я сам не представляю, как разжевать все эти странности...

— Она тебе нравится?

— Не надо, Игорь. Это не то слово.

— А ты ей?

— Надеюсь...

— Конечно, чего бы она сюда ехала? — сказал Саня. — Вовк, но ты всё же расскажи нам.

Глухо загнусавил старый электрический звонок. Саня бросил через всю комнату окуроч в урну. Он пролетел, оставляя дымный след, ударился о край горловины, рассыпал искры и пропал.

— Расскажу... — твёрдо пообещал я, и мы пошли в класс.

Я слушал объяснения преподавателя и мало что понимал — мысли мои уже витали возле нашей встречи, заглядывали в охрянистый двухэтажный

домик, слетали в маленькую городскую гостиницу и дальше... дальше я уже не решался думать, боялся погасить вспыхнувшую ярким светом надежду, пережить нашу встречу прежде времени.

Что уж там придумывать, мысли мои, наверное, были самыми обычными в подобных случаях — не слишком весёлые, даже чуточку тягостные; что поделаешь — времени здесь на всякие думы или там мечты предостаточно, в первые месяцы оно заполнено ими до отказа. Чтобы ты ни делал, даже против желания, в глубине сознания постоянно крутилось что-то, связывающее тебя с чем-то дорогим твоему сердцу, ещё не забытым и тихонечко болящим, и это дорогое зачастую вырастало из прежде малозначительного или же незаметного для тебя — резко оторванное от твоей души, здесь оно становилось огромным и незаменимым, поднималось в цене, точно алмаз после шлифовки, заполняло тебя, не давая покоя. Так из множества близких мелочей складывалось огромное и дорогое.

Всё это почти не имело возможности выразить себя, как-то вылиться или исполниться, настолько резким был поворот действительности первых дней службы, настолько разными были наши прежняя и настоящая жизни, а новых мыслей и новой памяти у нас ещё не было, и потому прошлое непрерывно преследовало тебя, оно было, естественно, твоим, и ты не представлял, что можешь существовать без него, и потому оно постепенно переходило в мечты, ты был уверен, что вернёшься к ним, вернёшься скоро, как только кончится это ненормальное, жестокое и временное, в которое ты попал помимо своей воли и которое просто необходимо перетерпеть.

В этих мыслях было и сокровенное. У каждого своё. Самым сокровенным для меня сейчас была Лариса.

К 23 февраля — открытка: «Поздравляю, люблю», и дальше — «Буду в первых числах марта. Лариса».

Я повеселел. Нет, никогда я ещё не получал таких замечательных поздравительных открыток. Она решила, она уже знает точно и спешит поделиться со мной своей радостью. Самое большее — две недели, и она здесь. Две недели на фоне длиннющих месяцев этой зимы сущий пустяк. Никогда ещё наша разлука не была для меня такой долгой и нестерпимой. Кто может подумать, что встреча с любимой девушкой для солдата какая-то мелочь? Кто?..

Пусть говорят, что парню в двадцать лет это делать рано. Только как угадаешь, когда это рано, а когда поздно — не картошку же сажаешь! И что ещё нужно двоим, кроме любви? А она есть, она требует. Не поддержанная, она уйдёт и вряд ли вернётся, тогда появятся пустота и холодный расчёт. Но нам ничего не нужно, мы не можем сейчас думать о чём-то похожем на дом, достаток и прочие серьёзности — какая же это мерзость, когда один человек стремится к другому с подобными мыслями! — только любовь, только любовь, а с ней пусть будет что будет!

О своих намерениях я не сказал даже Сане с Игорем. Но настроение у меня подпрыгнуло, и они заметили это сразу.

— Ну что? — спросил Игорь.

— Нормально!

— Когда?

— Числа пятого-шестого, — ответил я и тут подумал: что же это такое — первые числа? Первая половина месяца или дня три, не больше, от начала? Лучше бы уж так. Но чтобы не хвастаться впустую, добавил:

— Самое позднее — десятого...

— Отлично! — сказал Саня, шлёпнул меня по плечу. — Поздравляю...

— А я завидую, — сказал Игорь и засмеялся.

— Быстро стучи по дереву, — сказал я. Мы шли по аллее от учебного корпуса, и серые стволы торчали из сугробов. — А то не получится.

— Не бойсь, — сказал Игорь. — Я не глазливый.

— Нет, стучи. Мне нужно сто процентов.

Игорь влез в сугроб, набрав в сапог снега, трижды стукнул кулаком по стволу. Пушистые снежинки инея посыпались ему на плечи.

— Ну? — спросил он.

— Годится...

— Игорь, ты Дед Мороз, — теперь уже смеялся Саня.

Игорь выбрался из сугроба, отряхнулся, сказал серьёзно и уверенно:

— Получится! Вы же оба этого хотите. Наберись терпения и жди, ерунда ведь осталась.

...И я набрался терпения, ждал, как никогда прежде. Я даже не послал ей поздравление с Восьмым марта — зачем? Я поздравлю её здесь самым большим букетом на местном рынке, на который хватит наших солдатских денег. Я был уверен, она приедет до праздника. И ждал непрерывно. На занятиях, в карауле, вечером у телевизора, в библиотеке, в спортзале и в бане. Ждал в городе, ждал в столовой за обедом и в строю, даже во сне ждал. Ведь она могла приехать в любой момент. Ждал упорно, как безумный игрок в лотерею удачи, потому что настроился ждать, считал, перебирал время, разбивая на дни и часы двухнедельное ожидание, от моей уверенности оно не растягивалось и не очень давило своей нудной медлительностью. Она едет, и этим все сказано.

Через два дня случилась маленькая неприятность, сильно испугавшая меня. На тренировке сборной школы по футболу в спортзале я упал на ножку стоящих у стены брусьев и сильно зашиб бок, после чего не мог ни согнуться, ни разогнуться — не хватало мне ещё предстать перед Ларисой в столь дурацки беспомощном виде и всё испортить! Но через пяток дней дело пошло на поправку, накола ребра рентген не обнаружил, я начал двигаться, а бок напоминал о себе только при резких движениях. И тогда я снова воспрянул духом.

## 2.

Сугробы накатываются фиолетовыми волнами от дальнего забора школы, синеют, переходят в голубовато-жёлтые под большим фонарём у штаба, блестят над дорожками толстыми ледяными корками. Опять приморозило, луна ясная, белая, устроилась на пышном ковре звёзд, поливает городок холодным голубым сиянием, и словно не снег лежит кругом, а волны толстого, пенистого лунного света.

На мне белый овчинный броневик — тулуп, значит, до пят, с воротником

выше шапки, на ногах валенки, на плече самозарядный карабин Симонова № 3А-159. Караул. Я прохаживаюсь по натоптанным дорожкам вокруг учебного корпуса в серебристых дождинках звёздного неба, отражённого льдистым снегом света, по мне перекатываются корявые тёмные тени голых ветвей деревьев.

Пост сторожевой, особого внимания не требует. Хотя по уставу... не пить, не курить, не отвлекаться... По всей школе пустынная тишина, только завозятся порой у столовой кухонные приживалки, общие любимицы собачонки Сержант и Шпак, и снова тихо, скрипит только замёрзший снег под ногами, а кругом красотища, и до смены ещё больше часа.

Я смотрю в ночное небо сквозь лиловые ветви вербы, и мне хочется чего-то такого, необычного и радостного, чтобы пела душа. Чувствую, как рождаются, выступают из неё — души — какие-то фразы, я пробую сочинить стихи, хоть по уставу это совсем не положено.

Занятие это старо, как мир, и, наверное, каждый, кто в состоянии хоть что-то чувствовать и понимать, когда-то пробовал в нём свои силы. Стихов написано много, хороших и плохих, но ведь, то чужие стихи, чужие переживания и мысли, а мои чувства, мои думы — это только мои, они огромны и единственны, остры и ни на чьи не похожи, они требуют фонтана слов.

Пять четверостиший сложились совсем легко, даже запросто: об этой ночи, важности моего занятия и моей бдительности, о Родине и её частичке — Ларисе и, конечно, о нашей любви. Я был очень доволен. С ходу придумал ещё два стихотворения, теперь уже только о Ларисе... И тут, совсем некстати, меня сменили.

Наутро незаписанные, подсинённые сном стихотворения частично выветрились из моей головы, а остальное?! Я глянул на свои творения другими глазами и пришел в ужас. Остальное было избитым, давящим стандартностью фраз, чехардой местоимений и союзов, — пляшущим несоразмерностью строк. А главное, стихотворения ни о чём не говорили. Ни о чём!

Я впал в уныние. Почему-то вспомнились стихи любимых поэтов, и мне стало стыдно. Нет, не за свои корявые строчки — за лёгкость восприятия и глупую радость. Одно было простительно: всё я увидел сам, сам во всём разобрался.

Позже, уже в полку, у нас был эскадрильный поэт Витька Агеев. Он писал очень плохие стихи, повсюду совался с ними, читал на вечерах, помещал в боевые листки, отсылал в окружную газету — везде, как говорится, во весь голос, нахраписто, с осознанием своей гениальности. Иногда и непонятно почему его стихи даже появлялись в газете, кто-то из далекого от литературы начальства без понимания хвалил их, он багровел от важности и на радостях писал стихи ещё хуже. Всё это было плохо, даже очень скверно, он не видел своих стихов и, бездумно поддержанный случайными людьми, считал себя настоящим поэтом, в мыслях уже витал где-то рядом с великими. А нам было жалко его — его ждали только горечь и разочарование.

Но о той, своей вдохновляющей ночи я предпочитал помалкивать.

3.

Весна надвигалась неудержимо.

Снова появилось на небе и залило склоны потоками золотистой радости солнце, куда-то вверх по реке ветер угнал последние клочья хмурых облаков, на припёке снег оседал и темнел, истекал ручейками журчисто и весело через всю нашу школу вниз, к Днестру, в полдень парили бесснежные бугры, а воздух, горько пахнувший набухшими почками, пьяно щекотал ноздри.

Минули две недели, пролетели и восьмое, и десятое марта, и срок этот уже казался громадным. С каждым днём всё сильнее замирало сердце, когда я перебирал письма па почтовой полке с литерой «Б», но ничего не находил и только замечал, как всё больше нервничаю.

— Что, нет? — спрашивал Игорь.

— Нет, — качал я головой.

— Будет, — подключался успокаивать Саня. — Не может ведь она так разом всё бросить и приехать.

— Это она как раз может... Но почему-то даже не пишет.

— Ты не жди так усердно, — предупреждал Игорь. — Так легче...

Да, так легче. Я соглашался для ребят, но нетерпения унять был не в силах. Постепенно падал духом, метался, как стрелка барометра с переменной погоды, чувствовал, что становлюсь угрюмым, раздражительным, часто, читая книгу, не видел строчек, не понимал слов. Всем был прекрасен этот наш последний шаг навстречу друг другу, надо было только сделать его, рвануться, помчаться стремительно и без оглядки, но какая-то резина мешала и мешала, растягивала нас в сторону, и это убивало меня. Я знал, это неправильно — не может быть Ларка медлительной и нерешительной, не та девчонка, но почему же тогда эта растянутость и неопределенность? Что-то случилось! Я готов был бежать из части, согласен на всё, лишь бы узнать — почему? Что?

Видимо, все это было заметно не только Игорю с Саней. Меня вызвали к командиру роты.

Майор Гладилин — душа-человек. Всё в нём невоенное, некомандирское. Невысокий рост, тихий голос, добрые глаза. Таких на парады не берут. Но я никогда и нигде не встречал командира более внимательного к своим подчинённым. Он жил ротой. Его даже отцом трудно было назвать, он больше походил на мать. И любили в роте его, как мать, и пошли бы за ним без оглядки...

— Что случилось, Белов? — Глаза смотрят приветливо и внимательно.

А я упрямо и даже с вызовом:

— У вас ко мне претензии? Я провинился?

— Зря колючки растопыриваешь, Володя. Злость, она похожа на слёзы, потому что тоже проявление слабости. Не стоит мужчине такое выказывать. Думаю, мы поймём друг друга.

Мы поймём! Как трудно нам двоим уместиться в это короткое понятие мы. Он смотрел на меня светлыми глазами через стол канцелярии и ждал. Я молчал.

— Девушка? — спросил ротный.

— Да...

— Не пишет?

Я молчал. Тех, кому перестают писать, тысячи, но у каждого своё. Ларка не может просто перестать писать.

— Я не навязываюсь тебе в духовники, не хочешь — не говори. Но, может быть, я смогу помочь.

Мы никогда не стеснялись просить у него помощи. Я молчал.

— Значит так, Белов, если почувствуешь, что тебе действительно необходимо быть там, понимаешь — очень необходимо, придёшь ко мне и скажешь, я похлопочу об отпуске. А пока терпи...

— Разрешите идти?

— Идите...

Я долго и хорошо думал и не нашёл, что мне сейчас очень необходимо. Я не мог жонглировать его доверием. «Есть ждать, товарищ майор», — уныло сказал я себе.

Ребята сидели в ротной курилке. Я подошёл тихо, сел рядом.

— Ну? — спросил Игорь.

С прозрачной сосульки на деревянном навесе слетали звонкие капли, солнце гоняло волны света в прозрачной луже на дорожке. Мы смотрели на них и морщились от зеркалистых переливов. Было совсем тепло.

— Всё погано, братцы...

— Гонял? — не поверил Саня.

— Батя? Да ты что? Погано всё остальное. По-дурачки как-то вышло: хвалился, планы строил, и всё кувырком — ни хрена не поймёшь. Чувствуешь себя, как утопающий, которому протянули руку и вдруг передумали.

— Ты близко всё принимаешь. Попробуй чуток забыть.

— Да не могу я! И не только в том дело, что не едет, молчит. Другое терзает больше. Дурацкое положение. Ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Необитаемый остров! Будто унижаешься, просишь у судьбы подачки... Ждёшь, как идиот, без веры в будущее. И потому издеваешься над собой — нужен ты ей теперь больно? Возле неё там рой гражданских, им не нужно проситься в увольнение. И сочиняешь ей вину за её молчание. Да, но сколько можно быть преданным чернильной любви?

— Какая кому досталась... — философски заметил Саня.

— Да, она уже раз чуть не выскочила замуж. И всё по той же причине — из-за вечных наших расстояний. Но ведь могла бы, запросто — не велик труд, — черкнуть пару строчек: всё, мол, баста!

— Слышь, тебе надо хорошенько накостылять по шее, — сказал Игорь и положил мне руку на воротник, точно собирался немедленно приступить к внедрению своего предложения.

— Может быть, — неуверенно согласился я.

Я понимал, всё это глупо, чересчур я впал в переживания, слишком много набрался мрачных дум, знал — нельзя же так, надо взять себя в руки, смотреть на всё проще, ведь всегда могут найтись уважительные причины. Но ничего не мог с собой поделать. Всё понимал и не хотел соглашаться. Принять причины — значит предать наши чувства. Так казалось мне, душа упрямо гнула своё. Я верил в неё, не в силах был, набравшись гордости, махнуть на свои

чувства рукой. Да и очень уж непривычно было не помнить, не думать о ней, вычеркнуть её из жизни, но я все же надеялся, и это давало силы держаться с какой-то одеревеневшей настойчивостью.

Только не превратиться в слюнтяя, нытика. Я посмотрел на очень серьёзных ребят и отвернулся. Им зачем знать мои кислые мысли? Тем более — ротному?

И я старался нацепить маску спокойствия. Может быть, у меня что-то и получалось...

4.

Мы сидели на самоподготовке, уткнувшись в конспекты, скучно катали шарики ручек по бумаге. Помкомвзвода сержант Малухин устроился на широченном монастырском подоконнике, тупо смотрел на яркую южную весну за окном — отбивал часы самоподготовки по должности.

Электротехника — предмет, пройденный в техникуме на пятёрку, особых хлопот не доставлял, но и повторного интереса тоже. Но положено, сиди, витай где-то в облаках, только чтобы тихо!

От нечего делать я водил, водил ручкой по тетради и вдруг что-то начало прорисовываться. Нет, я ещё хорошо помнил свой провал тогда зимой, в карауле, но сейчас уже весна, солнце, дразнят шальные запахи, и молодые парни вечерами собираются в углу казармы, тихонечко поют под гитару такие песни, от которых ноет сердце. Ну как тут уйти от соблазна?

Сначала просто так, потом увлёкся. Ещё не закончилась самоподготовка, а на листе уже фиолетовым столбиком лежали неровные строчки:

*Тихий вечер,  
тёплый вечер.  
Чуть-чуть лишь слышно  
тренькает струна. —  
А сердце хочет,  
С тобою встречи —  
И потому грустит она.  
Тихой ночью.  
тёплой ночью  
Чуть-чуть лишь слышны  
нежные слова,  
В истоме сладкой  
летней ночью  
Над миром виснут  
звёзды-кружева.  
Из полумрака  
лётся песня,  
Звуки приёмника  
приглушены.  
Кому-то радостно  
от этой песни,*

## Красные оани

*Кому-то горько  
от тишины.  
Вот за окном  
совсем недолго  
Стучали тоненькие  
каблучки,  
И в сердце парня  
тоски огромной  
Поют печальные  
смычки.  
Всё жарче руки,  
всё ближе лица,  
Уж скоро будут  
гаснуть фонари.  
В солдатской койке  
парню не спится,  
Вдыхает молча он  
до зари...*

Перечитал столбик, сразу не уловил до конца, но надо ещё, ещё — пока что-то ладится. Но тут гнусно продрывчал старый звонок, и довольный сержант Малухин соскочил с подоконника. Отмучился.

— Деж-жур-рный! Собр-рать конспекты! Выходи стр-роиться!..

Я понимал, это не шедевр, но вечером не удержался, показал ребятам. Мне было стыдно, горели уши, дрожали руки, словно показывал я что-то чужое, украденное и надеялся выдать за своё. С трудом сохраняя голос, прочитал стихотворение.

Парни долго молчали. Потом Игорь сказал:

— Вообще-то неплохо. Но не каждый поймет всё, о чём ты. Я думаю, кто не служил, мало что уловит.

Теперь молчал я. Не знаю, может быть, жалел о своей поспешности. Странное дело, некоторые люди, чуть что напишут или там придумают, уже на публику лезут, на сцену, в издательство — спокойно и уверенно, радостно кривляются при всех, нисколько не заботясь о том, как это выглядит со стороны и действует на других. А я всегда чувствовал себя голым, даже Игорь с Саней для меня — широкая публика...

— А он не для них писал, — неожиданно вмешался Саня. — Он для нас карябал, скажи, Вовка? Для таких, как мы, вот в этих погонах и в хэбэ. Которые сидят в казарме, когда жизнь вокруг кипит. И всё точно, как на ладошке. Нор-рмальные стихи!

— Да ну тебя! — Мне не хотелось другой крайности.

— Вот Леха Чмырь возьмёт гитару, парни соберутся, ты и почитай. Сам увидишь.

— Да я тоже говорю, неплохо! — сказал Игорь, и я понял, это не в знак приличия, не лесть ради дружбы. Просто он не хотел громкой похвалы с ходу, она тоже выглядела бы фальшивой.

Я повеселел, хотя и очень сомневался в своей удаче, — ведь и у них мало-

вато тямы в этом деле. Но что поделаешь, даже у очень маленького поэта большое честолюбие. Это нормально.

Саня положил мне руку на плечо и, своим заглядом прямо в глаза, как бы перечеркивая любые отказы, предложил:

— Вовка, а давай их пошлём...

— Куда?

— В журнал какой-нибудь. Получше и потолще.

— Ты что, кирзы объелся?

— Давай, а?

— Одно стихотворение и сразу в журнал?

— Ну и что? — поддержал Саню Игорь. — Некоторые вообще дрянь пишут, и то печатают. А тут вполне жизненное. Надо только подобрать журнал, где больше молодых, — там не промажешь.

— Да ну вас... Нашли поэта.

— Ничего, попробуем. Напечатают... — Саня говорил так, словно стихи уже приняли. — А ты ещё напишешь, потом ещё...

— Ну, даёте, мужики! Лепите из меня...

— Дай я посмотрю, — с видом знатока попросил Игорь. Я протянул тетрадь.

Он прочитал стихотворение, закрыл тетрадь и неожиданно спрятал её в карман.

— Тогда мы пошлём сами, — спокойно объявил он. — Кто за это предложение, прошу голосовать. Так, за — двое, воздержался — одни, принято большинством. Сань, сейчас идём в библиотеку, подберём приличный журнальчик, срисуем адрес и всё оформим, как надо. Годится?

— Годится! — весело выдохнул Саня.

— Ну, деловые! — сдался я. — Только не отправляйте с Мишкой Голубем — в роте затюкают, сходим на почту сами...

Такую просьбу коллективчик уважил. Стихи мы отослали через день. Я попытел ещё немного, и стихотворений стало три. Пакет ушёл с громким адресом журнала, и на почте почему-то никто не смеялся, не пускал ядовитых шуточек.

А ещё через день мы заступили в караул. После обеда Игорь ходил зачем-то из караульного помещения в роту, вернулся весёлый, и я только вздрогнул, когда он, улыбаясь, протянул мне конверт.

— Вот, — сказал он. — По-моему, его ты ждёшь.

— Да... — узнавая почерк, вяло ответил я и почувствовал сильную усталость.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

10 марта

г. Северодонецк

*Володечка, родной, здравствуй!*

*Я приеду к тебе, приеду — хочу видеть тебя, говорить с тобой, а представляюсь я, как ты захочешь. Мне сейчас трудно, пойми — очень трудно и плохо, и я хотела бы тебе всё рассказать, найти помощи и понимания.*

*Но не хочу ни о чём писать тебе — боюсь, ты неправильно поймёшь и*

*станешь волноваться; прошу тебя: не надо, лучше я приеду и всё расскажу. Не пугайся — ничего страшного не произошло, а неприятности мы умеем преодолевать, тем более, если вдвоём, — ведь мы же вместе, не правда ли? Не зря же я верила в тебя столько лет, верила больше, чем в себя, и эта вера помогала мне любить тебя даже тогда, когда любить кого-либо было невозможно. Так что, не тревожься — всё будет в полном порядке.*

*Приеду я скоро, ты жди телеграммы и встречай меня. Тут вышла задержка — не по моей вине, — но скоро всё уладится, и я буду свободна. Только ты не написал, как лучше к вам добратся. Городок ваш маленький и, чтобы доехать, наверное, нужны будут пересадки. Меня интересует: где и сколько? Возможно, я ещё дождусь твоего письма, возможно, рискну ехать сама, ведь «язык до Киева доведёт», а от него уж как-нибудь найду. По-моему, я поняла правильно: к вам нужно ехать через Киев, да?*

*Володя, ты шлешь мне сейчас такие хорошие письма, каких никогда не писал. Я берегу их, а когда мне бывает плохо или грустно, я достаю, перечитываю — дышу тобой и разговариваю, как бы заново переживаю наши слова и встречи, и мне становится легче на душе от сознания, что где-то всё же есть настоящий друг (в этом я уверена сейчас, как никогда!), который всегда поймёт и поддержит, вселит уверенность в трудные моменты жизни, принесёт радость в минуты грусти, когда кажется, что предел твоих глупостей уже исчерпан, а назад возврата нет. Прости меня, если всё это тебе вдруг покажется лестью, это не так, — я не терплю лицемерия, ты знаешь.*

*Уверена, я тебе сейчас очень нужна. Но и ты мне нужен не меньше, и если бы можно было сделать так, чтобы ты вдруг оказался здесь, рядом со мной, в минуты, когда я пишу тебе эти строки, то все мои желания и надежды исполнились бы непременно, — твоя рука не дала бы мне согнуться. Да, я хочу немедленной встречи с тобой, и это не каприз, а необходимость. Вот почему я особенно не собираюсь ждать твоего ответа, а думаю уехать сразу — только бы уладить с работой. Я знаю, после этой нашей встречи не станет больше ни моих сомнений, ни трудностей — всё решится хорошо и просто. Всё будет, как ты захочешь, а хотеть плохого для нас ты не можешь, — в этом я не сомневаюсь, потому что верю в тебя.*

*Если тебе вдруг покажется, что я унижаюсь, теряю достоинство, выругай меня, я пойму (сейчас мне это даже необходимо), но всё же я считаю себя вправе писать так, хотя бы ради нашего трудного чувства, что связывает нас столько лет. Ведь мы же с тобой не чужие, правда, Володя? Мы знаем это!..*

*Каждой клеточкой ощущаю — всё-таки наболтала лишнего и даже не знаю, что это такое. Неужели сейчас мне, хотя бы через это письмо, хочется пожаловаться тебе, чего никогда и нигде я не делала? Что-то пытаюсь решить и не могу. Может быть, это и есть проявление женской слабости, которое я избегала всю свою сознательную жизнь.*

*На этом своё письмо заканчиваю, хотя могла бы писать ещё и ещё, но боюсь уйти куда-нибудь далеко-далеко, нагородить кучу недоразумений, которые сейчас могут легко выйти из-под моего пера и принести тебе уйму*

*неприятного и тревожного — ты будешь много зря переживать и думать обо мне совсем не то, что нужно. Вот и пытаюсь поймать чувство меры.*

*Одно хочу сказать, что люблю тебя так же, как и прежде, даже ещё сильнее, хочу обнять тебя, быть ласковой и нежной. Вот видишь, как я переменилась, как переделалась на твой лад? Я знаю, ты не откажешься от нашей любви, не задашь себе вопросов сомнения, — ведь это она виновница всех наших перемен.*

*До скорого свидания!*

*Тысячу раз целую, твоя Лариска.*

*Спасибо за фотографию в форме. Как я и думала, она тебе очень идёт. Хотелось бы примерить твою фуражку. Мне пошла бы она, как ты думаешь? Обязательно надену, а ты посмотришь. Только не улыбайся и говори правду.*

*В прошлом письме ты загадал мне одну, в общем-то, приятную загадку, которую я пока не могу разгадать. Не забыл, какую? Приеду, напомню, а ты поможешь мне выйти из мук любопытства. Договорились?*

*Целую, Лариса.*

1.

Почему она так: и гонит на душу тревогу, и просит не волноваться? Как понимать это её письмо? Что случилось?

Письмо вместо радости высыпало кучу вопросов. Оно полно тревоги, недосказанных бед. Она приедет и всё расскажет, но как дожидаться её приезда теперь, если она уже и сейчас не может молчать, слова рвутся помимо её воли? А это же Ларка, она всегда умела справиться с собой, смеялась над чужими слабостями и не признавала своих. Значит, всё же что-то случилось и такое, что ей одной не под силу.

Письмо принесло мрачные мысли. И даже слова любви мне показались маскировкой главного. Она выплёскивала чувства, чтобы скрыть боль. Я так решил и написать ей, что она совсем не вправе молчать, что все её трудности — это наши трудности, и я обязан знать о них. Отослал письмо, уверенный, что оно её не застанет. Но иначе не мог — я должен был что-то делать, чем-то помочь ей, хоть как-то разделить её беду. Письмо ушло и будто совсем унесло мое спокойствие.

Оставалось только ждать её приезда, как ждут чего-то труднодоступного, но обязательного. И я ждал, уже не считая дни. Переносил нашу встречу с сегодня на завтра, с завтра па послезавтра, и так каждый день. Вставал и ложился с мыслью о ней — она сливалась как составляющая ночи, и меня преследовали беспокойные дни. Я верил — она приедет, но постепенно чувствовал, что устаю от неизвестности и ожидания.

А жизнь между тем продолжалась.

Мы всё больше углублялись в изучение самолёта, узнавали, из чего он состоит, как управляется, летает и обслуживается, и я постепенно влюблялся в авиацию, очень скоро понял: здесь стараются обойтись без пустой беготни, здесь неуместен показной парадный шаг, самодовольная напыщенность, здесь не размениваются на мелочные придирки — тут только один Бог: техника,

— ему молятся все, каждый с каждым здесь связан намертво, и потому просто необходимо работать так, чтобы потом ни товарищи, ни начальство, ни твоя собственная совесть не смогли упрекнуть тебя в недоработке, из-за которой самолёт отказал бы в воздухе. Людей здесь ценят не по надраенным сапогам и белоснежным подворотничкам, а по умению ладить с боевыми машинами. Добросовестность и знания почти везде в цене, но ведь и самому приятнее и спокойнее делать всё сознательно, авторитетно, без понуканий и толчков в шею, даже если падаешь с ног от усталости.

С пониманием таких истин появлялась лёгкость в службе...

### 2.

Сегодня пятница, и взвод топают в гарнизонную баню. Нам надо пройти по узкой, мощённой неровным булыжником дороге километра два, и мы шагаем, повторяя все изгибы дороги, между склоном и рекой. Собственно, город здесь уже кончился, только втиснутые то там, то сям — на немногих пригодных под стройку клочках земли какие-то отдельно стоящие объекты — склады, склады, что-то вроде мастерских за высокими заборами; всё вперемежку: военное и гражданское. И среди них жёлтое здание бани — небольшой одноэтажный сарай, одетый в рыхлую штукатурку, смотрит на дорогу узенькими окнами над просторным крыльцом. Баня, так сказать, отправная точка нашей службы, мы уже прошли через неё в одну сторону и, хотя понимаем, что назад хода нет, топаем сюда охотно — можно хоть что-то вспомнить...

Пройтись пешком по неровной дороге — она тоже частичка города с разными-разными мужскими и женскими фигурами, — можно искоса заглянуть в лицо, оценить и даже восхититься — опять-таки удовольствие. При нашей замкнутой жизни — в начале службы никаких увольнений, в город попасть можно только случайно, по какому-нибудь делу — лишний раз увидеть гражданские лица большая радость. Особенно — молодые женские. А красивых девчонок в городке тьма. Удивительно, но — как быстро мы от них отвыкли! Но не забыли. И потому тянемся к ним, тянемся — хотя бы взглядом.

Наша жизнь сейчас — узкая, бурливая река меж двух высоких берегов, называемых гражданкой — прошлой и будущей. От одного мы уже оттолкнулись, но нет пока возможности пристать к другому. Но мы знаем, это временно, берег подступится, пустит к себе, а пока надо лишь нестись по течению, быть на плаву, не дать себя утопить. И мы держимся, держимся. И пока только топаем строим в баню, и ловим приметы нового берега в зданиях, деревьях, встречных лицах, отпечатываем в душе как бы про запас — всё это обязательно к нам придёт.

Склон бесконечный и неровный, весь в осыпях рыхлого, бурого снега, скалит местами жёлтые зубы песчаника, окатывается вплотную к дороге и вдруг виляет, уходит в сторону, обнажая заросшие густым вишенником овраги. Справа от нас шумит Днестр, кажется, он никогда не замерзает — даже в самые сильные морозы мы слышали его глухое кипение, — река горная и, хотя от гор уже откатилась километров на сто пятьдесят, всё рычит, не может успокоиться. Вода в ней сейчас грязно-рыжего цвета, несёт всякий мусор, целые стволы деревьев.

Ещё про Днестр говорят, что у него двойное дно — под первым промыто

ещё одно, сообщаются они ямами-трубами, и люди, провалившиеся в эти ямы, исчезают бесследно — сильное течение волочит их между днами, а найти вторую такую яму в мутно-чёрной воде и выбраться — дело безнадежное. Даже водолазы не рискуют. Но это уже из области местных легенд, в общем-то, правдоподобных, но сержанты рассказывали, что летом купаться в реке курсантам строжайше запрещено. Были, мол, уже случаи...

На дороге жидкая, чёрная грязь от растаявшего снега, и мы хлюпаем сапогами по этой грязи — в строю дороги не выберешь, только сержант Малухин позади взвода в одиночестве вышагивает змейкой, словно слалом исполняет — с камешка на камешек, — у него сапожки новенькие, хромовые, надраенные, хоть смотришь, не то, что наши кирзачи. А мне на его сапожки смотреть противно.

Был у меня с ними случай. Ещё в первые дни службы определили мне место для сна на втором ярусе коек, а на первом, как раз подо мной, оказывается, обитал сержант Малухин. Нам объявили отбой, я забрался к себе, а сержант, естественно, в это время был ещё где-то по своим важным делам, когда он пришёл и улёгся, я не слышал, да и думать о нём не думал, знать не знал. Утром проревели подъём (сержант, конечно, не отозвался на призыв дневального и продолжал спокойно спать), я сиганул со своей койки, нацепил штаны и с ходу вогнал ноги в сапоги, а те оказались сержантовы — на три размера меньше. Я и так их, и сяк — сидят глухо. А рота уже стоит в строю, нервно одергивает форму. Старшина произнёс свою длинную речь по поводу моей невнимательности и неумения обращаться с солдатской амуницией, а мне было и так до слёз тошно, потом — из-за меня — роте опять отбой старшина объявил, правда, перед этим всем взводом сапоги с меня стащили, точно кожу содрали. А Малухин проснулся, прыг с койки и сразу за сапоги: не порвал ли, не повредил?! Что ему мои ноги?

Вообще сержанты у нас в школе все франты. Брючки ушиты предельно, гимнастёрочки подрезаны, на кителях в голубые погоны вшиты целлулоидные пластинки. А шинели и шапки — вообще курсантские, не на крючках, как наши, на пуговицах, из офицерских училищ добыты. Всё для форса.

А сапоги Малухина мне не нравятся, хоть и хромовые.

Вот и шлёпаем строем, рассыпаем горох под бдительным оком сержанта Малухина. Только услышит дробь, как бы очнётся и тут же резко, гортанно: «Взво-од! Р-раз — да-а, р-раз — да-а, р-раз — да-а — тр-ри...» И взвод подтягивается, заводится, как какой-то живой механизм.

Строй. Пожалуй, самая удивительная и парадоксальная штукавина в армии.

Мы с детства привычны к строю. В садике, в школе, в пионерском лагере — везде слова команды, марширующие колонны. «Эй, кто там шагает правой?левой, левой, ле-евой!» Всегда и везде! Мечта идеального государства — поставить всех в строй и дать команду к шагу. Неважно, что в строю перестаешь чувствовать себя человеком. Ты частица того монолита, что громыхает сапогами по асфальту или булыжнику дороги, тебе ничего не нужно, слушай только внимательно слова команды — и «ша-агом марш!» Куда? Не твоё дело. Куда надо, туда и приведут. Человека? Нет, колонну, роту, полк, отряд. Главное, чтобы все — в одну сторону. И если ряды вдруг поредеют, умей

быстро сомкнуться и шагать дальше без лишних вопросов. Что делать потом, тебе скажут, когда придёт время. И ты шагаешь, шагаешь строем — своего у тебя уже ничего нет, и потому передние шагают слишком коротко, задние — слишком длинно, зато все одинаково. Личностей уже нет.

Но без строя не может быть армии. Толпой ничего не сделаешь, не победишь врага. Толпа — это заранее лишние жертвы. Ещё македонская фаланга показала преимущества строя. И потому все армии спешили строиться. Строем можно многое, хотя бы пробежать столько, сколько в одиночку не одолеть нипочем. Строй — как бы в твоих интересах, вроде бы плечом к плечу, и нечего опасаться тыла. Это если смотреть, кто ты: личность или частица; если задуматься: зачем ты, для каких целей? Но нам пока кажется, больше всего строй удобен командиру — он всё знает, почти всё может, колонну вести легче, чем каждого в отдельности. Мы рассуждаем — каждый из своей строевой ячейки.

Как долго нас учат строю, и как быстро это умение пропадает при случае. Прекрати тренировки — и через неделю взвод уже не сможет пройти по плацу, печатая шаг, потому строевая — каждый день, чуть ли не каждый час... Пусть даже строй и противоестествен стадному характеру человека, пусть даже люди предпочитают брести гурьбой. Ну и что ж, если там каждый личность и старается выбрать себе дорогу сам?

Без строя нет армии. Это ясно, и мы шагаем, шагаем, сбивая о плац и булыжник подошвы сапог, хотя не совсем понимаем: зачем столько марша нам, механикам самолётов, ведь мы знаем точно: в полку строя не будет, разучимся печатать шаг в первый же день приезда в часть, такой уж это род войск — авиация, где каждый у своей машины личность. Но пока топаем — без строя нет армии.

Только не надо это в гражданскую жизнь, не надо детей ставить в строй, не надо седлать чьими-то принципами и взглядами чужую шею. Всё в своё время и на своём месте.

Взвод шагает в баню. Боевая единица прибывает к месту мытья...

3.

Я лежу на горячей плите и играю «в бильярд». Да, да, именно, «в бильярд». Потому что иначе моё занятие не назовёшь.

Сегодня в первый раз на кухне. И не просто кем-то там: уборщиком зала или посудомойщиком — мой наряд звучит веско, даже с оттенком горделивости: «помощник повара». Он говорит, что занятие у меня серьёзное, настоящая работа, на меня как бы украдкой смотрит вся школа: что и как будем вкушать сегодня? К тому же, повар Женя, женщина белокурая и симпатичная, лет тридцати пяти, — единственный гражданский человек в нашей огромной столовой, — смотрит приветливо и весело. Кажется, мы сразу понравились друг другу — сработаемся. Я был очень доволен, когда старшина зачитал против моей фамилии эту должность. Только сознание того, что предстоит чуть ли не сутки провести в таком обществе, располагает к приятным мыслям и хорошему настроению.

Вечер пролетел быстро, а утром Женя разбудила меня в половине четвер-

того — ехать на склад получать мясо и там же молоть фарш на котлеты. Ещё одна удача! Я сильно хотел спать, но все равно радовался: это ж надо, в моё дежурство и котлеты! Хоть раз наемся до отвала! Котлеты в армии — лакомство особое, дают их редко, вроде как для праздничного стола. Вспомнились сержантские рожи — они питались в основном на кухне, каждый по-своему дружил с поварами и извлекал из этой дружбы всё, что мог. Но сегодня второе лицо на кухне — я! А Женя эта — я не ошибся — нормальная бабёнка, опять смеётся, показывая ровные белые зубы, — с такой можно ладить...

В сизом тумане морозного утра у столовой уже урчала машина. Мы быстро втиснулись в кабину и поехали. С мясом управились быстро, состряпали фарш, вернулись готовить завтрак. Почти как всегда: каша с тушёной, чай с маслом. На обед Женя обещала котлеты и картофельное пюре.

Ловкими руками она лепила котлеты, панировала их в сухарях, складывала на большие противни.

Я ставил противни на горячую плиту и специальной лопаточкой переворачивал котлеты, отделяя от поверхности металла аппетитную хрустящую корочку, не давал им подгорать. Потом, уже готовые, — в большую кастрюлю.

Через полчаса корочки уже не казались аппетитными. Как я ни старался, котлеты всё равно подгорали, стреляли раскалённым жиром, струились отвратительным запахом горелого мяса и сухарей — я пропитался этим запахом насквозь, стал весь сальный и грязный. К концу второй тысячи котлет я уже не мог на них смотреть. Я сам был уже, как горячая свиная котлета.

Женя смотрела на меня и смеялась. Её белый халат, надетый на почти голое тело, уже не казался мне атрибутом обольстительности — оставались только жидкие капли осторожной почтительности к особе женского пола,

— Ну что, Володечка, как дела? — Она подходила к плите, отодвигала меня полным плечом. — Лучше прожаривай, лучше...

А мне хотелось ущипнуть её за бок. Но не игриво, а больно.

Кое-как дотянул до конца этой пытки. И вот теперь мне предстояло ещё одно дело: нужно было растолочь в котле картошку на пюре.

Котлы на кухне старинные, монастырские, вмурованы в большие печи и не имеют слива. Картошка варится сразу на всю школу. Женя подала команду кочегарам, те в подвале выгребли печку, минут пять она остывала, и Женя вручила мне длинную палку, похожую на бильярдный кий увеличенных размеров.

— А вода? — спросил я.

Женя развела руками:

— Мни...

Снял крышку. Полкотла воды, в ней плавают слегка разваренные картофелины: скользкие, вёрткие и не слишком крупные. Я лёг на горячую печку и начал играть в бильярд: ловить картофелину на кончик толкушки и бить ею в стенку котла так, чтобы раздавить. Каждый удачный толчок можно было принимать за хороший удар по шару. Я лежал на плите и чувствовал, как весь пропитавший меня котлетный жир нагревается ещё больше, сейчас зашкварчит, и я буду поджариваться, надо только крикнуть Жене, чтобы вовремя перевернула.

Едкий пот заливал лицо, а я целился в очередную картофелину и стонал

при неудачном попадании, гонял распаренные кругляки по котлу и мечтал о судомойке, проклиная свою утреннюю гордость. Не зря ведь Сашка Кузовлев так любит наряды на кухню, но просится только в посудомойку. Знает, паразит, что и как.

Кажется, всё. — Уже масса, жидкая, хлюпающая. Нет, вот ещё есть...

Наконец отвалил от плиты.

— Всё? — спросила Женя от разделочного стола.

— Да вроде бы... — ответил я, вытираясь полотенцем. — Какой-то суп получился, разливать можно.

— Ничего, через полчаса загустеет — ложка стоять будет, — ответила Женя и накрыла котёл крышкой. — Пропарился?

— Не очень... — скромно ответил я.

— Это полезно... — засмеялась она, — ревматизма не будет...

Я смотрел на неё, и мне не хотелось уже её ущипнуть. Теперь я просто удивлялся: маленькая же она, женщина хрупкая, слабая, но через каждые трое суток крутится здесь, со всем управляет; всё проходит через её тонкие пальцы, и ничего, не теряет присутствия духа... А что же я?..

Странно, но, проработав в тот раз на таком «смачном» месте, как кухня, за день я не ел почти ничего, и главное, мне совсем не хотелось. Это никак не вязалось с нашими солдатскими аппетитами.

В общем, текла жизнь. И может быть, все мои печали были ей просто смешны и нелепы, не стоили ничего путного. Двигалась, несмотря ни на что... Без Ларки...

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

16 марта

г. Северодонецк

*Володя, что делать человеку, если ему элементарно не хочется жить? Как ему поступить, когда он видит, что вокруг подло и гадко, а у него нет даже слов, чтобы описать всю эту низость, выразить возмущение? О чём думать, когда вдруг лопается радужная, глупая вера в хороших людей, в их надёжность и порядочность?*

*Как жить без веры, без ощущения справедливости, чувствуя лишь собственную беспомощность?*

*Всю жизнь ты учишься обходить острые углы, стараешься не царапаться, не набивать себе шишек, ты уверен, что постиг эту способность, всё в жизни понимаешь, многое умеешь, и вдруг видишь, совсем неожиданно узнаёшь, что всё это миф, чепуха, ничего ты не можешь и острые углы ты научился просто не замечать, будто их и нет вовсе, приобрёл способность не понимать, что о них поцарапаться просто радость по сравнению с вероятностью проткнуться насквозь.*

*Дуракам спокойнее, их постоянно учат, но они этого не замечают.*

*Близкие тебе люди близки до тех пор, пока однажды с удивлением не обнаружишь пропасть между собой и ними — бездонную и безжалостную, — и самое плохое в этом, что заметить её зачастую можно, уже свалившись.*

*Нельзя же так, нельзя! Как жить и смотреть в улыбающиеся лица подлецов — а их всё больше с каждым днем, с каждым шагом, с каждым твоим*

словом? Всё перемеряно, всё переимено, вывернуто наизнанку. Нас, глупых, с детства учат одним ценностям, а в жизни, оказывается, они совсем другие — не нужно быть ни умным, ни талантливым, — умей говорить так, делать так, знать то и будешь иметь это — в смысле: всё, что хочешь. Только не отступай никогда, не предавай. Все законы, все нормы, условия — побоку, жить только так, как живут целеустремлённые люди: положение, деньги, связи, родственники. Без этого тебе каюк!

*Но самое страшное увидеть подлеца во вчерашнем друге!*

*Так что же по-настоящему ценное в нашей жизни, если даже сама жизнь не имеет ценности? Каждый думает: «Я, только Я, ни в коем случае не Ты, не Мы, ни, тем более, не Он, не Она!*

*Да, скажешь, развела тут мрачности. Но пойми, сегодня я не могу иначе, сегодня я такая и есть, ты уж прими меня такой — я же знаю, для тебя это не будет слишком трудно, ты ведь готов для меня на всё. Не так ли? Или я ошиблась? Для меня это был бы последний удар.*

*Я не хочу ошибаться в тебе, не хочу!*

*И я этого не сделаю! Как не сделала раньше.*

*Володя, прости, я не могу сейчас написать тебе много и обо всём. Думала, расскажу подробно, заручусь твоей поддержкой, да не выходит — бумага есть бумага. Слишком много чувств, а шариковая ручка не штамп, которым можно оттиснуть всё разом, — пока пишешь одно, другое кипит, пылет, валится с пера. К тому же мне нужны твой взгляд, твой голос, твой немедленный ответ. И хотя я уверена, ты не подведёшь, всё будет так, как нужно мне, всё равно я хочу слышать без задержки. Потому надо собраться, взять себя в руки. Лучшие приеду и расскажу всё, как есть, тебе единственному, которому так же неизменно верю и которого по-прежнему люблю. Я знаю, ты всегда будешь со мной, никогда не отступишься, не отвернёшься, что бы ни произошло. Я буду смотреть тебе в глаза и рассказывать, рассказывать, пока не успокоюсь. Ведь мне же больше не на кого опереться, да и желания нет совсем делиться ещё с кем-то.*

*Жди меня, пожалуйста, хорошенько жди, осталось совсем немного.*

*Целую тебя, как и прежде, твоя Лариса.*

1.

Теперь уже точно: что-то случилось! Но что же, что? Неразрешённая тревога, опустошив душу, вонзилась в сердце. Она засела в нём накрепко, (казалось, навсегда). Но надо же что-то делать, просто необходимо помочь ей, моей Ларке. Я хорошо понял: ей там плохо, очень плохо и трудно одной, без меня. Я должен быть там, рядом с ней. Если не узнаю всё, сойду с ума...

Рванулся к Гладилину.

— Командир роты в командировке, будет через неделю. — Чёрные глаза капитана Маринеску смотрели холодно, буравили душу. — Вы что-то хотели, товарищ курсант?

Сказать или не сказать? Как-никак заместитель, сейчас при исполнении. Нет, не получится, всё напрасно. Слишком красив Маринеску, прям, уверен в себе. Не поймёт. Да и не сможет ничем помочь.

Как же всё это сложно!

Когда начисто отбиваются и отметаются любые желания, когда личное, человеческое искусственно делается мелким, маловажным и даже в какой-то мере постыдным по сравнению с некоей особо значительной общей задачей, когда твоя натура перед ней ничто и ты просто тот самый «винтик», о котором уже так много писали и который как бы не может существовать без самой машины, громадной и мощной, вряд ли кто возьмётся выручать тебя, потакать твоему «нужно». Даже если и понимает всё отлично, не станет из-за тебя спорить с машиной.

Но винтик в ней снаружи, хоть какая-то, но форма, обеспеченная потребностью самой машины, зато внутри — ничего, сплошная масса, где-то твёрже, где-то мягче, но обязательно однородная.

Но ведь и металл из чего-то состоит.

Кристаллическая решетка, молекулы, атомы.

Они разные, непохожие, беспокойные.

Вращаются электроны, идут какие-то процессы.

Мёртвый с виду металл, живёт, движется.

Нужно иметь большое желание рассмотреть эту жизнь и понять, найти для этого способ.

Нужна смелость вывернуть винтик из монолита, не побоявшись остановки всей машины.

А как же быть живому человеку, солдату? Куда деть его чувства, ощущения, тревоги и заботы, радость и тоску — всё, выданное людям природой?..

Я был уверен: Гладилин мог увидеть и не побояться, Маринеску — нет. Я сомневался, даже при нашем всеобщем восхищении им как офицером.

Но нельзя же так с человеком, нельзя! Где бы он ни находился. Иногда ведь личное даётся единственный раз, миг этот мимолётный и неповторимый — не упусти его! — он строит жизнь раз и навсегда, переводит стрелки, направляя судьбу по одной, нужной тебе дороге, такого момента у тебя может не быть больше. Так можно ли считать его мелким и незначительным?

— Мне кажется, вы чем-то озабочены, — сменил тон на дружеский капитан Маринеску, и мне на секунду поверилось — поможет!

Я нерешительно молчал, и сомнения возвращались, накатывались, точно приливная волна, всё сильнее и выше...

— Ну? — В голосе капитана уже сквозило нетерпение.

— Нет, ничего... Разрешите идти?

— Идите...

Дальше всё, как в каком-то сне. Перед глазами непрерывно — несчастное лицо Ларисы, в голове — уехавший куда-то Гладилин, сквозь этот сон прорываются тревожные вопросы ребят:

— Вовка, ты что?

— Ничего...

— Нет, ты скажи, что случилось?..

Как будто я знал это.

Я отмахивался и убегал. Мне нужно побыть одному. Ведь никто же, никто не сможет помочь...

Но я должен увидеть её, обязан узнать!

Ближе к вечеру я решился. И пусть потом будет что угодно, другого пути нет...

2.

В каждой части есть своя дорога у самовольщиков. О ней знают все, кому это знать необходимо, о ней не подозревают все те, кто не то что подозревать, догадываться о подобном не должен. У нас тоже была такая — дырка, вернее, щель в монастырской стене на заднем дворе, в глухом углу за складом военторга. То ли ещё монашки проделали эту дырку для каких-то своих нужд, то ли поколения курсантов с настойчивостью термитов проскребли себе окошко на волю.

Дырка изредка заплеталась проволокою, загораживалась каким-то хламом, но почему-то никому из начальства не приходило в голову прислать сюда сотню кирпича и приказать дырку заложить. Может, знали, что дело бесполезное. Щель была длинной и очень узкой, потому, наверное, мало подозрительной, раньше она, видимо, была ещё уже, но животы и спины годами делали своё дело — песчинка за песчинкой подтирали стенки. Но всё равно человек с пятидесятым размером рисковал застрять в ней намертво, большинству же наших она подходила вполне, а монашки вряд ли были толще нашего.

В самоволку курсанты ещё не ходили — рановато, это была привилегия сержантов — помкомвзводов; они служили по второму, третьему году, распорядок дня у них был условный, а встреча с боевыми полками им грозила как крайняя мера, потому у каждого в городке, где девчонок было тьма, а парней почему-то мало, имелась зазноба, нетерпеливая и ждущая. Но о дырке мы знали, и сейчас она для меня была больше, чем друг, больше, чем вся наша школа, да и вообще — весь мир, она была выходом из пещеры монастырских стен, дверями в коридор, который вёл к Ларисе.

Я должен был узнать, что случилось!

Не могу сказать, заметно ли было что по мне внешне или нет, — я не думал об этом, но всё, что меня окружало в тот миг, стало вдруг маловажным и как бы посторонним, я не очень-то интересовался собственным видом в глазах роты, только тайна моего свидания со щелью в заборе всё же должна была остаться тайной, и я старался, чтобы так оно и было.

От ужина до отбоя три с половиной часа. Этого вполне хватит, чтобы уехать из города. Деньги? Кое-что было, не хватит, конечно, но так ли это важно, когда душит, сжигает одна-единственная цель, ради которой поступаешься всем? Есть же ещё электрички, где не очень-то спросят билет у солдата, автобусы, попутные машины, собственные ноги, наконец, — ведь не так уж это и далеко, если разобраться, можно доехать. Об остальном я не думал — цель была конечной и за ней для меня ничего не существовало.

Я собрался. Достал из обложки военного билета деньги, пересчитал, положил на место, нащупал в тумбочке две пачки сигарет — последние из присланных из дома, — сунул их в карман. После ужина, когда братва рванула к телевизору, шахматам, письмам, незаметно вышел из роты, медленно пошёл в сторону военторга.

Быстро распутал жидкую проволоку в дырке. На улице ранние сумерки,

они обливают забор, деревья в садике напротив, пустынный тротуар неясным лиловым светом, пронизывают на всю длину из конца в конец, — улица лежит за забором, как пропасть у подножия скалы.

Лучше бы, конечно, попозже, но время, время — мне нужны хотя бы сутки, а у меня всего неполных три часа — хватит ли? П я решительно шагнул в пропасть...

До главной, самой длинной улицы города метров триста, а там полчаса хода до вокзала. Я шёл быстро, боясь оглянуться.

Всё-таки мне повезло. Не нарвался на патруль, не встретил никого из знакомых офицеров. Поезд на Киев приходил через двадцать минут, отправлялся спустя две минуты, билеты в кассе были. Я взял подешевле, в общий вагон, да и нужен ли был мне сейчас другой! Если бы поезд пошёл быстрее от этого, меня вполне бы устроил и тамбур...

Но зелёные вагоны так медленно и нудно втягивались на станцию, что у меня заныли зубы от нетерпения, две минуты стоянки показались вечностью, а полка вагона — раскалённой плитой... Ну, наконец-то — я облегченно вздохнул — небольшое жёлтое здание вокзала поплыло назад. Я очень боялся, что не смогу уехать, — в маленьком городе так редки поезда и так часты случайные встречи. Но теперь, кажется, всё...

В вагоне полумрак, горят лишь тусклые грязные лампочки в проходе, но пестро и шумно, — народ в основном деревенский, с корзинами и мешками, с базара, наверное, едут и недалеко — одну-две остановки. Кто-то что-то уже рассказывает, кто-то достал полкруга домашней колбасы, закусывает под солёный огурчик, кто-то занят ещё чем-то. Я отвернулся, стал смотреть в окно, сереющее на стекле последними всплесками умирающего дня.

— Сынок, исты хошь? — спросила бабка напротив.

Я покачал головой.

— Да ты не стесняйся, бери... — Она протягивала мне кусок сала с хлебом.

— Нет, спасибо... Я, правда, не хочу...

С собой бы взять, пригодится. Да разве попросишь?

— Ну, як хошь, — обиделась бабка и спрятала сало. Станция уже убежала, и за окном потянулся всё тот же склон.

— Володь... — Чья-то рука легла мне на плечо. Игорь! Саня! Почему они здесь?! Я невольно вздрогнул.

— Выйдем в тамбур... — Игорь убрал руку, отодвинулся в коридор. Бабка напротив, забыв про обиду, с интересом уставилась на нас, роняла крошки от своего бутерброда на своё выходное, синее в белый горошек платье.

— Зачем? — Мне было все равно.

— Поговорить надо...

Я посмотрел на бабку и пошёл в коридор впереди Игоря. За Саней. «Как под конвоем, — почему-то подумалось мне, — уже арестовали...» Весёлого было мало. Неужели Маринеску послал?

Тяжёлая дверь в тамбур захлопнулась. Саня протянул мне сигарету.

— Ну что ты делаешь, идиот? — Это Игорь.

Я молчал.

— Думаешь лбом стену прошибить?

— Не твоим же, Игорь?

— Если б получилось, я б отдал свой лоб.

— Кто вас послал?

— Да никто. Мы сами.

— Как узнали?

— Извини, — сказал Саня. — Мы знали, что так будет. Пришлось за тобой немножко последить.

— Так вы тоже... в самоволке?..

Теперь уже молчали они.

— Мне надо уехать, — отрывисто сказал я. — Вы меня не видели, договорились?..

— Что случилось? — спросил Игорь.

— Не знаю, — ответил я и посмотрел на него. — Честно, не знаю. Потому и еду...

— Ты получишь пару лет дисбата. Потом всё начнётся сначала.

— Ну и пусть. — Мне действительно было всё равно.

— Надо вернуться, — сказал Саня.

— Не могу.

— Ты подумай. Приедет ротный, будешь просить отпуск.

— Нет, уже поздно. — Я двигался вперёд, и мне казалось, уже ничто не может мне помешать. — Потом это будет не нужно.

— Пошли в вагон, — решительно сказал Игорь.

— Зачем?

— Мы едем с тобой.

— Вы? Для чего?

— Один ты не доберёшься. Солдат-одиночка всегда подозрителен. Всё равно где-нибудь загребёт патруль. А трое — это уже подразделение, где надо, строим протопаем.

— И денег у нас больше. — Саня полез в карман, достал деньги, точно хотел меня убедить. Зачем? Я знал, он вчера получил перевод.

— Ладно, мужики, хорош дурью маяться! Дуйте в школу.

— Идёшь в вагон? — Игорь приоткрыл дверь тамбура.

— Вы не должны этого делать...

Я смотрел на них и понимал, они всё равно поедут. Они уже всё решили. Друзья ведь, да ещё армейские. Но им-то зачем дисбат? За дружбу? Кто поверит? Как они объяснят родным? Мое бегство как-то ещё можно оправдать, а их?.. Кто поймёт, что всё это ради дружбы? Разве рассудок не заменит друга? Им влепят ещё больше.

Я стоял и думал, а они ждали. Тут должен кто-то уступить, должен...

— Ребята, к отбою успеете...

— Кончай ветер языком гонять!

Нет, они не уступят, настроены решительно, я видел это. Они ведь старались помочь мне. Но как же я? Неужели придётся подставить их ради своего неизвестного? Нет, не могу.

— Парни, ну отпустите...

## Красные оани

— Ты знаешь, я был лучшего мнения о тебе, — сказал Саня.

— Я тоже, — отозвался Игорь.

— Я согласен на любое ваше мнение, но отпустите.

— Ты обижаешь нас, Вовчик, — сказал Игорь.

— Не буду...

— Вот и хорошо.

Помолчали ещё.

— Следующая станция почти через час, — сказал я. — Как мы выйдем?

— А вот так! — Саня распахнул наружную дверь тамбура. — Смотрите, подъём ещё не кончился, поезд идёт медленно... Ну?

Мне не хотелось, во мне всё бунтовало против. Я хватался за ниточку, но она рвалась вместе с нанизанными на неё мыслями и надеждами последних дней. Нужно было смириться, связать себя, переступить... через свое чувство к Ларисе. Ларка, Ларка, как ты сейчас там? Прости, я всё могу сделать и сделать попытался всё, но я не в состоянии подставлять своих друзей. Даже ради нас с тобой. Прости, но это очень серьёзно. Их ведь тоже ждут девчонки — ты поймёшь... Но я всё равно что-нибудь придумаю ещё...

— Давай, — сказал я Сане и отвернулся.

Саня прыгнул, исчез в густых сумерках, точно нырнул в сочную синеву тёплого моря.

Я подвинулся, пропуская Игоря.

— Давай ты, — сказал он.

— Не веришь? — усмехнулся я.

— Верю, но... — Он смотрел твёрдо.

Я шагнул на подножку. Подъём кончился, и поезд понемногу прибавлял хода. Сырой, но почему-то тёплый ветер упирался в лицо. Он толкал в грудь, щекотал ноздри и зачем-то пахнул весной, заставлял забыть о прыжке и стоять, стоять на подножке.

— Ну? — не давал передышки Игорь. Я выбрал момент и прыгнул...

Приземлились все, в общем-то, нормально. Только Игорь слегка подвернул ногу. Он прихрамывал, но идти мог вполне самостоятельно, только медленнее, чем хотелось бы. Железная дорога поблёскивала отражением неизвестно чего — ни луны, ни звёзд на небе не было, — направляя нас. Мы брели по мокрой, грязной насыпи, изредка сбегали вниз, пропуская встречный поезд. Хмурое небо висело над головой, а ветер уже не казался весенним, постепенно он становился холодным и злым. Он толкал меня в грудь, точно не хотел пускать назад, в школу, но делал это как-то неуверенно, точно сам не знал толком, чего хочет. Я шагал навстречу ветру, потому что так пришлось шагать, и всё больше не понимал, что сделал правильно, а что нет.

К отбою мы опоздали на полтора часа. Возле дневального сидел наш старшина и молча «метал по сторонам молнии» — ему давно надо было отдышать в кругу семьи дома. На нас он выступать почему-то не стал, видно, выговорился уже дневальному, отметил наше опоздание в ротном журнале, и ушёл, а утром мы получили от Маринеску по пять суток «губы», как самовольщики. И этому нужно было радоваться: нам, можно сказать, повезло, мы не наткнулись в городе на патруль или на кого-нибудь из большого начальства — это было бы ЧП гарнизонного масштаба.

Маринеску долго смотрел на нас, не решаясь наказать. Он не понимал, с чего это, в общем-то, хорошие солдаты отправились гулять да ещё так неграмотно и неосторожно. Пытался что-то выяснить, но мы молчали. Наказывать было надо, и он сделал это.

3.

Школьная гауптвахта — маленькая комната при караульном помещении. Ни решёток на окнах, ни внушительных запоров, только маленькое окошко выглядывает в глухой дворик. Крашенные зелёной краской стены покрыты пёстрыми надписями, вдоль стен жёсткие дерматиновые кушетки. Она сильно отличалась от классических гарнизонных гауптвахт, где ретивые коменданты, стараются довести своё хозяйство до совершенства, будто не для проштрафившихся солдат она, а для закоренелых преступников. Но, как говорится, каждый действует согласно собственным понятиям и служебному рвению.

На нашу «губу» вряд ли часто заглядывает большое начальство, потому жить здесь можно, даже сигарету сунут иногда в окошко, если в карауле кто-нибудь из своих. Кушетки на день не убираются, хозработы нетрудные и только до обеда, потом уборка помещения и можно отдыхать. Тоскливо и скучно, если в одиночку, сутки непомерно длинные и пустые, если долго не с кем поговорить, но хуже, когда сосед попадётся скотина скотиной, из тех, кто, постепенно опускаясь, превращается в постояльцев «губы», тогда не переслушаешь его бывальщины, не обоймёшь гордости за многоопытность, не перечтёшь подвигов...

Замок на двери — тяжесть для каждого нормального человека.

Но сейчас ребята, кажется, довольны — легко отделались, — лежат на кушетках с таким видом, будто это роскошные лежа фешенебельного курорта. Смотрят на меня, помалкивая, но почему-то улыбаются. Понимают, пока меня лучше оставить в покое, дать прийти в себя, перегореть, передумать. Я догадываюсь, довольны они тем, что здесь я, с ними, а не где-нибудь под серьёзной стражей. Но всё равно я психую на них, на их улыбочки и многозначительное молчание.

Изредка мы говорим о чём-нибудь, но старательно избегаем вспоминать события последних дней.

— А что? Совсем неплохо, — первым заговорил Саня. Он, лежа на кушетке, колупал ногтём зелёную стену. — Гля, мужики, какой-то Витя расписался. Вот: «Витя М, г. Нальчик». Почти земляк — и то приятно. Два года назад. Уже, наверное, дома, паразит, или сапоги драит на дороге домой.

— Да. «Оставил память Витя Мошкин», — отозвался Игорь. — Тот не солдат, кто не сидел на губе. Теперь и мы удостоились — солдаты.

— Тут-то и делов всего, — оказал Саня, — двор подмести, бачки мусорные на кухне почистить, дровишек нарубить да двадцать печечек растопить, потом обед срубить и на боковую. Лафа!

— Была б ещё здесь печка, так вообще, не жизнь, а малина... — сказал Игорь.

Вот так и плелась всякая чепуха, словно ничего не произошло и попали мы сюда в командировку.

Освободили нас через три дня. Приехал Гладилин, очень, наверное, удивился и приказал выпустить. Снизил наказание, может, за хорошее поведение на «губе», не знаю. Нет, Маринеску на него не обиделся, по всему, он был в курсе дела.

Я не пошёл к Гладилину просить отпуск. После гауптвахты это было бы бесполезно. Да и не хотелось почему-то...

4.

Уплыл по белесо-мутной, клокочущей воде грязный, ноздреватый лёд вниз по реке, сошли тёплым паром виноградники на склонах русла, загомонили, отвоёвывая себе жилплощадь на деревьях вокруг школы грачи, лопнули почки, выбросили к солнцу нежную зелень первой листвы, и, наконец, раскипелись розовато-белой пеной маленькие вишнёвые садики городка, а Лариса всё молчала.

Всё дальше уходили в память камни родного города, отодвигались лица, голоса друзей, тепло Ларкиных рук, знакомые звуки и запахи, затирались чёрными, тяжелыми снами ранних подъёмов и тёмного, простуженного бега по ночным склонам первого школьного месяца, которые тоже удалялись, уходили прочь, — школа постепенно становилась нашим домом, наверное, мы привыкали, уже не просто отбывали положенные нам сроки службы, а жили обычной жизнью, с вполне нормальными для всех трудностями и радостями. Распорядок дня, который так жестко жал нас в декабре-январе, теперь делился, и можно было найти время для чего-то личного или просто отдохнуть, появились какие-то интересы и доступные увлечения. Говорят, человек, особенно русский, может привыкнуть ко всему. Только резко вырванные из привычной среды, покинувшие её не по своей воле, мы вынуждены были привыкать долго и трудно, и как сказать — оправдан был этот вырыв или нет? Но пока другого пути нет...

5.

В начале мая на мое имя пришёл толстый конверт. Я отсылал вроде бы тоньше. Большого формата, с синим штампом журнала в верхнем углу, конверт выглядел внушительно. Вскрывать собрались втроём.

Над школой плывёт еле уловимый запах цветущей липы. Он разлит над всем городом, гонит его ветерок вдоль Русла, а где сами липы, никто не знает.

Ушли на стадион. Здесь, в этот час перед ужином, пустынно и тихо, и мы — с конвертом, словно заговорщики с тайным посланием. Сели на траву у кромки футбольного поля.

Я давно всё понял, но сам не могу — всё равно дрожат руки, рывками прыгает сердце. Протянул конверт Игорю — он у нас самый решительный, на всё смотрит проще.

— Я?

— Ты. Давай.

Он разорвал конверт даже бесцеремонно, словно рванул меня за шиворот. В конверте три листка моих стихотворений и письмо на машинке, длинное, с фирменным знаком журнала.

Я — Игорю:

— Читай.

— Читай сам. Письмо тебе...

Ага, не хочешь читать! Куда делась твоя дофонаренность?

Прошу читать Саню — он главный виновник этой переписки. Саня берёт его так, точно оно стеклянное, начинает нудным голосом. Они тоже всё поняли, и никому не хочется читать письмо.

— Ну? — для приличия говорю я.

— *«Уважаемый Владимир! Редакция очень внимательно ознакомилась с Вашими стихотворениями. Можно отметить — некоторые достоинства, в них есть, но в общем-то, — это только задатки поэзии, потому опубликовать Ваши стихи пока не представляется возможным и мы их возвращаем.»*

*Вы человек, не лишённый определённых литературных способностей, поэтому, с Вашего позволения, хотелось бы дать небольшой совет. Ваши стихи относятся к так называемой лирике, и вы, верно, знаете произведения русских поэтов-лириков, читали их, полюбили, и Вам, несомненно, кажется, что это наиболее простой способ самовыражения автора. Однако это далеко не так, и Вы, надеюсь, сами понимаете, Ваши стихи не могут претендовать на совершенство. Вам надо ещё много работать над своими произведениями.*

*Сейчас Вы проходите замечательный период Вашей жизни — службу в армии — так пишете же о ней, пробуйте перо, нацеливайтесь на героиню военной службы, ради которой наши доблестные воины выносят все тяготы и лишения. Вы близки сейчас ко всему этому, так сказать, можете брать из первоисточника, он у Вас на ладони, и тема эта неисчерпаема, так приложите к ней свои способности, а опубликовать стихи Вам поможет Ваша окружная газета — посылайте туда.*

*Примите наш совет и подумайте хорошенько, если в дальнейшем собираетесь пробовать свои силы в литературе. И читайте как можно больше хороших поэтов, они помогут Вам.*

*С уважением, редактор отдела поэзии П. П. Петухов».*

*P.S. Обычно мы не отвечаем авторам, Вам сделано исключение. П.П.*

Несколько секунд молчали. Потом я выхватил письмо у Сани и быстро-быстро порвал на мелкие кусочки. Иначе я не мог — он наступил на мои чувства, культурненько плюнул мне в душу своим советом, этот Пэ Пэ Петухов. Все произведения о любви, о лучших человеческих чувствах по-своему банальны, они повторяются из века в век, но никто ещё не назвал банальной саму любовь. «Вы человек, не лишённый способностей», но «подумайте хорошенько!» Это было хуже всего. Лучше бы сразу: «плохо», «слабо», «бездарно». Это была бы уже конкретика.

Всё вроде и неплохо, да всё не так... Как и в ответе Петухова.

Но в душе уже поселилась досада... на самого себя.

Первым не выдержал молчания Игорь, оказал:

— Мутота какая-то! Что ты думаешь, Вовчик?

— Не знаю.

— Он уверен, мы тут оловянные солдатики, ничего не чувствуем, ничего не понимаем, только службу несём согласно записям в уставе. Козёл!

— Что толку об этом говорить?..

— Лириков приплел, — всё равно подключился Саня. — Ему, видишь ли, сразу Блока или Есенина подавай. А сами сплошь галиматью тулят.

— Да они и Есенина не напечатали бы, — сказал Игорь. — Сколько лет мурыжили?

— Интересно, сам-то умеет, как классики?

— Откуда, Саня? В какой рубрике ты читал фамилию Пэ Пэ Петухов? Советовать всегда легче, чем делать самому.

— Говорил вам, зря затеваете с журналом, только припозорили. Хотели, чтобы Пэ Пэ меня в угол поставил? Поставил... Не поэт я.

— Ну, ты прямо сразу в пузырь. Первый раз всегда так. Но ничего, мы пошлём в другой журнал или газету — вон их сколько. Не везде ж эти петуховы заседают. — Саня вдруг замолчал, словно засомневался в своих словах, потом добавил:

— Пушкины раз в тыщу лет рождаются. Ты только пиши ещё, обязательно пиши. Главное, чтоб в стихах душа была. Назло Петухову...

Чем яростнее они нападали на Петухова, тем больше росло во мне это чувство досады, — я понимал, что прав он, этот Петухов. Стихи на самом деле слабые, можно сказать, дрянь. Но я-то поддался на уговоры друзей, которые от души хотели сделать как лучше, продвинуть мои литературные способности, и я решил сам с собой «сыграть в орлянку». С чего это я удумал так просто напечататься в солидном столичном журнале, не занимаясь серьёзно стихотворчеством,?

— Чего вы к нему прицепились? — сказал я.

— Раз он там сидит, должен всё видеть и понимать. Это не кашу пробовать, — отозвался Игорь.

— Мы же тебя понимаем и уже любим твои стихи, а мы читатели, что ещё? Ты пиши... — Санины глаза светились искренностью, и я поверил — он читатель! Только что с того?

Я видел, что они уже отстаивают не стихи, а нашу дружбу, — литература ушла куда-то на задний план. Они не знали, что делать этого нельзя, что замена литературного качества дружеским участием приносит только вред, что невозможно заниматься литературой без острой в этом занятии потребности, без отдачи ей всего себя.

— Не буду, — упрямо пообещал я и пошёл со стадиона. Нельзя писать только из-за того, что тебя просят...

6.

Время шло, а я всё ждал Ларку, надеялся получить хотя бы письмо от неё. Я был уверен, со мною ждуют и парни. Я прятал от них глаза и почему-то чувствовал себя виноватым, точно пожадничал, не поделился с ними кусочком своего счастья, а теперь притворяюсь, вру, что ничего у меня не было. Они не задавали вопросов, я знал: глядя на меня, они думают совсем не так, но всё равно прятал глаза. Мне было больно и ещё — стыдно, что ничего не

могу сказать. О Ларке теперь не говорили совсем, как не говорят о чём-то трудном для всех, лишь как-то однажды Игорь сказал:

— Вовчик, не надо хандрить, всё это временно. Постарайся просто ждать — терпение всегда вознаграждается...

Я и сам знал — это временно. Только что именно? То ли что было у нас, то ли что есть или ещё будет? Я не почувствовал уверенности в его голосе. Он не умел играть. Мы сидели тёплым майским вечером на скамье курилки у плаца, смотрели, как солнце выбрасывает красноватые лучи из-за склона, поджигает лёгкие белые облака. Дым сигарет не улетал, подолгу полосами висел в воздухе и как-то незаметно таял, исчезал. Проносились, высверливая воздух, майские жуки, на школу, как вода в воронку, стекала тёплая, тягучая тишина. Возле клуба толпились солдаты — скоро должен был начаться фильм.

Саня ничего не говорил. Он сидел, развалясь, на скамье и в промежутках между затяжками поглаживал недавно отпущенные усы.

Внезапно я понял: это всё! Она никогда не приедет. И больше не напишет. Что-то оборвало ниточку, столько лет связывавшую нас. И надеяться глупо. Надо встряхнуться и понять. Как? Что? Почему? Оставались ещё вопросы, но они уже не имели решающего значения.

Я встал.

— Всё, она не приедет!

Ребята молчали. Саня щипал себя за ус. Игорь смотрел, как его сигарета истекает тонким голубым дымком, потом забрал её у Сани, бросил в ящик для окурков. Если бы кто из них спросил у меня: «Почему?», я не смог бы ответить, потому что не знал, а строить предположения мне не хотелось. В голове проносились годы наших отношений, наши неумелые встречи и частые расставания, вспоминались письма. Мне было грустно, но почему-то не больно. Наверное, я давно осознал всё и был готов к этому. Ничего не хотелось выяснять, не было желания что-то знать — так лучше, пусть не будет виноватых и пострадавших. Впервые я нашёл то, что долго искал: ясность уже встала между нами. Пусть не та, пусть горькая, но всё же...

— Пошли, в кино опоздаем, — оказал я и первым двинулся по дорожке к клубу...

На второй день я всё же написал ей письмо, которое назвал последним. Я долго думал над текстом, я не знал, что писать, о чём спрашивать, винить или просить прощения — я ничего не знал, потому нацарапал лишь несколько строчек и заклеил конверт. Я, мол, есть ещё, и во мне ещё совсем не угасла надежда. Несколько дней не решался написать адрес. После длинных раздумий выбрал более верное и вывел на конверте: «г. Новошахтинск...» Мне казалось, так лучше...

## 7.

Пролетело лето, заполненное практически занятиями на аэродроме и ночными, в свете прожекторов и в всплесках взрывпакетов, тревогами. Прошёл сентябрь, вдоволь накормивший нас виноградом и дизентерией. Настало время расставания со школой. Мы сдали выпускные экзамены, получили звания младших авиационных специалистов и назначения по боевым частям.

Постепенно рота разъезжалась. Казарма наша пустела, много коек стояло голыми, занятий не было совсем, а в столовой дневальным с каждым днём всё легче и легче становилось накрывать столы. Отбывающие перешивали, подгоняя новенькое обмундирование. Ротные офицеры, привыкшие к нам за год, порастеряли где-то обычную строгость и часто, сидя в кругу солдат, за просто что-нибудь рассказывали и смеялись вместе со всеми. А уж сержанты, те вообще стали самыми верными и заботливыми друзьями, помогали всем, чем могли. Как ни странно, нарушений дисциплины в это время не было совсем, всюду веяло грустью по старому и радостным возбуждением к ещё неизвестному новому, каждый спешил и не торопился.

Первым из нашей тройки в Закавказье уехал Игорь. Через три дня на западную границу отбыл Саня. Мне предстояло ехать на восток, в знойные, полупустынные степи. Судьба разбросала нашу дружбу в разные стороны, словно испытывала нас и предлагала посоревноваться со временем.

Уезжая, я чувствовал, как рвётся последняя паутинка связи с юностью, с теми переживаниями, которые выпали на нашу долю, с привычными симпатиями и горячими увлечениями, со всем тем, что дали мне переписка и встречи с Ларисой — первой девушкой, которую я всё ещё любил, хотя и не смог уберечь для себя. Можно сваливать на судьбу, на обстоятельства, пенять на невезение, извинять неумением, наконец, но факт всё равно был бы фактом, и теперь у меня оставались от неё только тоненькая пачка писем, которую я бережно перевязал нитками и уложил на самое дно своего чемоданчика, десятка три её писем дома, в ящике моего стола, да воспоминания и горечь по несбывшейся мечте. Со мной ехали ещё трое курсантов из нашей роты. Выйдя из ворот школы, я отстал от парней, остановился и долго смотрел на такие знакомые очертания старинных зданий во дворе с высокой колокольней солдатского клуба, на длинный охрянистый забор вдоль улицы и зелёные ворота с красными металлическими звездами, закрывшиеся за нами решительно и наглухо.

«А ведь могут и не пустить уже...», — подумал я и медленно, не оглядываясь, пошёл к вокзалу.

Опять новые разлуки; рвутся ещё не совсем налаженные связи, теряются едва приобретённые друзья. И нужно всё начинать заново. Так всегда было и будет, и от того, насколько у человека хватает сил и желания повторять это, создавая на разрушенном, зависит вся его жизнь, именуемая людьми судьбой.

Стояла удивительная осенняя тишина — последнее спокойствие и нежность природы перед длительным ненастьем. С деревьев слетали красно-жёлтые листья, беззвучно парили и падали, с легчайшим шорохом ложились под ноги. Я медленно брёл под золочёными кронами клёнов, сожалея, что город так мал, что вокзал так близко и отпустили нас всего за два часа до отхода поезда. Прошёл мимо небольшого в жёлтой, как осень, штукатурке здания, где не свершилось тщательно оберегаемое мною ото всех таинство, остановился на минутку перед двухэтажной гостиницей, в которой так и не родилось наше с Ларисой счастье, посмотрел на её большие, наполненные светлой радостью, окна, потом зашёл в городской парк, сел на скамью. Бегали



Не знаю. Если честно, сделал, конечно, не всё. Но и желания что-то предпринимать тогда уже особого не было. Оно исчезло, растаяло вместе с лёгкими весенними облаками над Руслом, уплыло вниз по бурливой реке, придавленное невозможностью что-либо изменить. Я не хотел худшего, но только и сумел, что оставить ей шанс на последнее слово, завершающий шаг. Но ничего не случилось.

В молодости часто вопят эмоции, и, может быть, я просто обиделся. Она должна была сделать, чтобы ни случилось, но она не хочет и потому не сделала. Так лучше уж любить издали и молчать, чем глотать в ответ немое презрение. И всякие мысли лезли в голову, любые предположения, а узнать что-то более или менее определённое было не у кого, да и негде.

Из полка я все же отправил ей ещё одно письмо, затем написал Андрюшке, который тоже собирался в армию. Тот ответил: в Новошахтинске Лариса не появляется, и ему о ней вообще ничего не известно. Спросить ещё что-то было не у кого, да и не верил я почему-то, что не получает она моих писем. Адресат выбыл — письмо вернётся. Молчит, значит, так надо, так должно быть. Но пусть хотя бы знает, где я, что со мной, — не стала же её душа безразличной, как булыжник, не может она так просто всё забыть! Ещё раз послать ей свой адрес, а там будь что будет — если захочет когда-нибудь, напишет. Это было трудно, даже больно, но ничего другого не оставалось. И снова я сомневался, искал причины, оправдания нашим поступкам — ведь я же продолжал верить в неё, несмотря ни на что.

Со временем, конечно, люди умеют уверенно сказать, как нужно было бы поступить тогда, чтобы всё получилось по-другому, лучше и надежнее, только вся-то беда в том, что — со временем, что это тогда уже ушло безвозвратно и ничего не изменишь. Позже становится ясно или почти ясно, стоило ли вообще вязать узлы на оборванных нитях — они грубы, жёстки, часто распускаются, — но тогда я об этом думал меньше всего, жил лишь ощущениями громадной несправедливости, но не к себе, нет, а к нам, ведь не должно же было, не должно всё это так кончиться!

И ещё, я никогда не задумывался об одной возможной причине, что в состоянии рвать всё разом, грубо и беспощадно, комкать, топтать хуже и резче всяких измен, замужеств, большого самолюбия и прочих случаев, убивающих любовь, нет, мне никогда не приходило в голову, что могло произойти что-то без меры серьёзное, жестокое и страшное — ведь мы так уверены в собственных устойчивости и неизбежности в этой жизни.

Отревели мощью реактивных двигателей ещё полтора года моей службы, я вернулся домой, пошёл работать. Один за другим приходили из армии мои друзья. Всё было до боли знакомым и новым, только на мир мы смотрели уже другими глазами. Но год после армии так напоминал год предармейский, и нам хотелось его повторить. И всё же это был уже другой год, ничего не повторялось. Старые связи восстанавливались с трудом, новые — были крепче, но не похожи на прежние, нужно было всерьёз браться за работу, учиться дальше. Жизнь оказалась сложнее, везде — только успевай поворачиваться, неуёмность развлечений уходила в прошлое. И постепенно, словно невидимой резинкой, новые будни вытирали образ Ларисы из моего сознания, иногда лишь приходила какая-то мимолетная встряска, почти угасшее чувство ненадолго оживало, принося кратковременную боль, медленно оседающую где-то в глубинах сердца.

Но забыть её совсем было невозможно, интерес к её судьбе продолжал жить во мне, тихонько и неназойливо, изредка напоминал о ней знакомой фигурой или похожей походкой. Что с ней?

Где она? С кем? Может, и в самом деле всё должно быть так, как когда-то писала она: встретимся мы, когда нам будет лет по тридцать пять — тридцать восемь? Встретимся и разойдемся, как совсем незнакомые люди? Или узнаем друг друга, но промолчим, сделаем безразличными лица, стыдясь в душе и горя желанием открыться? Или всё-таки мы уже встречались где-то в толпе большого города, но не заметили друг друга, не смогли заметить, потому что годы наших встреч и любви давно ушли в прошлое, а человек не в состоянии жить только прошлым.

Как бы там ни случилось, мы всё равно будем чужими, и ничего с этим не поделаешь, как бы не было обидно за подобные мысли, за упущенные годы и нерастратенное чувство; но тогда, в двадцать лет, даже подобный намёк показался бы чудовищным и несправедливым, он бил бы больно и беспощадно, и потому совсем не допускался — тогда ещё не было ничего упущенного, ничего потерянного, и мы просто не знали, как часто в жизни приходится принимать то, что принять, казалось бы, никак нельзя; отвергать то, чего желаешь всей душой и не мыслишь себя без него. Но что поделаешь — уверенности молодости в том, что всегда и всё будет таким, как ты хочешь и себе представляешь, к сожалению, быстро приходит конец.

Года через три или четыре после демобилизации я был в Новошахтинске, и там, на нашей старой Тихой улице, случайно встретил... семнадцатилетнюю Ларису. Что-то горячее облило мою душу, толкнуло в грудь, спутало ноги — я жадно смотрел на неё, как путник пустыни на колодец с живительной водой. Конечно, я сразу понял, это её младшая сестрёнка Валюша — в дни наших встреч она бегала по поляне совсем маленькой девчужкой, теперь же сходство её с сестрой было поразительным. Та же фигурка, походка, рост, лицо, пухлые губы — всё, даже стрижка, — были Ларисиными. Не хватало лишь маленькой точки-родинки на верхней губе, да выражение глаз было другим, не тем, что сохранила моя память.

Останавливать её, задавать вопросы я не стал. Что я для неё? Случайный прохожий, с которым не стоит откровенничать. Хотя, конечно, могла бы вспомнить... Но захочет ли? Имею ли я право на это надеяться? Да и ещё что-то сдерживало меня, не позволяя разрушить тайну. Наверное, в этом необходимости уже не было. Или я не захотел ничего менять. Или ещё что-то... Не знаю. Я просто на минуту ощутил дыхание дней нашей юности, почувствовал тепло Ларкиных рук, словно услышал её голос. Окунулся на мгновение в своё, в наше, и, кажется, мне стало чуточку легче. И ещё я понял: ничто так хорошо не помнится, как старательно забытое старое...

Она быстро прошла мимо, а я, спустя десяток шагов, обернулся и долго смотрел ей вслед, смотрел и полнился точно тем же чувством, как и тогда, на поляне, в первую нашу встречу — неловкость так же мешалась с восхищением, и совсем немножечко дрожали ноги. Я смотрел и думал: годы уходят, а чувства возвращаются, нужна лишь малюсенькая царапина, чтобы рана открылась вновь. Валюша уходила всё дальше, и мне всё больше казалось: это она идёт, Лариса, — и как же не хотелось понимать, что ей уже не семнадцать, а мне не восемнадцать лет!..

## Красные огни

С каждым годом пустел для меня Новошахтинск. Не стало моих стариков, окончил механический техникум и укатил по распределению работать в Пермь Андрюшка, куда-то разбрелись, растерялись уличные друзья детства — кругом незнакомые, чужие люди, да так, что и поздороваться не с кем. И, конечно, нет в нём Ларисы. Ездить стало совсем не к кому, и постепенно моя дорога в Новошахтинск — чудесный город моего детства и юности, наших встреч с Ларисой, — стала зарастать травой. Только иногда, очень редко и по случаю, заедешь на Тихую улицу, глянешь на чистое, свободное от крон давно спиленных ясеней и клёнов, небо, на старые, красного кирпича, дома, которые когда-то были такими большими, а теперь точно сузились, стали маленькими от времени, на облупленную краску штахетных заборов и новые сады во дворах, и тогда почему-то кажется, что это было совсем не здесь — в другом городе, в другом мире. И, может быть, это и в самом деле так, но только всё равно зачем-то беспокойно ноет сердце...

До сих пор в моём столе лежит пачка её писем, аккуратная и плотная, я достаю их иногда, читаю, и слова, снова напоминают они мне о том, что за счастье всегда необходимо бороться, что любовь тем больше приносит радости, чем труднее даётся, но дороги, которыми мы к ней идём, должны быть всё же в меру длинными, потому что в пути не только находят, но и теряют. И пусть поменьше красных сигнальных огней зажигает общество на тех дорогах любви.

Вот так мы шли друг к другу навстречу и не дошли. Возможно, чего-то нам не хватило.

И потянулась вдруг рука к перу — хочется всё же порой попробовать пережить всё заново, перепонять, переосмыслить...

*Ростов-на-Дону, 1979 – 1989 гг.*



*Рис. Г. Горбанёвой.*

## Владимир Сорокажердьев



### МОЛИТВОЮ ЖИВЁМ

\*\*\*

По земле гуляет Худо  
И глотает всех живьём...  
Заглянуло к нам на хутор,  
Где молитвою живём. —

Заглушить ему б молитву,  
Сотворить бы перегиб!  
...Резко двинул я калитку,  
Гостя странного ушиб.

Отношение понятно:  
Я покрепче, может, дам.  
Худо бросилось обратно, —  
Вновь бродить по городам.

Всё поживу рыщет-ищет,  
Злобу греючи в груди...  
Ты броди-броди, Худище,  
Но ко мне — не подходи!

---

**Сорокажердьев Владимир Васильевич**, член Союза писателей России, родился в 1946 году в городе Кирове. Окончил Литературный институт. Работал в редакции газеты, Географическом обществе СССР, проводником почтового вагона на линии Мурманск – Баку. Стихи печатал в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Новый мир», «Север», «Юность» и других изданиях. Автор шести поэтических сборников и историко-краеведческих книг о Севере. Лауреат Международной литературной премии имени В. Пикуля. Возглавляет Мурманскую писательскую организацию. Живёт и работает в Мурманске.

## ВАЛЕНКИ

Мимоходом слышал: «Валенок!» –  
Обозвали мужика.  
Разберутся люди – мало ли, –  
Дай-то Бог, без кулака.

Я по собственному опыту  
Помню: вятскою зимой  
Окромя валяной обуви  
Не носили никакой...

Ты, филолог раскудесный,  
Их из речи не гони,  
Коль облюбовали место  
В лёгкой ругани они!

Из деревни все мы вышли, –  
Что снегами замело...  
Как про валенки услышу –  
Ноги просятся в тепло.

## ОЧЕРЕДЬ 50... ГОДА

Был я там, где – мужики-калеки,  
Ребяшня... старух немалый строй. –  
В переулке скрипнула телега...  
Хлебная телега – дух живой.

Очередь росла и волновалась,  
Но в толпе – ни ругани, ни зла...  
Лошадь напрягалась, спотыкалась,  
«Извинялась» долго... но везла.

У неё своя кобылья доля  
Память, как солому, ворошить:  
Лучше б надорваться где-то в поле,  
Чем с пекарней в старости дружить.

А сельчане с ноченьки устали,  
Но какой же на телегу слух! –  
И не то, наверно б, отстояли,  
Только бы стелился хлебный дух!..

## Людмила Малюкова



### «УЖАСОМ РАЗЪЯВШИХСЯ ВРЕМЁН...»

*По страницам произведений о Первой Мировой войне. Опыт прочтения*

Российская история не знала другого такого грандиозного события, как Первая Мировая война (1914 – 1918), которое до сих пор отличалось бы столь провальными лакунами. Всё в ней — на грани полемики, не выяснен и её стратегический характер. Войну называли 1-й Мировой Империалистический, Освободительной, Великой Европейской войной за цивилизацию, 2-й Отечественной, самой Судьбоносной. Сегодня нет единого мнения и о времени её окончания.

Перекроившая карту Европы, изменившая судьбы народов, для ряда историков и политиков она завершилась не Версальским договором в ноябре 1918г., а в мае 1945г., когда с победой над Германией снова пересматривались границы государств. Но и это не было окончанием. Согласно Хельсинскому Соглашению 1975г., установленные границы с этого времени не должны были смещаться. Однако и этот вердикт оказался лишь на бумаге: уничтожались целые государства (один из примеров — Югославия). Изменились границы России. В наше время не утихают споры: нужно ли было ей, не преследующей личных интересов на европейском континенте, вступать в мировую бойню 1914 года, воевать против Германии, связанной с нею родственными узами императоров (Николай II, — двоюродный брат Вильгельма, который в своё время был страстно влюблён в сестру императрицы Александры Федоровны Элли, предлагал ей «руку и сердце»). Дружеская переписка и встречи императоров двух стран не прерывались до самого начала войны). Спорят о том, что было бы, если бы, внимая

---

**Малюкова Людмила Николаевна**, член Союза писателей России (с 2008 г.), литературовед, критик, доктор филологических наук. Окончила в 1964 году историко-филологический факультет РГУ. Автор книг: «Русская советская литература», «Русская философская поэзия 1946 – 1980-х гг.», «Анна Ахматова. Эпоха. Личность. Творчество», «Поэтический космос Бориса Пастернака», «Русская литература. Забытые и неизученные страницы», «Под звон надломленной осои», «И закурились бездны...», «Мы никогда больше не встретимся», «И покати́лся с грохотом обвал...», «И с ним говори́ла морская волна».

Живёт и работает в Таганроге Ростовской области.

### «Ужасом разъявшихся времён...»

призыву Столыпина «Дайте нам 20 лет мира, и Россия будет великой державой, неуязвимой и могучей», Николай II последовал бы ему? Какой бы теперь стала Россия? Но известно, история сослагательного наклонения не имеет. Что случилось, то случилось: такова судьба страны с бескрайними просторами и великими ресурсами, в которой дух народа всегда восставал и возрождался из самого пепла.

Объявленную войну 1 августа Россия встретила триумфом, мгновенно уверовав, что баталии продлятся не более 3-х месяцев и завершатся полной победой. Страна предстала единым монолитным лагерем. Рабочие объявили о прекращении забастовок, политические партии пресекли всякие разногласия. На чрезвычайной сессии Думы, экстренно собранной императором, лидеры всех партий наперебой заверяли правительство о своей поддержке. Военные кредиты приняли единогласно. Толпы народа в Петербурге подошли к Зимнему дворцу, на балкон которого вышел Николай II, и, став на колени, пропели «Боже, царя храни. Царствуй, державный наш. Царствуй на славу нам». Английский дипломат, аккредитованный в России, Дж. Бьюкенен в своем дневнике записал: «В течение этих чудесных первых дней августа Россия казалась совершенно преображённой. Германский посланник предсказывал, что объявление войны вызовет революцию... К несчастью, единственным насильственным действием толпы во всей России было полное разграбление германского посольства 4-го августа. Вместо того, чтобы вызвать революцию, война теснее связала государя и народ».

Но вот что примечательно: «властительница дум» — поэзия тотчас отзывалась на события трагическими нотами, предчувствием приближения великого горя. М. Волошин с горечью увидел, как «разодран дух народов» «яростью» и «ужасом разъявшихся времён», О. Мандельштам — как «впервые за сто лет и на глазах моих» меняется «таинственная карта Европы». Записные книжки А. Блока, начиная с августа 1914 г., переполнены словами депрессивного содержания, типа: «измучен», «страшно», «тоска». 30 Августа он делает запись: «Эшелон уходит из Петрограда — с песнями и ура». Через несколько дней она будет интерпретирована в стихотворении «Петроградское небо мутилось дождём», где война при всем её трагизме, не утрачивает патриотического характера, о чём свидетельствуют поэтические строки о настроении «эшелона», отбывающего на фронт, и авторская позиция увиденного:

*Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,  
Несмотря на дождливую даль.  
Это — ясная, твёрдая, верная сталь,  
И нужна ли ей наша печаль?*

В несколько ином контексте воспринимается война в творчестве мэтра русского символизма В. Брюсова. Она ещё не объявлена, но представляется, как необходимое и закономерное явление:

*Так! Слишком долго мы коснели  
И длили вальсаров пир!  
Пусть, пусть из огненной купели  
Преображённым выйдет мир!*

И, пожалуй, никто из поэтов так не романтизировал войну, как Н.Гумилёв. Если в одноимённом стихотворении она отражалась, как дело «святое и светлое», а её участники, как труженики на полях, «подвиг сеющие и славу жнущие», то во фронтовых очерках «Записки кавалериста» представлена развёрнутая картина упоения смертельным боем. «Дивное зрелище, — пишет поэт, — наступление нашей пехоты; казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооружённых людей на обречённую деревню... Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты, и рвалась шрапнель... Нас призывали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ». Конечно, такое восприятие объяснялось личностью поэта, неисправимого романтика, предпочитавшего «скуке жизни» гибельный риск, смиряющему покою и тишине — игру со смертью. Н. Гумилёв — первый поэт, который сразу же после объявления войны отправился на место боевых действий.

В это грозное для России время впервые заявила стихами высокого гражданского звучания А. Ахматова («Над ребятами стонут солдатки,/ Вдовий плач по деревне звенит»). Трагические интонации вторгаются во все сферы её поэзии. В стихотворении «Колыбельная» мать заканчивает песню ребёнку печально-пророческими словами: «Было горе, будет горе,/ Горю нет конца,/ Да хранит святой Егорий/ Твоего отца». В таком обновлённом ахматовском мире и любовь воспринимается в трагическом контексте: «Вестей от него не получишь больше,/ Не услышишь ты про него,/ В объятой пожарами скорбной Польше/ Не найдёшь могилы его».

Конечно, перед нами примеры великих творений, имена авторов которых были известны России. Между тем, по-своему любопытны и отклики на столь грандиозные события в российской провинции. Сегодня, пересматривая пожелтевшие страницы донской печати того времени, поражаешься удивительному единодушию, которое охватило всё население казачьего Дона. В «Донских ведомостях» рядом с извещениями об убитых и раненых уже в первые месяцы войны публикуются и стихи местных поэтов, наивно торжественные, несовершенные по своей форме. Но сколько в них веры, надежды, заверений в своих патриотических и верноподданнических чувствах, обращённых к царю и отечеству!

*Сея страх перед собою  
Жаждой подвига горя!  
Мы всегда готовы к бою  
За Россию, за Царя!* — утверждал некий Н. Перов.

А в посвящении Верховному Главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу Романову казак Н.Рукин уверял: «На тебя глядит/ Весь славянский мир,/ Как на гения-слободителя!» Здесь же публикуются и «Солдатские сонеты» поэта К.Р. (Великого князя Константина Романова), стилизованные под народные. Вот один из них под названием «Ополченец»: «Теперь ты наш. Прости, родная хата,/ Прости семья! С военной семьёй/ Сольёшься ты родством меньшого брата, — / И светлый путь лежит перед тобой».

Не менее интересны и произведения очеркового характера того вре-

мени. События, отражённые в них, настолько колоритны, что порою трудно провести границу между рассказом, основанным на вымысле, и очерком, созданным на документальной основе. Среди донских писателей известны имена А. Серафимовича, В. Краснушкина, Р. Кумова, С. Арефина.

Особое место на страницах столичных изданий занимает имя Ф. Крюкова. Вместе с А.Н. Толстым он не раз бывал на театре военных действий, а в 1915 году отправился на юго-восточный фронт в качестве представителя Красного Креста. Результатом этого шага становится незабываемый цикл очерков «Около войны». В одном из них воссозданы потрясающие картины казачьих проводов: длинного ряда красных вагонов с людьми и лошадьми, передающих коллективный портрет народного горя в деталях и лицах. В этом всеобщем — целая симфония полифонических, остро врезающихся звуков «провожающих и отъезжающих». В них и тревожное «пырсканье» лошадей, и «звон» надрывного детского плача, и «ровно занимающаяся протяжная песня» мужских и женских голосов. Народное многозвучие психологически ветвится, приобретает разноплановые подтексты. Здесь и лёгкий юмор, прикрывающий внутреннюю тревогу («Садись либо, кума, к нам, стряпухой будешь»), и горькая озабоченность об оставленном доме («Так пропиши же там, Федотыч...»), и душевная обречённость («Скажи там мамушке: пушай молебен отслужит»). Но вот в этот многоголосый хор врывается режущий звук призывной трубы: «И всё точно сорвалось с своих мест... Тихо тронулся поезд под горькое причитание низкого женского голоса, под детский дружный плач в голос, под крики «ура» и звуки печальной песни. И побежали за вагоном, тяжело и безнадежно, две женских фигуры в нагольных длинных шубах. И протянутые руки. Выснулась рука из последнего вагона, успела пожать протянутые руки коротким пожатием... Кто-то замахал серой шапкой... И рыдающий зов ответил на это прощальное пожатие: «Да родимый ты мой, Стё-пуш-ка!» В этих реалистически жёстких отображениях Ф.Крюков со временем начнёт улавливать те тревожные, пока едва различимые психологические симптомы, которые очень скоро прорвутся невиданными потрясениями. Он назовёт их «введением в старый кругозор» «широкого нового содержания».

Известие 29 августа о разгроме армии генерала Самсонова в Мазурских болотах и о судьбе самого генерала, покончившего самоубийством, Ф. Крюков воспринял как личную беду. Знакомство с Самсоновым и уважение его личности, оставившей недолгий, но заметный след своей деятельности на посту Атамана Войска Донского (1908 – 1909гг.), сориентировали писателя на глубокие размышления причинно-следственного характера. Находясь в прифронтовой полосе, он обращает внимание на патриотический дух русского воинства. Впечатляющ образ капитана с георгиевской ленточкой, который, рассуждая о страхе во время сражений, признаётся, что в этот момент некогда «бояться и думать о смерти»: «надо соображать, дело делать». В другом разговоре этот же капитан акцентирует внимание на выносливости и неприхотливости русского солдата, в отличие от немецкого: «Немецкий солдат и офицер по сравнению с нами — сибариты. Мы и насчёт вшей равнодушны, и пого-лодаем хладнокровно, и никому в голову не придёт устраивать в окопах висячую лампу, ставить столы, стулья». Выделяет он и свойство бесстрашия рядового воина («В смысле пренебрежения к опасности, к смерти — это

лев»). В заключение на вопрос «одолеем ли немца» капитан уверенно отвечает: «Думаю, одолеем: страна, народ с нами — вот в чём наша сила». Но в этой уверенности где-то подспудно пробивается тревожный вопрос: а что, если это единство распадётся, что будет с «несокрушимой нашей силой»? И вдруг невольная тревога, ещё туманно, но всё настойчивее начинает прорываться за услышанной песней в солдатской среде «о буйной головке», которая покатила по траве, и особенно — в её припеве: «Ах, весёлый разговор, покатила по траве». В нём улавливалось какое-то устрашающее пренебрежение к смерти, когда человеческая жизнь утрачивает всякую ценность. «Почему «весёлый», и кто эти люди в шинелях и гимнастёрках вербовного цвета?» — задаёт писатель себе беспокойный вопрос, и тут же приглушает его мно-гозначительным ответом: «Тайна солдатского естества — для меня, по крайней мере, — не раскрылась». Но не пройдёт и двух лет, и она раскроется: вырвется всё разрушающими протуберанцами, когда человеческая жизнь ценою братоубийственных преступлений будет исчисляться миллионами смертей.

Конечно, малые литературные жанры не могли дать глубокого обобщающего изображения столь грандиозного исторического события, как Мировая война 1914 г. Это было делом произведений эпического масштаба. Но для них требовалась дистанция времени. В какой-то мере она обуславливалась и чрезвычайной актуальностью событий, «переживание» которых буквально рвалось из «недр» души, требовало живого вдумчивого синтетического осмысления. Первыми такими произведениями стали романы: А.Н. Толстого «Хождение по мукам», М.А. Шолохова «Тихий Дон» и П.В. Краснова «От двуглавого орла до серпа и молота», изданного в эмиграции в 1922 г. Среди других романов более позднего времени — С. Сергеева-Ценского «Брусилловский прорыв», Б. Пастернака «Доктор Живаго» и А. Солженицына «Красное колесо».

Весьма спорен и противоречив роман А. Толстого, на котором лежит густой отсвет советской идеологии. Его первая книга «Сёстры», создаваемая в эмиграции (1919 – 1921), по возвращении на родину в 1923 году подверглась значительной переделке, а 2-я и 3-я: «Восемнадцатый год», «Хмурое утро» были уже изначально сориентированы на марксистско-ленинское направление в литературе. Мировоззрение писателя в корне менялось. Это ощущалось не только в романе, но и статьях. Если в первом варианте романа «Сестры» война воспринималась, как очистительная, как общенародное дело, объединяющее в патриотическом порыве все слои российского населения, во втором, — уже как историческое событие, которое неизбежно перейдёт в иную социальную фазу: патриотический подъём народа писатель снял. Характерен эпизод: Арнольдов, корреспондент газеты «Слово народа», обращается к крестьянину, участнику боевых действий, с вопросом: был ли «патриотический подъём» среди крестьян, на что тот отвечает: «Да, поднялись. Отчего не пойти? Всё-таки посмотрят, как там и что. А убьют — всё равно и здесь помирать. Землишка у нас скудная, перебиваемся с хлеба на квас. А там, все говорят, два раза мясо едят и сахар, и чай, и табак, — сколько хочешь, кури». Смысл и цели войны народ не понимает. Его интересы и правящих классов полярны. Более того, во втором варианте романа «Сёстры» солдатская масса смотрит на войну, как на своего рода наваждение, противоестественное при-

роде человека. Во время боя слышится надрывный голос: «Ребята, Гавриле палец оторвало», — а другие голоса ему вторят: «Вот ведь кому счастье... Домой отправят», «К весне воевать не кончим, всё равно все разбегутся... Народу накрошили — полную меру. Будет. Напились. Сами отвалимся». Взгляд писателя на войну в начале как на очистительную, теперь сменяется. Очистительной может быть только революция, к признанию которой А.Н. Толстой приводит своих героев: инженера Телегина, офицера Рощина, сестёр Булавиных — Катя становится народной учительницей (и тотчас возникает вопрос: отчего она не стала ею ранее, ведь нива народного просвещения не была запретной и при самодержавии?) Все четверо героев в эпилоге оказываются в Большом театре на съезде Советов, где Г. Кржижановский проводит ленинскую идею электрификации страны. Такое обобщение жизненных испытаний героев не было мотивировано как логикой эволюции характеров, так и социально-историческими условиями времени, которое работало не на таких, например, как В. Рощин с его послужным списком белого офицера. Служба В. Рощина у красных, за исключением первого боя, в котором он был ранен, осталась за «семью печатями». В итоге, становилось непонятно: за какие заслуги перед новой властью он был делегирован на сколь почётное заседание, каким представлялся съезд Советов?

Роман-эпопея М.Шолохова «Тихий Дон» в литературно-художественной панораме о Первой Мировой войне и революции занимает особое место. Как ни в каком другом произведении, в нём отражён народный взгляд на события беспрецедентной трагической силы. Писателя волнует, прежде всего, мнение народа и его судьба в процессе катастрофических мировых сдвигов. Печать народности ощущается в каждом капилляре романа. Но мы акцентируем внимание на тематическом аспекте, связанном непосредственно с событиями Первой Мировой войны. Она ещё не объявлена, а её приближение ощущается через народные приметы. В пейзаж закрадывается нечто пророчески зловещее, сулившее неминуемую беду: «Сухое тлело лето... Ночами густели за Доном тучи, лопались сухо и раскатисто громовые удары, но не падал на землю, пышущую горячечным жаром, дождь, вхолостую палила молния, ломая небо на остроугольные голубые краюхи» (так возвещала природа беду русичам в гениальном «Слове о полку Игореве»: «Ночь прошла, и кровавые зори/ Возвещают бедствие с утра. Туча надвигается от моря/ На четыре вражеских шатра»). Несчастье предсказывают и сычиные выголки, долетавшие с колокольни и затравеневшего кладбища. Эти предчувствия провоцируют и начало разговора о войне пока только среди стариков, вспоминавших о былых походах и делившихся предположениями, порою весьма наивными («Не бывать войне, по урожаю видать. — Урожай тут ни при чём — ... А с кем война-то? — С турками из-за моря. Море никак не разделют. — И чего там мудрёного? Разбили на улешу, вот как мы траву, и дели!») Но вот война уже началась, и на площади собрались недовольные казаки в ожидании известия: зачем их собрали в то время, когда «нынче такая пора, что день год кормит». В многоголосом хоре слышатся самые противоречивые выкрики. Но сквозь очевидную сумятицу голосов прорывается главный мотив: ни усмирять народ, ни воевать не хотим, мы — люди мирного труда («Они пушай воюют, а у нас хлеба не убратые! — Это беда-а! Гля, миру согнали... Ну, казачество, держися! — Ишо б годок погодить им, вышел бы я из третьей очереди... — Как

зачнут народ крушить — и до дедов доберутся... Война будет — нас опять на усмиренья будут гонять. — Будя! Пущай вольных нанимают, а нам, кубыть, и совестно». Но это многоголосье разрывают выкрики казацкой песни: «Я их, мужиков, в кр-р-ровь! Знай донского казака!»

Приём зеркального отражения, который вводит М. Шолохов в изображении войны, даёт возможность донести, как одно и то же событие отзывается в настроениях и судьбах самых различных слоёв российского населения. Преамбула такого варьирования берёт начало в первой книге третьей части раздела четвёртого. В нём воссоздан общий портрет отношения к войне в полифонических отзвуках: лиц нет, есть только определённые группы людей.

Красные составы увозят казаков к русско-австрийской границе. Разговоры о войне (какие, — не конкретизировано), но песни поют, как всегда, те же — монархические, чаще всего «Всколыхнулся, взволновался/ Православный Тихий Дон./ И послушно отозвался/ На призыв монарха он». На станциях «любопытствующе-благоговейные взгляды, щупающие казачий лампас», рабочий люд, «ещё не смывший густого загара», женщины, махающие платочками, улыбающиеся, бросающие папиросы и сладости, газеты «захлёбываются воем» — над всем нависает грозное слово «Война!», которое ещё до конца не осознаётся. И только один пьяненький старичок-железнодорожник высказывает убийственно откровенную реплику: «Милая ты моя... говядинка!» — И долго укоризненно качает головой.

В романе развенчивается казённое представление о подвиге. В начале он связывается, как будто, с именем, случайно увенчанного лаврами казака Крючкова, по прозвищу «Верблюд», любимца командира сотни и объекта насмешек казаков, с которым в бою рядом дрались не менее героически и другие казаки (Астахов, Иванков). Но Георгия по реляции получил только Крючков. Отосланный вскоре в штаб дивизии, остальные три креста он получил лишь за то, что на него приезжали посмотреть влиятельные дамы и офицеры. Окончательный приговор такого рода подвигу выражен в авторском обобщении: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, ещё не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в объявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъезжались, нравственно искалеченные, это называлось подвигом».

Между тем в «Тихом Доне» мы не найдём авторской формулы истинного подвига. Он выявляется в непосредственных действиях и поступках в ходе жестоких боёв. Но таких примеров, как поступок раненого Григория Мелехова, спасающего умирающего полковника, за что он был награждён Георгиевским крестом, в романе немного. Народ, ввергнутый в жестокий омут кровопролитных сражений, о подвиге не рассуждает. Лишь ради подвига из блестящего Петербурга на фронт рвётся монархист Е. Листницкий, охваченный романтическими представлениями о патриотизме. В письме к отцу, бывалому генералу, он пишет: «Парады, встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось всё это до тошноты, хочется живого дела и... если хотите — подвига. Еду на фронт. Прошу вашего благословения». Но Листницкий — потомственный представитель офицерской касты и мера его духовного менталитета у автора другая. Боль М. Шолохова обращена к народу, бесславно гибнущему на чужеродных полях сражений. Этим объясняется его негативное отношение к войне, развязанной не в интересах

народа и России. Скорбным лейтмотивом звучит лирическое отступление о бесчисленных жертвах русских воинов на западных рубежах: «На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпроща-лась, отголосила по мёртвому... Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мёртвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллеристскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии... Знать, не доносил восточный ветер до них плача жён и матерей. Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе».

Картины боя в романе воссозданы масштабно и динамично. В то же время они запечатлены психологически тонко, обжигающе беспощадно. Как правило, их детали поражают глубокой и точной запечатлённостью. Это проявляется и в схваченных, словно на лету, портретах воюющих. Так, например: Степан Астахов во время боя «отмахивал шашкой, вьюном вертелся в седле, оскаленный, изменившийся в лице, как мертвец», у Прохора Зыкова «перекошен рот и вылезшие из орбит телячьи глаза», запечатлен и его «дикий нечеловеческий крик» раненого и выбитого из седла, у Григория, ворвавшегося в гуцу боя, «в середине грудной клетки, словно одубело то, что до атаки суетно гоняло кровь», он ничего не чувствовал, «кроме звона в ушах», у казака Иванкова «кривые судороги сводили посеревшее лицо». Эпизоды войны поражают невиданной жестокостью. Газовая атака воспринята через сознание много повидавшего Валета; её последствия ужаснули его: под деревом стоял отравленный газом мёртвый солдат, «в нескольких местах отравленные лежали копёшками, иные застыли, сидя на корточках, другой — засунув в рот искусанную от муки руку». Изображая картины боя, автор порою не выделяет ни своих, ни чужих, акцентируя внимание на противоестественности войны, как античеловеческого явления: «Озверев от страха, казаки и немцы кололи и рубили по чём попало: по спинам, по рукам, по лошадям и оружию... Обеспамятевшие от смутного ужаса лошади налетали и беспокойно сшибались». Движение полков сравнивается с ползущими гусеницами, развернувшийся фронт — с «неподатливой гадюкой», казаки въезжают на чужую территорию «хищниками» («так в глубокую зимнюю ночь появляются около жилья волки»), свежеврытые окопы противника похожи на «логово», в котором «кишели люди», колыхающиеся пики казаков — на оголённые подсолнечные будылья.

М. Шолохов передаёт целую симфонию разноречивых звуков, связанных с окопобоевой обстановкой: идут казачьи сотни в звенящей тишине, звякают стремена, скрипят и хрустят сёдла, раздаётся мерный стук копыт, голоса похожи на скрип арбы. Но вот разворачивается бой, и другие — омерзительные — звуки разрывают пространство («Глухо ухнула земля, распласталась под множеством копыт... Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком, крик перенесло к четвёртой сотне. Лошади в комья сжимали ноги и пластались, кидая назад сажени... Пулемёт без передышки стлал над головами казаков разбегающийся визг пуль»). Бой закончился, и звуковая гамма меняется: пленные австрийцы «бежали скученным серым стадом, и безрадостно-дико звучал стук их окованных ботинок». Более того, в романе постоянно подчёркивается противоестественность войны самой сути природы. Прибыв во фронтовую полосу, Григорий Мелехов замечает, как «вызревшие хлеба топтала конница, на полях легли следы острошилых под-

ков, будто град пробарабанил по всей Галиции», а там, где шли бои, «хмурое лицо земли оспой взрыли снаряды, ржавели в ней, тоскуя по человеческой крови, осколки чугуна и стали», деревья «в рваных ранах, и кровоточили рудой древесной кровью».

Через всю эпопею лейтмотивом проходит универсальная идея: война меняет человека — ожесточает, развращает, но и порождает смутное недовольство, заставляет размышлять над многими жизненно важными вопросами. Так, привычным делом для казаков был грабёж на чужой территории; не разбираясь, кто перед ним: богач или бедняк. Более того, особенно уничижительное отношение наблюдалось к еврейскому населению. Характерен эпизод, когда казак на занятой территории отнимает у еврея часы, тот жалуется вахмистру, который в свою очередь с глумливой улыбкой бьёт несчастного человека плетью, приговаривая: «Не ходи босой, дурак!» И ни у кого из наблюдающих всё это не вызывает осуждения, напротив — находит весьма своеобразное оправдание: «К казаку всяк вещь прилипает», «Пушай плохо не кладёт», «Немцы придут, всё равно отберут». Жестокого казака Чубатого, война ещё более ожесточила. Григория Мелехова, который испытывает чувство мучительного ужаса от увиденного и содеянного в первом бою, он поучает: «Ты — казак. Твоё дело рубить, а не размышлять. Руби смело: человек — он мягкий». По-добных примеров-«негативов» в романе не мало. Особое внимание автор уделяет Григорию Мелехову. Через него он транслирует самые магистральные проявления войны.

Мелехов и война — это целая тема, которая просматривается с самых не-ожи-данных и разных сторон, обнажая наиболее сложные и противоречивые изменения, происходящие в народе. Его эволюция изображена непосредственно через картины и действия, через оценки и ремарки автора. «Добрый казак ушёл на фронт Григорий, не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берёт свою казачью славу,.. крепко берёт казачью честь, ловил случай высказать беззаветную храбрость» — эти авторские высказывания заявляют о себе перед самой атакой, когда Григорий, чувствуя смертельную усталость и начиная осознавать преступность и бессмысленность войны, вспоминает о своих недавних героических подвигах. Они проходят перед ним, словно на широкоформатном киноэкране: под деревней Ольховчик взял в плен 3-х немецких солдат и офицера, под Равой-Русской отбил казачью батарею, а зайдя в тыл противнику, пулемётной очередью обратил в бегство австрийцев, под Львовом самовольно увлёк сотню в атаку и отбил гаубичную бата-рею с прислугой, через Буг на себе притащил важного «языка». При этом он верен исконным нравственным правилам: под городом Столыпиним во время боя спасает раненого соперника — Степана Астахова (в то время, как тот в бою стреляет триж-ды ему в спину), он осуждает преступное убийство Чубатым пленного, как и собст-венный невольный проступок в первом бою — гибель безоружного австрийца. Встретившись на фронте с братом Петром, он жалуется ему: «Меня совесть убивает... Срубил зря человека и хвораю через него, гада, душою. По ночам снится... Аль я виноват?» Автор не щадит своего героя, отмечая, что «огрубело его сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и, как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости. С холодным презрением играл он чужой и своей жизнью; оттого и прослыл храбрым — четыре Георгиевских креста и четыре медали выслужил». Всё настойчивее им овладевает стремление выйти из

войны. Чубатому, самостийнику Дона и казаку-рубаче, он, который никогда не кланялся пулям, перед атакой говорит: «А я боюсь, и не совестно мне... Что ежели зараз повернуться и — назад?» На что тот ему отвечает: «Ты из лица пожелтел, Гришка... Ты либо хворый, либо... кокнут нынче тебя». Но таких «хворых» среди воюющих казаков к тому времени было предостаточно. После ожесточенного боя Мишка Кошевой в исступлении кричит: «Дураков учить надо! Учить... Сука народ! Хуже! Кровью весь изойдёт, тогда поймёт, за что его по голове гвоздют!» И тот же Чубатый его вразумляет: «Ты об присяге помнишь? Ты присягал аль нет?» Но пройдёт ещё совсем немного времени, потускнеет патриотический пыл и Чубатого. Он всё более будет склоняться к «выходу из войны», к мысли об изменниках генералах, немецких шпионах, мутивших народ, к немке-императрице». Что же касается дру-гих казаков первого призыва, они испытывают те же недовольства: пора кончать войну и разойтись по домам. Кроме того, в сознании некоторых начинает пробуждаться чувство интернационального единения, сострадания и гуманизма к человеку, независимо от его национальности. Так Валет отпускает пленного немца, пожимая его мозолистую руку и приговаривая: «Беги, у меня к тебе злобы нету... Я — рабочий... За что я буду убивать тебя!» Недовольство 3-х летней войной переключалось и на структуры власти и совсем ещё недавно такого любимого монарха. В песнях казаки теперь хулят царя и проклинают его деяния, похожие на «тяжёлые хомуты». Тот же «старорежимный» Чубатый заявляет: «А царёк-то у нас хреновый, нечего греха таить», и мечтает о сильной для России личности. Тем более, иного отношения к монарху не может быть у таких казаков, как большевик Гаранжа. Встретившись с Григорием Мелеховым в госпитале, он преподаёт ему урок политической грамоты: «Царь — пьянюга, царица — курва, паньским грошам от войны прибавка, а нам на шею... удавка». В такие моменты писатель, словно в зеркале, рассматривает эволюцию, происходящую в сознании Мелехова, замечая, как «изо дня в день» Гаранжа «внедрял в его ум досель неизвестные истины». С ужасом Григорий сознавал, что «умный и злой украинец» постепенно и неуклонно разрушает все его прежние понятия о царе, Родине, о его казачьем воинском долге. Гаранжа ему вещает: «Чёрная глухота у народа. Война его побудит». А далее совсем уж «диковинное»: когда не будет «дурноедской власти», а станет власть «рабочая и хлебоборбская», войны совсем прекратятся, так как драться будет не с кем и не за чем: «Границы — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всему свиту будэ червона жизнь».

Объединяющая Россию идея: царь — вера — народ распадалась. Но менталитет народа, его генетическая природа складывались веками так, что без «идеала» национальное сознание стиралось. В экстремальные времена особенно нужен был фетиш такого рода, чтобы отвечал самым сокровенным народным чаяниям. И вот уже до казаков долетают «большевистские слухи» о загадочном имени Ленин, ко-торое обрастает всеми ожидаемыми благами. Казак Чикамасов с затаённой верой и надеждой представляет его так: «Сам он из донских казаков: станицы Великокня-жеской, служил батарейным. И личность у него подходящая как у низовых казаков: скулья здоровые и опять же — глаза». Но главное — он против войны. Правда, по-иному воспринимают «идеал» старики-казаки, те, что прошли ранее не одну войну и теперь оставались в станицах. Когда купец Мохов сообщает станичникам, что царь отрёкся, те недоумевают: «Как же без царя-то?.. Отцы наши и деды при царях

жили, а теперь не нужен царь?» А узнав о том, что теперь Государственная Дума будет править, возмущаются: «Достукались, мать те чёрт!» Однако в этот единодушный хор вторгается диссонансом другой голос — надежды: «Войну новая власть, может, кончит... Может ить быть такое?» Но он остаётся без ответа. Мохов, лишь махнув рукой, постаревшей походкой уходит.

С этого времени мотив всеобщего разрушения в романе начинает звучать всё настойчивее и масштабнее. «Третий год войны заметно сказывался на хозяйствах хутора. Те дворы, где не осталось казаков, щерились раскрытыми сараями, обветшалыми базами, постепенное разрушение оставило на них свои неприглядные сле-ды», — так подмечает авторский взгляд состояние крестьянской «глубинки». Для многих было ясно, что война проиграна. Это понимание просматривается писателем в самых различных российских слоях. Казак Меркулов на фронте с ожесточением признаётся: «Третий год, как нас в окопы загнали. За что и чего — никто не понимает... На волоске всё держится. Тут только шумнуть: «Брысь!» — и полезет всё, как старый зипун с плеч. На третьем году и нам солнце в дуб стало». Врач прифронтового госпиталя прибывшему Листницкому со всей очевидностью говорит, что война проиграна. Эта же мысль владеет и генералом Листницким. И только Евгений Листницкий видит её «блистательный конец», который «организуют» России союзники. На что Бунчук, желающий поражения России, иронически замечает ему: «Что-то не похоже на конец, а тем более блистательный... Гораздо больше меня удивляет, Евгений Николаевич, что ты, человек интеллигентный, политически безграмотен».

И вдруг все эти вещи прогнозы ворвались в реальность: «Фронт рушился. Если в октябре солдаты уходили разрозненными, неорганизованными кучками, то в конце ноября с позиций снимались роты, батальоны, полки; иные уходили налегке, но большей частью забирали полковое имущество, разбивали склады, постреливали офицеров, попутно грабили и раскованной, буйной, половодной лавиной катились на родину». Между тем, эта беспорядочная стихия была непонятна старикам: уйти самовольно с фронта для них равносильно преступлению. Возвращение казаков домой сопровождается своеобразными перекрестными репликами: «Навоевались, что ль? — ехидно пытали старики. — Хватит, отцы! Навоевались. — Нуждишки приняли, гребёмся домой. — Пойти-ка ты, старый, потрепи хвост! — Чего допытываешься? Какого тебе надо?» Теперь уже целыми коллективами овладевает желание выйти из любой войны. В Петрограде, куда казаков определяют охранять правительство, казак Лагутин «организовывает» решение покинуть позиции. «Вот что, станишники! Нам тут делать нечего. Надо уходить, а то без вины страдаем. Зачнут дворец обстреливать, а мы тут при чём? Офицеров и след простыл... что ж мы, аль проклятые, что должны тут погибнуть? Айда домой, нечего тут стены обтирать! А Временное правительство... да на кой оно нам ляд приснилось!» Но и, возвратившись домой, они устраняются от назревавшей внутренней борьбы, которая вскоре обернётся гражданской войной. Уставшие от 3-х летней войны, революционно настроенные, казаки не изъявляли особой охоты драться с большевиками. И части, собранные Калединым, постояв некоторое время, «рассасывались»: «Властно тянули к себе родные курени, и не было такой силы, что могла бы удержать ка-заков от стихийного влечения домой». Так заканчивалась для казаков Мировая война и впереди предстояла другая: невиданная, братоубийственная — война

гражданская. Примечательно, что писатель не останавливается на тех победоносных действиях войны к 1916 году, когда австро-германские войска уже «выдыхались» и инициатива перешла к России и её союзникам. Ему важно мнение народное, а для народа война была уже далеко непопулярна и ненавистна. Он устал воевать, желание выйти из неё было сильнее всех нравственных и патриотических принципов. К тому же всё более нарастающая враждебность к монархии, большевистская пропаганда, подрывающая армию изнутри, сделали своё губительное дело. Россия оказалась перед лицом фатальной катастрофы. Таковы некоторые обобщения, как результат Первой Мировой войны, следуют из романа «Тихий Дон».

По следам происходящих событий создавался и роман П. Краснова «От Двуглавого Орла к красному знамени». Изданный уже в 1922 году в эмиграции, он разошёлся мгновенно. В предисловии автор писал: «Спрос на роман продолжается, интерес к нему не ослабевает». «Русская Голгофа» в изгнании переживалась особенно остро. Неординарна была судьба и самого П. Краснова, журналиста, известного русского писателя, непосредственного участника русско-японской и Первой Мировой войн, атамана войска Донского в период революционной смуты, царского генерала, избегнувшего расстрела большевиками в Смольном институте и прибывшего в Новочеркасск на другой день после гибели атамана Каледина. Отправившись в феврале 1918 года в станицу Константиновскую для создания защиты Дона, на следующий день по прибытии он оказался на территории с установившейся советской властью и вынужден был скрываться. Там, в подполье, были написаны первые 200 страниц романа, цель и задачи которого сформулированы в предисловии: «Вся красота и мощь былой гвардейской службы, всё величие Императорской России вставало в воспоминаниях, и мне хотелось оставить потомству описание этого прекрасного прошлого, не утаивая и недостатков его, чтобы будущие поколения знали, какова была Россия и её армия до революции», кому «служил, кого обожал всю жизнь и кому никогда не изменял». Несомненно, такая откровенность оставила определенный отпечаток и на содержании эпического произведения. В отличие от романа М. Шолохова «Тихий Дон», в нём иные акценты. Чувство романтизации, а порою и идеализации, преобладают в воссоздании ряда персонажей, боевых действий, быта и нравов военной среды начала минувшего века. Приведём лишь некоторые оценки: лицо генерала Репнина после победного боя «величаво спокойно», генерал Самойлов характеризует армию, «как прекрасную», атака дивизиона Саблина «безумно смелая», под солдатскими сёдлами «красивые караковые лошади», молодой офицер, отличившийся в бою, «высокий и красивый», у него «усталое, измученное лицо». И даже в конце романа окровавленный и изуродованный труп Саблина принимает «рослый красивый» солдат, дрогаясь от увиденного: «Сердечный барин! Хороший, храбрый офицер был. Он нас в атаку на германскую батарею во-дил». Особое внимание уделяется заботам офицеров о солдатах и их фронтовому братству. Со всей рачительностью полковник Дорман заявляет: «Прежде всего, господа, надо накормить солдат. За кухнями послали?.. И с мясом, понимаете. Мясо-то заложено?.. Узнаю, если кто не покормил, не взыщите, господа батальонеры, не поздоровится». А вот как изображается близость полковника и солдата, сидящих в одном окопе в ожидании боя: «Офицер и солдат сидели рядом, прижавшись

друг к другу так, что Козлов чувствовал острые плечи Железкина сквозь его шинель. Оба ели холодное мясо консервов, доставая его руками. Их думы были одинаково просты, и скованны они были на такое житие надолго». В свою очередь и солдатская масса свято почитает офицеров, повинуюсь их приказам и проявляя высокое чувство патриотизма. По колено в ледяной воде воины наводят стратегически важный бревенчатый мост. И когда кто-то из рабочих бросает реплику: «Все простудятся, все помрут», следует ответ: «Ну, что ж поделаешь. А нам мост нужен. На то и война». Добровольно на верную смерть вызывается идти юный хорунжий Алёша Карпов, чтобы дать возможность прорваться всему полку. И главный герой романа генерал Саблин — личность неординарная: человек чести и мужества, прошедший очищение войной и ставший мучеником революционной стихии, изображается в контексте «высокого». Раненный в одном из боев, лёжа на поле боя, он видит перед собой «синее бездонное небо», в его сознании проносится мысль: всё ли им сделано до конца, — что, несомненно, отсылает к эпизоду ранения князя Андрея Болконского под Аустерлицем (Л. Толстой «Война и мир»). Но всем ходом событий, вольно или невольно, автор, в результате, приводит его к признанию, характерному для «идеального» героя: «он знал только власть света, власть тьмы ему была непонятна». Эта «бесовская сила» и погубила его.

Впервые глубокое расхождение во взглядах на войну возникает в диалоге двух генералов. В ответ на заявление Пестрецова о том, что войну нужно вести «во имя честности», чтобы выполнить свой долг перед союзниками, Самойлов с возмущением констатирует, что в политике честности не бывает: «Не надо таскать своими голыми руками горячие каштаны для других... Нельзя освободить Европу и губить Россию... Какое нам дело до Англии и Франции? Ведь мы Россия. И нам дороги только свои, русские интересы. Пора стать эгоистами и понять, что эту войну нас заставили вести во вред нашим интересам». Как выход из «тупиковой ситуации», он предлагает заключить мир. Извечные русские вопросы: «кто виноват?» и «что делать?», в результате затяжной войны, в романе будут накаляться стремительно, захватывать самые разные социальные круги, включая армейские «сверху-донизу». Судорожное напряжение в поисках «выходов» из неминуемой катастрофы будет расти и ветвиться. Но все эти поиски не выходят из «разрушающего круга». Характерно, что писатель проводит их через восприятие Александра Саблина. Генерал Репнин посвящает его в заговор своего союза, считая главным виновником — ненавистного Распутина, которого следует уничтожить. (На что Саблин отвечает, согласно «идеалистическим» принципам: «Какие бы цели ни были, — способы не красивы, а мы созданы для красивых дел»). Дядя Саблина, генерал в отставке, открывает ему цель своего тайного сговора: удалить монарха и установить Учредительное Собрание, и «тогда победа» в единстве с союзниками («Россия без Европы — ноль. Кажется, у Достоевского: «У русского человека — два отечества: Россия и Европа», — утверждает он). Общественный деятель Поливанов, делая ставку на народ, говорит Саблину: «Если вы хотите победить, вы должны понять, что надо идти с народом, а не с монархом». А на реплику «Царь и народ едины» заявляет, что это уже в прошлом. Между тем, в разговоре с «революционным генералом» Самойловым, сторонником «маленького дворцового переворота», Саблин, заметив, что его надежда и опора — солдаты, получает ещё один сокрушительный удар: «Вы

им верите? Стадо баранов, подкупный низкий русский чёрный народ, который пойдёт за тем, кто покажет ему лучшую приманку». Немногим позже большевик Коржиков выскажет такую же мысль: «... Пролетариат пойдёт, как раб, за тем, кто поразит его воображение». При этом, в отличие от «революционного» генерала, этих «рабов» он сумеет направить по нужному ему роковому пути. Но, пожалуй, самый чудовищный разговор у Саблина произойдёт во фронтовой полосе с офицером-масоном Верцинским, как воплощением «бесовской силы», словно вышедшей со страниц пророческого романа Ф. Достоевского «Бесы» (Неслучайно у него «дьявольские» глаза: «зеленоватые, больные и злобные, приковывающие к себе, как змея»). Встретившись в блиндаже с Саблиным, он пророчесствует ему о будущем России и «силе» невидимых «семидесяти мудрецов», которые тайно правят миром. О своей вождельённой мечте он заявляет: «А если в этом садизме воспитать молодёжь? А? Создать этих смелых людей. Будем, как боги!.. И алое знамя революции, и задорные звуки шальной марсельезы! Но слушайте, слушайте! — Бога нет, Евангелие никто не читает... Убийство — не преступление. Любовь — есть просто животный акт без всяких прелюдий. Собственность — кража. Всё позволено, всё можно... Это будет стадо. Панургово стадо, которым легко будет править тем семидесяти мудрецам, что сидят наверху. Это будут рабы их... Вера, надежда, лю-бовь, слава, честь, честность, неприкосновенность личности, собственность — они будут свободны от всего этого...» Всю эту чертовщину Саблин назовёт бредом и сумасшествием. Между тем, Верцинский её уже примеряет, особенно к молодёжи. Но вот что примечательно: там, где личность обладает корневыми, духовными принципами, она отторгала её. Алёша Карпов, которому Верцинский внушает, что его любовь к старшей царевне Татьяне — «глупая болезнь», а сама она, как и весь род монарха, — «продукт вырождения», и «чем наглее вы будете действовать, тем больше у вас шансов на успех», с возмущением отвечает: «Но, если вы на этой мерзости и грязи построите русскую революцию, то что же она будет представлять из себя, как не ужасную мерзость... И ни в какую революцию я не верю! Мы, казаки, не допустим этого!» Но Карпов героически погибает: такие гибли в первую очередь. Армия утрачивала свой патриотический потенциал, а Россия теряла армию, без которой ей не устоять. Разрушающие идеи Верцинского благополучно падали в «сырую» массу.

Действие второй книги начинается с конца 1916 года, — с назначения Саблина командиром в другую дивизию. Но что он видит? Главнокомандующий Пестрецов рисует ему удручающую картину состояния армии и общественной среды: командиры дивизии, всю жизнь просидевшие в уютных кабинетах управления, «страдают медвежьей болезнью от звуков пушечной стрельбы» и отличить не могут полка от дивизии, новый состав офицеров, это «новое поливановско-гучковско-думское изобретение («всякий студент и гимназист может стать офицером, пройдя 4-х месячные курсы»), совершенно ужасен: полное отрицание войны и неприятие дисциплины. Они «не знают, как подойти к солдату и что с ним делать», и «серая скотинка» это уже хорошо поняла: «есть уже случаи отказа идти на позицию под влиянием прапорщиков», а «подле боевой армии растёт какая-то новая политическая армия, и кто её знает для чего». Далее Пестрецов переключает разговор на тактику войны, где не менее тягостно: «все помешались на Западном фронте», у французов фронт на 400 километров и «по три дивизии стоят в затылок, море стали и

свинца», а у нас на 2000 вёрст — огромное пространство, на котором можно «замотать, окружить и уничтожить любую армию», на него не хватит даже проволоки, ни то что артиллерии, — и «всё-таки французская тактика». Что же касается тыла, он также катастрофичен: «Наверху — мистика, Вера в Божественный промысел... Посередине глубокое недовольство и желание перемены — хотя бы и революции... Кругом разврат небывалый. В Петрограде так веселятся, как никогда». Разумеется, при таком ужа-сающем положении дел у Саблина возникает вопрос: как же не бороться и не донести об этом верхним эшелонам власти. Но в ответ он слышит неутешительное: «Писать доклады, проекты? Всё кладётся под сукно».

Очень скоро Саблин все эти картины увидит собственными глазами. Встретившись со своим когда-то вышколенным строевым корпусом, он с трудом узнаёт его: «безразличные тупые лица», в грязных, старых шинелях, большинство без погон, оборванные, в лаптях, опорках, башмаках, редко в сапогах, они не отдавали чести, не знали ружейных приёмов. Его поразило то, что они были либо очень молодые, либо старше 30 лет: «середина» — выбита, уничтожена. «Настоящих солдат в России не осталось», лишь «сырой материал». И он вспомнил уроки тактики и стратегии: «Армии, разбитые на полях сражения, разбиты задолго до самого сражения». С этого момента Саблин понял непоправимость случившегося: армия обречена на гибель. А с ней и Россия. Неуправляемая стихия бушевала по бескрайним просторам страны. Писатель поверяет трагические события сознанием, прежде всего, представителей военной среды самых различных чинов и званий. Своеобразный итог подводит старый унтер-офицер, слушая пламенную речь «о завоевании революции» Керенского, отправляющего в изгнание императора и его семью: «Да где же эти завоевания, когда почитай по всему фронту наши отступили, а по всей армии, слышать, бунты идут!» Роман завершается потрясающей катастрофой. Отчаливает от родных берегов в изгнание много-страдальная Россия. Но как велика вера её в возрождение! Один из истинных патриотов — Осетров уверяет: «А выживет Россия. Выживет. Сильная она до чрезвычайности... Нет сильнее её... И вымирала и выгорала не раз, а вставала всякий раз лучше и красивее».

Каждое историческое время выдвигает свой образец романа, концепция которого формируется под знаком судьбы самого автора. Роман П. Краснова был завершён в 1922 году, последняя книга А. Толстого «Хождение по мукам» — 22 июня 1941 года, М. Шолохова «Тихий Дон» — в 1940. Но ещё не закончилась Великая Отечественная война, а у Б. Пастернака, поэта-лирика, не склонного до сих пор к эпической прозе, возникает, по его словам, «состояние физической мечты» о книге «с дымящейся совестью», «переворотом в размере мировом», где история воспринимается, как «вторая вселенная», а главный герой — Юрий Живаго — «равнодействующая» между Блоком и собой.

«Доктор Живаго», отданный автором для прочтения итальянскому журналисту, аккредитованному в СССР, не был возвращён адресату, и вскоре вышел в свет в Италии. Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии вызвало волну безумного негодования. Но вот как писатель отвечал представителю ЦК на призыв «покаяться»: «Я написал то, что думаю, и по сей день остаюсь при этой мысли. Может быть, ошибка, что я не утаил его от других. Уверю Вас, я бы его скрыл, если бы он был написан слабее. Но он

оказался сильнее моих мечтаний, сила же даётся свыше, и, таким образом, дальнейшая его судьба не в моей воле. Вмешиваться в неё я не буду. Если правду, которую я знаю, надо искупить страданием, это не ново, и я готов принять любое». Это был поистине подвиг художника. Но что же в романе так возмутило советских идеологов? Приведём лишь один пример — оценку Э. Казакевича, определившего идею произведения так: «Судя по роману, Октябрьская революция — недоразумение, и лучше было её не делать». Между тем, и Первой Мировой войне, как предтече революции, писатель придал своеобразный смысл.

«Доктор Живаго — роман историософского значения. Под таким ракурсом Б. Пастернак рассматривал и войну: «Она была искусственным перерывом жизни, точно существование можно было на время отсрочить (какая бессмыслица!)» Это нарушение органического течения бытия породило взрыв невиданной силы — революцию: «Она вырвалась против воли, как слишком долго задержанный вздох». Но чем явилась для писателя война, как универсальное явление? Прежде всего, «кровавой логикой взаимоистребления» народов. Наряду с другими глобальными проблемами он включает в роман и проблему еврейского населения, которое «испило в период войны всю чашу страданий». Резонирующим камертоном к ней становится сцена глумления казака во фронтовой полосе над стариком евреем, которую наблюдают, рыдая, две его внучки и жена, — что даёт повод для диалога двух товарищей: Гордона и Живаго. Первый с чувством негодования говорит о том, что за такую «простейшую низость» «в тысячи случаев бьют по морде», но еврейский вопрос — это «область философская». Юрий Живаго обращается к Евангелию, но прежде он спрашивает: «Что такое народ? Нужно ли нянчиться с ним, и не больше ли делают те для него, кто, не думая о нём, самой красотой и торжеством своих дел увлекает за собой во всенародность и, прославив, увековечивает?» Далее разговор переходит к экзистенциальной теме: в «христианское время» нет просто народов, а есть «обращённые, претворённые», которые сами по своей воле приняли завет «существовать по-новому» во имя «блаженства духа». Христианство утверждало: «В Божьем Царстве нет эллина и нет иудея — перед Богом все равны», — истина известная ещё философам Древней Греции и мудрецам Ветхого завета. Но оно устанавливало и непроторённое: в новом Царстве Божиим нет народов, есть личности. Между тем, появились «средние деятели», заинтересованные в узости понимания этой заповеди, сводя к идее «малого народа» страдальца, чтобы можно было «судить, рядить и наживаться на жалости к нему». Этот исторический экскурс вызывает в Живаго ряд сакраментальных вопросов: как мог народ такой красоты и силы «позволить уйти из себя душе»? Кому было выгодно его «добровольное му-ченичество», чтобы веками «истекали кровью ни в чём не повинные старики, жен-щины и дети»? Отчего «властители дум» еврейского народа не пошли дальше «слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости»? Не давая исчерпывающих ответов, они тревожат и ориентируют на самый глобальный и актуальный вопрос: как случилось, что «обращённый народ», единый перед Бо-гом оказалась втянутым в мировую бойню, истребляя самих себя и себе подобных? Взгляд Живаго обращён к еврейскому народу, претерпевшему столько страданий, а во время войны «вдобавок» получающему погромы, издевательства и обвинения «в недостаточности патриотизма». Противоречива сама ненависть к нему: «Раздражает в нём как раз то, что должно было трогать и располагать»: бедность, слабость

и «неспособность отражать удары». В результате высокая духовная миссия христи-анства подорвалась изнутри самими «обращёнными народами». А потому «ход ве-ков подобен притче и может загореться на ходу», — так напишет в своих стихах поэт Юрий Живаго. И «возгорание» уже началось: война включилась в один роковой круг с такими разрушительными универсалиями, как «революция, пожары и землетрясения», — всё это «вдруг превращается в огромное пустое место, лишённое содержания». (Не случайно артиллерийское громыхание, которое слышит прибывший на фронт Гордон, сравнивается с гулом вулканического происхождения).

Юрий Живаго — поэт, врач, талантливый диагност, — представитель самой гуманной профессии. Но он не может устранить страдания и гибель. «От вида раненых можно упасть в обморок», — говорит он приехавшему на фронт к нему Гордону. Конопляное поле, запах которого сливается с запахом залежалых трупов, вызывает у него ужас, а деревни, похожие на выжженные пустыри, где что-то вытаскивают погорельцы, глубокое сострадание.

Идеальная личность для Ю. Живаго — А. Блок, как «явление Рождества во всех областях русской жизни и в новейшей литературе». Его жизненное кредо — мирная семья и работа. Но настоящий мужчина для него тот, кто «разделяет судьбу родного края». Революцию, сменившую ненавистную войну, вначале он встречает, как «великолепную хирургию», способную «взять и разом артистически вырезать старые вонючие язвы». Но её стихия обернулась ещё большим ужасом, чем война: для гармоничного и хрупкого мира А.Блока, она оказалась не меньшим злом, сметая на своём пути и «образец», и героя, и его близких.

Но вот вышла в свет десятитомная эпопея А. Солженицына «Красное колесо», над которой шла интенсивная работа с 50-х до 1993 годов — ещё не остывшего времени негативной реакции на роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». Можно предположить, что, помимо других немаловажных причин, в активизации обращения писателя к теме войны и революции сыграл и этот фактор. Определив жанр, как «повествование в отмеренных сроках» и только как эпопеи, он сосредоточил внимание на Узлах («Август Четырнадцатого», «Октябрь Шестнадцатого», «Март Семнадцатого», «Апрель Семнадцатого»), исследуя подробнейшим образом, порою поминутно, развитие катастрофических событий. Цель А. Солженицына: понять причины исторической трагедии, постигших нашу страну. Конечно, теоретически все «сдвиги» и провалы российских истории он знал и вникал в них, но важно было непосредственно, шаг за шагом, почувствовать их: где, как и от какой роковой ступени неоправимо покатило её закатное колесо. В итоге исследования огромного количества различного рода документов (протоколы заседаний, выступления, воззвания, постановления, воспоминания, реплики и т.д.), написанная уже в четырёх Узлах, проделанная с таким размахом работа остановилась на апреле 1917 года: ещё шла Мировая война, впереди были август 1917 года, когда русские войска потерпели поражение на Рижском направлении, Корниловский мятеж и другие важные события, но по логике развития становилось ясно, что Временному Правительству с Керенским развала России ни внутри, ни на фронтах не остановить: спасительный момент был упущен. К тому же изображение в таких масштабах и мельчайших подробностях потребовало бы по протяженности нескольких жизней писателя.

Великий философ А.Ф. Лосев эпопее «Красное колесо» дал исключительную оценку, утверждая, что она «лучше Толстого. Толстой, конечно, хорош, но у него не было всемирного катастрофизма». И далее, ссылаясь на оценки классиков Д. Мережковского, он заметил: «Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский в изображении страстей души и тела. А вот это уже я, Лосев, говорю: Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему помогает его время такое ужасное. Социальные страсти, состояние невроза, когда люди сами себя не понимают, на мелочи реагируют сильно, на сильные — мелочно».

Но что же необычного в этом произведении А.Солженицына, которое он считал основным делом своей жизни? Прежде всего, перед нами совершенно неведомое произведение по жанру: эпопея-исследование, которая охватывает огромное географическое пространство всех воюющих сторон (фронты Юго-Западный, Кавказский, Северо-Западный, Восточный), жизнь Петербурга и Москвы, российской провинции, Дона и Кубани... Наряду с вымышленными героями включаются целые ряды героев исторических (Самсонов, Ренненкампф, Кутепов, Алексеев, Гучков, Милюков, Шульгин, Коллонтай, Ульянов, Шляпников и т.д.) Порою имена слегка изменены, и у них есть свои прототипы (писатель, донской казак Ковынев — Ф. Крюков, студент Саня Лаженицын — Исай Солженицын, отец писателя). В эпопее воссоздана колоритно и широко сама эпоха с её нравами и достопримечательностями, начиная от популярных папирос «Дядя Костя» и введённого на время войны «сухого» закона, который ловко нарушался в питейных заведениях, до модных одежд не только в столицах, но и в деревнях. Символично само название романа. Впервые Красное колесо возникает в сознании генерала Воротынцева (героя, несомненно, близкого автору) во время боя. Состоявшее из трёх ободов: серебряного, голубого и красного, оторвавшись от телеги и ярко вспыхнув, оно теряет первые два цвета, но красный переходит в алый и в кроваво-багряный. И вот оно всё больше набирает силу: «Но почему оно катится само? И вдруг свалилось». Впрочем, образ Красного Колеса возникает гораздо раньше: в разгорячённом мозгу, воспламенённого идеей революции Ульянова-Ленина, живущего много лет в эмиграции и с азартом разгоняющего, пока безуспешно, кровавое колесо русской истории. В движение его приведёт, постепенно разгоняя до невероятной силы и скорости, война. В эпопее есть образ, органично связанный с ним, плавящегося кристалла, природу которого объясняет молодым людям социал-демократ Версанофьев: сначала его плавка идёт очень медленно, но, в результате «разогрева», движение ускоряется, и когда происходит «разъединение кристаллов в межузолье», следует «плавка» и тогда уж нет силы, которая могла бы остановить это «распадение».

А. Солженицын постепенно раскручивает перед нами роковую пружину российской истории. Вот с объявлением войны московские площади бурлят патриотическими призывами типа: «На защиту братьев-славян!» И как все уверены: за три месяца кончим войну! Солдатский окоп, офицерский блиндаж, Ставка, безалаберщи-на и путаница в исполнении приказов, несогласованность действий на фронтах. Словно на широкоформатной кинопанораме открывается кадр за кадром жуткий разгром армии генерала Самсонова, 3-й армии на Юго-западном фронте. Оторвавшиеся от своих, бредут из окружения солдаты; не ведая, что «свои», по ним открывают огонь... Исторический пласт переходит в философский, политический, экзистенциальный. Человек

на войне, его поведение передается с тончайшим чувством проникновения в психологическую сферу, с глубоким знанием русского языка. Вот как изображается состояние солдата, испытавшего ужасы массированного удара во время боя под Уздау: «И стали разгибаться, высовываться, смотреть. Дикохриплые голоса, из смерти возвратившиеся, тоже разминались, вступали в звучность: что сегодня мно-о-ого покрепче, вчера такого не было; что слева курит посильней нашего, гляди!.. Труден, труден возврат от камня к жизни, — а надо было не разминаться и не глазеть, а поскорее винтовкой спохватываться: как лежала она, не набилось ли грязи, тут ли патроны, до конца ли примкнул штык, — ведь немцы огонь унесли не из жалости, ведь вот уже подбираются, наверно». Но вот вектор событий писатель переключает в верхние эшелоны армии, и его оценка обретает ирониче-скую жесткость: «Половина восьмого, в Ставке ещё не проснулись, не пили утреннего чая, а здесь с рассвета перемолотили уже тысячу человек, да ведь день боя ещё впереди!»

Всем ходом сюжетного развития А. Солженицын утверждает неподготовленность России к вступлению в эту ненужную для неё войну. Противник это очень хорошо чувствует, высказывая сардонические оценки по «поводу» российской стратегии и тактики: «У них, что ни пушка, что ни конь — всё инфантерия», «это война артиллерийская, а русские до сих пор твердят: штык — молодец, пуля — дура, снаряд — дурак», они не умеют «согласовывать движение больших масс». Авторское внимание сосредоточивается на нерациональном использовании военных чиновников на боевых постах (так, генерал Благовещенский до 14 года никогда не командовал на фронте даже ротой, «а тут сразу — корпусом»), на дефиците технической оснащённости армии (не хватает снарядов, нет гаубиц), шифровальные отделы не владеют необходимыми знаниями и зачастую секретные данные передаются «по искровке» открытым текстом. Не менее тревожит писателя и отсутствие понимания Отечества среди солдат и офицеров: «солдаты воюют только за веру и царя». В этом он видит «краеугольный камень» назревающей российской трагедии. Когда потускнеет имидж монарха, а затем и падёт его державная корона, пошатнётся и вера, — воевать будет не за что. Конечно, писатель не обходит и победы русской армии с переменным успехом, начиная с конца 1915 года, и героизм солдат, и их русскую сметливость, и уставную исполнительность. Но для него, прежде всего, важно определить те разрушительные тенденции, которые целенаправленно и планомерно подрывали боевой дух русской армии, а вместе с ним и основы государства. При этом, А. Солженицын, как правило, исключает публицистические сентенции или различного рода философские отступления. Истина рождается в полемических суждениях.

В таком контексте весьма характерен драматический диалог Воротынцева и Свечина. Речь идёт об исходе войны. «За эти 27 месяцев выбит наш корень, Андреич! — с тревогой говорит Воротынцев. — Это уже не те полки, которые шагали по Пруссии тогда у Самсонова. Нам армию подменили... Никакая победа нам не заменит убитой России! Мы сейчас добиваем тело народа... Народу обещали победу в 3 месяца, народ выдохся, народ хочет только замирения! Настроение солдат только такое: затеяли баре войну и убивают мужиков. Если Россия подменится, станет другая — зачем нам победа?!» Такое суждение приводит в недоумение его оппонента: «Так тебе что — уже и победа не нужна?.. Теперь выскочить из войны? Сепаратный мир? Но, если Россия отделится от союзников, она и окажется в побеждённых.

Преждевременный мир привёл бы Россию к беде». А в ответ он слышит: «Если мы не уничтожимся, вот это и будет победа, после всех глупостей... Не о союзниках мы должны думать, а о своём народе. А эти союзники довольно на нас покатались, хватит. Все войны они и вели для своей выгоды, а только мы, болваны, без толку суёмся. Я иногда думаю, что хитро нас впутали в эту войну: союзники нуждались осадить Германию, — а хорошо это сделать русскими руками: заодно и Россия крахнет внутри... Так пусть они свою победу берут, а нам нужно только не уничтожиться». Вопрос о том, что рациональнее: «замирение» или продолжение войны, в этом споре останется открытым. Но вся взбудораженная российская атмосфера, которую так многосторонне воспроизводит А. Солженицын, подводит к неопровержимому выводу: воевать в условиях бунтующего фронта и тыла, страна не может. В раскалённых массовых сценах захвата рабочими «запасных частей», в диких погромах магазинов и питейных заведений, в болезненных психических процессах толпы, в негодующих выкриках на улицах Петрограда типа: «Не умеете воевать, кончайте!», «Надо бить немца сперва внутреннего!» начинает возникать весь ужас неуправляемого хаоса. Между тем, писатель проникает и в «стратегические тайны» «сильных мира сего»: промышленников и олигархов власти, наживающих капиталы на военных поставках и готовивших государственный переворот. Особо впечатляет образ всемогущего Гучкова. С виду «средний интеллигентный купец», «душа Москвы», человек, которого боится сам царь и люто ненавидит царица, со всей уверенностью заявляет: «С этим бездарным правительством не выиграть войну... Государя, неразлучного со своей ведьмой, надо заставить покинуть престол. Дворцовый переворот — единственное спасение России». Эта яacobинская речь вначале воспринимается, будто бы, как патриотическая. Но художник А. Солженицын уже при первом появлении персонажа акцентирует внимание на таких его деталях, которые подспудно вселяют сомнение в искренности его гражданского сознания: «комнатная фигура, благообразность, рыхлость, осторожные движения...» К тому же, широкий купеческий размах в самом фешенебельном столичном ресторане, где стол ломится от экзотических яств для приглашённых военных спецов с надеждой на их поддержку заговора, ещё более усиливает это сомнение. Умён, хитер и зловец — таким предстает в итоге Гучков. Предчувствуя революцию и прекрасно понимая, что в России она будет ожесточённое, чем «в приличной Франции 48 года», он уверен, что её можно остановить только «дворцовым переворотом». «Если мы допустим, чтобы нашего монарха свергали революционеры, пишите пропало! — готовьте шеи для гильотины! — утверждает он. — Надо не моргать, не ушами хлопать в ожидании милой революции, а нашим разумом, нашей волей — революцию остановить! — Или обойти... Если сдвинется масса — рухнет и государство, рухнет и вся Россия. Революция — это провал фронта». Противники такой позиции тут же найдутся, и не без оснований. Поражённый генерал Свечин ответит: «Во время войны — государственный переворот? Да всё ж поползёт, развалится!» Он выступит с разоблачительной речью: «А почему за всё вы дерёте в два дорога? Почему казённая пушка стоит 7 тысяч, а ваша 12? Всей общественностью проталкиваете через министерство высокие цены... Строите заводы, где и не нужны, только бы казённые погубить. А железная дорога планами 1922 года за чем занимается? А социал-демократы за чем там сидят при вас? Неужели о свободе радеют? И не вынохивают, как

всё взорвать?» Но это смелое выступление останется без ответа, не будет и дворцового переворота: его опередит Февральская революция.

Конечно, в поле зрения А.Солженицына все общественные силы России, ве-душие её к неминуемой анархии. Раскачивание государственных основ идёт во всех направлениях: «правые» социал-демократы и «левые» будоражат армию требованием мира, свободы и неподчинением приказам, призывают к революции, консерваторы, стремятся «сверху» провести «косметический ремонт» власти, монархисты все неудачи сводят к ненавистному Распутину, «ЗемГоры», сосредоточившие в своих руках военные заказы, превратились в коррумпированные структуры и прочие. О том, кто виноват, что Россия стала бурлящим котлом в период военных действий, и возможно ли было направить её из хаоса в терпимый порядок без резких и жестоких мер — вопрос в эпопее магистральный. Всеми результатами своего исследования писатель отвечает — виноваты все: монарх, убоявшийся крови и отказавшийся по требованию неполномочных представителей от власти, и тем самым подвергший гибели и страну, и жизнь свою и своей семьи; демократы, допустившие к правлению своим либерализмом Ульянова-Ленина; виновато Временное правительство во главе с Керенским, сидящим «на двух стульях» между большевиками и Советами, и сыгравшее роковую роль в развале страны; виноват и народ, опьянённый безграничной свободой, позволивший втянуть себя в невиданную анархию; виноваты большевики, «игроки без правил», дорвавшиеся до власти и не побоявшиеся пролить море крови. Для А. Солженицына — художника, политолога и философа, абсолютно ясно, — чтобы вывести Россию из хаоса, нельзя было «осчастливливать» её несвоевременными «одиозно демократическими» соблазнами, нужно было укреплять армию. Мир был необходим уже в конце 1916 года. Но время оказалось упущенным, и покатилось неуправляемое «красное колесо», которое могла лишь приостановить сильная власть: в больших движениях истории сила и высокие нравственные ценности, как правило, не совпадают.

Но что же предлагает А. Солженицын принять за образец общественного строя, и что для него «история»? Ответ на этот вопрос в рассуждениях старого демократа Варсонофьева: «Лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению... История не правится, история иррациональна. У неё своя органическая, а для нас, может быть, непостижимая ткань... История растёт, как дерево... Или, если хотите, — река, у неё свои законы течений, поворотов, завихрений... Но приходят умники и говорят, что она — загнивающий пруд, и надо её перепустить в другую, лучшую яму... Но реку, но струю прервать нельзя, разорвал — и уже нет струи... Законы лучшего человеческого строя могут лежать только в порядке мировых вещей. В замысле мироздания. И в назначении человека».

«Красное колесо» — закатное произведение А.Солженицына, до сих пор не прочитанное и не осмысленное до конца. Огромен потенциал его проблем, вопросов, размышлений, который ждёт своего исследователя. Как, впрочем, и все значительное, что было написано почти за столетие о Первой Мировой войне и неотъемлемой от неё русской революции.

## Василий Дворцов



### ПРАВЫЙ МИР

Поэма

Памяти моего деда  
Ильи Васильевича Дворцова

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

*От чего у нас солнце красное?  
От чего у нас млад-светел месяц?  
Голубиная книга*

Батько, твои ладони –  
Черпень для Океана,  
Который Землю качает  
Под коганцами Стожар.  
Батько, твоими плечами  
Мир заграждён от невзгоды,  
А лысина с белым шрамом –  
Адамовая гора.  
Ноги твои – ворота,  
Чресла – платан за гайтаном,  
Свиснешь – у турок буря,  
Зыкнешь – Кавказ затрусит.  
Батько, ведь будет ладно,  
Коли я тоже стану

Сильным, как ты, и смелым,  
Истинным казаком?  
«Добре же, сынку, добре.  
Наша руда не иссохнет –  
Христос нам поставлен примером,  
За ним мы походствуем с верой,  
Русскую правду храня.  
Пику ты примешь и шашку,  
Фартовую ту фуражку,  
Что в турках чуток подкопtilась,  
В Манчжурии залоснилась,  
В Румынии обожжена.  
Главное ж, сынку, наследство –  
Наше казачие братство,  
Наша вкругáлье порука  
Душу положить за друга,  
Смерть за побрата принять».  
Батько, а как же мамо?  
Серденько разве сдюжит,  
Коли вражина сабля  
Батькину шапку сшибёт?

---

Дворцов Василий Владимирович, прозаик, публицист, поэт, член Союза писателей России, секретарь правления СП России. Лауреат нескольких литературных премий. Родился в Томске в 1960 г. Живёт и работает в Москве.

«Полно тебе балабокать.  
 Мужчинам не дело охать. –  
 Как поле весною бороним,  
 Мы тоже зерно в нём хороним,  
 Но радостно на душе.  
 Ведь смерть (что её сторониться?) –  
 Она лишь кордон на границе.  
 А там ещё вельше просторы –  
 Степи, лиманы и горы,  
 Дедов честная страна.  
 Батько, скажи, а скольких  
 Врагов басурман и немчинов  
 Своими швыдкими руками  
 Ты порубал-пострелял?  
 «Зерно, умирая, рождает.  
 Не аду казак угождает –  
 Не только гурдой казак машет,  
 Он пай свой шанует и пашет,  
 Ниву трудом семенит».

\*\*\*

Казак Василий сына Илию  
 Вёл шляхом под густыми камышами.  
 Азовские ветра внахлест шуршали,  
 Вдывая облака на западном краю.  
 Стрижи, в поднебье искрами звеня,  
 Пророчили горячую погоду,  
 Власть чавкалы сазаны подле брода,  
 Где в Ее сивого дедок поил коня.  
 Казак Василий с сыном, налегке,  
 Спешили осмотреть свои покосы.  
 Над топким бережком тряслись  
 стрекозы,  
 Бульбукал квас в заплечном туюске.  
 Босой Илийка успевал на круг  
 Рубать лозинкой лопухи и дудник.  
 Кузнечиков испуганные дуги  
 Трещотками живили сонный луг...  
 Казак Василий, отирая шрам,  
 Дымил на солнце, как дождём омытый.  
 Под гимнастёркой, жинкою зашитой,  
 В плече свербили девять вражьих  
 грамм.

А в сердце спела Божья тишина,  
 Густилась негой с каждым полным  
 вдохом,  
 И блазнилась дурнейшим брехом

Горючая гражданская война.  
 Сынишка победил «врага»  
 И убежал на вздыбленность кургана.  
 Издалека, как с плечи великана,  
 Тянул ручонки к кучным облакам.  
 Тянул ладошки к чёрточке орла,  
 Царившего над полночашным краем –  
 Казачьим рукотворным раем,  
 Щедротами усвятого стола.  
 Орёл кружил над купами садов,  
 Над житнями, гречихой и бахчами.  
 В станичных пташнях пивени кричали,  
 Мычал под липой самопас коров.  
 Дымились люльки важных стариков,  
 Белели в грядах женские рубахи.  
 Для новой мельницы тесала плахи  
 Семья иногородних мужиков...  
 Орёл оглядывал курган, и шлях,  
 И плес речной, и хутор дальний,  
 Когда-то заболоченные плавни,  
 Трудом преображённые в поля.  
 Кубанским нивам краю не видать –  
 Особый свет работных полдней.  
 ...Орёл, мальчишка пусть запомнит  
 Вот эту тишь, вот эту благодать!  
 Линейная, граничная земля –  
 Царицын дар, потёмкинская милость.  
 В походах дальних сердце так томилось  
 Вернуться на призыв коростеля,  
 Вернуться к серым плетям бузины,  
 Коснуться притолки родимой хаты,  
 Огладить лбы прижавшимся ребятам,  
 Вдохнуть впотай молочный жар жены!..  
 Казак Василий, растирая пот,  
 Смотрел на набегавшего Ильюшку.  
 Что нужно человеку? Всё в краюшку –  
 Чуток землицы, двор, здоровый скот.  
 Что надо человеку? Правый мир,  
 Вот это небо, эти камышины,  
 Речная рябь, сливовица за тыном,  
 Курган, орёл, да коники для сына.  
 Что надо человеку? – Правый мир.

\*\*\*

...Батько, ведь будет ладно,  
 Тоже, когда я стану  
 Сильным, как ты, и смелым...



А за окном – гром солнечных фанфар. Наивностью доверчивой нарядна,  
 И тихо пухнет полуэскадрон, Невинностью доверчивой светла.  
 Как почки на напряжных ветках: Антоночка, Антонушка... жена...  
 Полсотни молодых и крепких – Когда б Илья мог загадать такую,  
 Кто не Геракл, тот точно Аполлон. Когда и где вообразить родную,  
 Товарищ Штейн, эх, если б – про Что б так душой и статью сложена?  
 любовь! Подумать только – доля казаку:  
 Полсотни молодых и крепких За тыщи вёрст фортуна подкузьмила,  
 В мечтаньях о блондинках и брюнетках, Приказом отмахнув почти полмира,  
 А вы всё – «гроб, раб, зуб, диктат Излить Кубань в Туранскую тайгу!  
 и кровь»... И низкий же фортуне той поклон!  
 Да парню в эту пору брат лишь конь, – И благодарствие служивой доле  
 Скакать по полю в три креста аллюра, За то, что так не перекаати-поле,  
 Скакать-ласкать, снимать красу А высших смыслов выполнен закон.  
 с прищура, Закон и по-земному подтверждён  
 Внимать-вживлять в себя весны огонь. Приказом командира гарнизона.  
 Полсотни молодых рубак-рубак – Эх, расщепилось братство эскадрона –  
 Лишь только укажите направление Такой затейник в бабство уведён!  
 Атаки лавой – и воодушевленье «...Советская граница, а за ней  
 Зарадужит на безморщинных лбах. Квантунцы-оккупанты интригуют...  
 Лишь только отмахните им: «Руби!» – Хунхузы контрабандою торгуют,  
 И молодость самодовольной силой Шпионят; всем китайцы –  
 Сметёт, снесёт громилу и верзилу за свиней...»  
 На Висле, на Дунае, на Оби. Тов. Штейн, дивизионный комиссар,  
 Зачем долдонить про пролетариат Долдонит два часа уже, зануда.  
 В его интернациональной цели? И ждёт жена, Антошечка, Тонюта...  
 Про роль ВКП(б) на авансцене И жжёт нутро от солнечных  
 Грядущих общемировых рейхсрат? фанфар...  
 Зачем? Ведь за окном – возжитиё, Сыны крестьян и бедных казаков,  
 Вот-вот багульник зацветёт на сопках. Сопят в тоске по подвигам  
 И гуси-лебеди в болотцах топких былинным,  
 Трубят весне предназначение её... Где порох в смеси с потом  
 Лишь «всадник молодой» среди других лошадиным,  
 Не мялся, не вздыхал, не мучил кантик – Где скрипы портупей и звяканье  
 Он две недели, как уже женатик, клинков.  
 Он две недели при делах мужских. Где все герои в главных орденах,  
 Ах, Антонина, Тонечка... жена... Где честь и слава за лихим наскоком...  
 Красавица шаманских сказок... Но – батя строгим обложил зарокон  
 Нет слов для счастья, нету нужных В любых раскладах, любым боком  
 красок, – В межбратских не участвовать  
 Амурский край, амурная страна! боях.  
 Амурский край. Вкруг сопки да тайга,  
 Доверчиво невинная природа, \*\*\*  
 Доверчиво наивные народы. ...Летом шмель гудел, – жди да  
 И всё по-полной – солнце и пурга, жди его,  
 Жара и ливни, без преград ветра. А по осени – сливы в осыпи  
 И та ж любовь – чиста и безоглядна. Прошептали мне о шагах твоих...

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*В эту ночь решили самураи*

*Перейти границу у реки.*

*Песня на слова Б. Ласкина*

Уже четыре дня  
окуре озера Хасан  
накрыл слепой туман.  
И оттого в штабах дурман,  
и вся стратегия – обман,  
отписка для Кремля.  
Обман, везде обман:  
в верхах нет планов для войны –  
приказы Блюхера темны,  
для Мехлиса они блажны,  
а Штерну вовсе не нужны –  
туман, во всём туман.  
Туман четыре дня.  
Не в силах выполнить приказ,  
в грязи кавполк – под хвост – увяз.  
Обозы где-то сбились с трасс,  
и авиация «без глаз»  
уже четыре дня...  
Чья канонада с двух сторон  
четыре этих дня?  
Где танков наших эшелон?  
Не видно собственных колон,  
и сухопайный слюногон  
жжёт глотки до синя.  
... Уже четыре дня  
Хасан накрыл туман...

\*\*\*

Муж бесценный мой, шлю тебе привет  
От родных, друзей, от соседей всех!  
Будь здоров всегда, смелым будь  
во всём,  
Защищай Советскую нашу Родину,  
Трудовой народ, справедливый строй.  
Враг жесток, как волк, росомахой подл, –  
Ты ж, как сокол, будь, остроглаз и скор.  
Ждём с победой мы – я и деточки:  
Богатырь наш сын, продолжатель твой,  
И малюточка, дочь-красавица.  
Мой любезный муж, дорогой мой муж,

Весь в тебя герой, наш Володенька,  
Такой гордый взгляд –  
словно царь-журавль...  
Береги ж себя, мой желанный муж!  
Защищай Советскую нашу Родину,  
Дело Ленина, дело Сталина.  
Ждём тебя домой, очень ждём тебя...

\*\*\*

Разведка дважды возвращалась  
в ноль.  
Ракета жжёт туман – взывают  
мины –  
И треск разрывов, ярость матерщины,  
Туда – «Ура!», «Банзай!» – оттоль.  
Разведку жаль – потери велики.  
Ещё большей бессмысленность  
потери,  
Когда, решать задачи артиллерий,  
Штабными посылаются стрелки.  
Когда две батареи за спиной  
Молчат в отсутствии снарядов:  
Снаряды ж не доставлены со складов!  
За то в достатке блажи должностной.  
Снабжение – пораженческий бардак,  
Пехоте даже окопаться нечем,  
Винтовки не пристреляны, но едче  
Всех дурей у связистов кавардак.  
Приказы сыплются – чумной шабаш,  
Раздёрганные части в канители.  
В такой неразберихе – враз поверить  
В предательство и саботаж.  
В такой неразберихе взвод Ильи  
Распешили уже под утро.  
Туман озябшим перламутром  
Залётных трассеров студил угли.  
Задача: выйти в левый фланг врага,  
Нащупать брешь в японских  
заграждениях,  
Им скрытно нанести по силам  
разрушения,  
И отступить... неведомо куда.  
«Задача есть? Так, значит, выполняй».  
На подступах у сопки Заозёрной  
Трава от крови стала буро-чёрной –  
За штурмом штурм уже четыре дня.

Ночной туман... Колонною по два Кавалеристам не в удобь пешком.  
 Брели бойцы в липуче серых шорах. В ночной росе шуршанье и сопенье...  
 Туман, туман... Сопенье, хруст Спина переднего, татарник,  
 и шорох... и томленье  
 Спина переднего видна едва. Отходит смрадным – к заднему –  
 Ночной росой промочен – душком.  
 под живот, Туман, туман... Сверяет командир  
 Цепляясь за татарник шашкой, По компасу и забирает влево.  
 Илья упорною букашкой Как видит он? Ни кустика, ни древа...  
 Ручной тащил за взводным пулемёт. Спина и запах – весь ориентир...  
 Тащил, вздыхал, стараясь не отстать. Сопенье, хруст... Вдруг дикий крик:  
 Не так, не так всё представлялось «Дэс ка?!»  
 дома. – Ребята не стянули карабины –  
 Доведших до кровавого содома, Мрак пыхнул гроздьями рябины –  
 Товарищ Сталин, нужно Кто рухнул, кто рванул в бега.  
 расстрелять! Пальба в упор, и сверху на Илью  
 Товарищ Сталин, мы же конный Припал комвзвод горяче-мокрый.  
 полк: Разрядка судорог и хрип недобрый –  
 Обучены манёврам и разведке, Шаги кромешны к инобытию.  
 Научены рубить, стреляем метко, Пальба в упор, – «Банзай! Банзай!  
 А проволоку резать – что с нас Банзай!» –  
 толк? Орут японцы близко-близко.  
 «Задача есть? Так, значит, марш А где искать для «дегтярёва» диски? –  
 вперёд!» Туман и ночь! И шёпот: «Отползай...»  
 Ночной туман... Слепая тишина... Так, даже смертным мигом старшина  
 И вся надежда – взводный Прикрыл Илью пробитым телом.  
 старшина: Да, Господи, таким примером  
 Он точно выведет, и ответёт. Исправится любая кривизна!  
 Он им отец последние шесть лет – И ты поймёшь, что есть твоя страна,  
 Спокойно мудрый, ветеран Твои товарищи, жена и дети –  
 германской, За что всегда, в любом суде в ответе,  
 Рубивший пепеляевцев в Без оправданий и сполна.  
 гражданской, Пускай твой фронт – костяшки кулака,  
 Не ведавший ни дроби, ни сует. Пускай вокруг предатели-иуды,  
 Илья сперва дотошно подражал Тебе даются истины минуты,  
 Во всём его уменью и терпенью. Когда душа раздета донага.  
 За старшиной ходил, до смехов, Тебе даётся право устоять,  
 тенью, Не уступить, не слечь, не уклониться –  
 Но в этом подражанье возмужал, Поступок и в кромешной тьме  
 зарницей  
 Встал, развернулся в твёрдого Способен жизнь поднять и осиять.  
 борца. «Противник справа! Всем залечь!  
 И вот, сержант и замкомвзвода, Стрелять!  
 Потеет под лопатой пулемёта – Огонь! Огонь!» – Откинувшись на  
 Жалеючи наводчика-юнца. спину,

## Правый мир

Илья так – лёжа, бил из карабина. С утра харкает смертью миномёт.  
И рядом подхватило залпов пять. Успешно заминировав подход,  
Нет, то не слёзы, то с бровей роса – Фашисты концентрируют войска.  
Прощай, отец, с войны ушедший Железную дорогу перекрыв,  
с миром. Враг душит окружённый  
Увидевшему вечность командиру Ленинград.  
Илья ладошкой призакрыл глаза... Для группы армий «Север» нет  
Японцев – что слизнуло темнотой: преград,  
Туман, колючки... – нешто, правда, Вильгельм фон Лейб нацелен на  
были? прорыв.  
Покликались, собрались, кто живые. За веком век сюда тевтонцы-псы,  
Перевязались, встали рядовые. Алкав лихвы, тянули боль и гнев.  
Илья, – как самый старший: Так вот и ныне – злобою протлев,  
«Взвод, за мной!» Ползут туманы кровавой росы...

\*\*\*

...Ждём с победой мы – я и деточки:  
Богатырь наш сын, продолжатель  
твой,  
И малюточка, дочь-красавица...

### ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

*Втечение 16 сентября наши войска  
вели бои с противником на всём  
фронте.*

*1941 г. От Советского Информбюро*

\*\*\*

Сентябрь цветится. Речка Мга  
Петлявится узорно меж болот.  
Заладожьа простуженный извод.  
Осинки откраснели донага...  
Вода кристальна. В бережной подмыв  
Над родничком набился листопад.  
Врезаясь в бледно зреющий закат,  
Далёких облачков горит извив...  
Онежье, Волхов – колыбель Руси,  
По плёсам клики лебединых дев.  
И здесь святые, сердце разогрев,  
Сияли Духом: «Милостив, спаси»...

\*\*\*

Со станции Любани от врага

\*\*\*

Что за судьбина – воевать пешком?  
Спасибо, разрешили в марш  
без сабель.  
Но марш неловок – кто-то косолапил,  
Тот шаркал, этот ёрзал под мешком.  
Осенний лес по-северному светл,  
К тому же месяц наполнялся силой.  
Дорога-полугать по-над трясинной  
Вилась сквозь ночь меж ив, осин  
и вётл.  
Осенний лес в полглаза полуспал.  
Сентябрь – покой, не срок для  
непогоды,  
В нём бабье лето, лирика природы,  
В нём только то, в чём мир уже  
устал.  
Но всё же лес развесил в полный  
цвет  
Лоскутные платки берёз и сосен,  
На влажность веток месяц блёстки  
бросил,  
На мшистый бархат – серебро  
монет.  
Кавалерийский сто девятый полк  
Под утро вышел на разъезд Погостье,  
Поспешно окопался к встрече  
«гостя»,  
Развёл по точкам пулемёты, смолк.

Ни звука в страхом съёженных А захлебнулись! Из оставшихся  
 домах, в строю  
 Лишь где-то нудно выли две «Пятидесятисимок» – залп ребята!  
 собаки. К ним пулемёты, ближе –  
 Да в станционном новеньком автоматы!  
 бараке Пришлось поползть прусскому  
 Пел слабоумный о «любви хамью.  
 волнах». ...Воронки, трупы, дым...  
 Но ровно в полдень, хоть сверяй А где ж оно, село?  
 часы, Пожарный смрад, обугленные груды,  
 Лес за околицей залился гулом: На чёрном – белые печные трубы –  
 Шесть «панзеров», тупых, Жило Погостье, вот и отжило.  
 квадратноскулых, Могилы изб, могильники дворов...  
 Ползли, задрав короткие носы. Амбары, бани, стайки, сеновалы  
 Дорога выгибалась под селом, Разорваны, размётаны, в развалах –  
 Удобно в бок фашистам Белёсый дым в смятении ветров.  
 бронейбойным – Белёсый пепел всех крестьянских дел –  
 Хлесть из болотца! Танки Двужильных, потных, грыжевых,  
 межсобойно натужных.  
 Подёргались, и – к лесу напролом. Мужичьих, бабьих, всесемейно  
 Разведка боем... Первый танк дружных –  
 зажгли, Деревни русской жертвенный удел.  
 Дым чёрным шлейфом по стерне Кто вспомнит, кто их перечтёт –  
 стелился. За все века нашествий, сеч, сражений,  
 А гул в лесу всё нарастал, копился, Те сёла – голубицы всесожжений,  
 И грянул ужасом разорванной Чья жертва вкупе небо покачнёт.  
 земли! Коган иль конунг, цезарь иль ногай  
 Тяжёлые снаряды – визг и вой – К вселенскости ведут свои походы,  
 Вбивались в насыпь, в избы, Ища бессмертной чести и доходов –  
 в огороды, Что перед ними лапотник-ратай?..  
 И поднимались, разрастались Чуть засмеркалось. Через насыпь  
 всходы в тыл  
 Цветов из ада, нави ледяной. Услали тяжко раненых к телегам.  
 Рвалось подземье грязью Окопы крыли нужды человек –  
 в облака... Кто нож точил, а кто штаны сушил.  
 Осколки брили тальники в болотах... Но немцы дня не дали на отстой,  
 А после поле всё усеяла пехота – И вновь разъезд, точнее – что  
 Шли кучно два, а то и три полка. осталось,  
 Шли как-то нагло, грубо, зло – Стеной накрыла гаубичная ярость,  
 За цепью цепь. Неспешно залегая, Вновь те же ужас, смрад, и визг, и вой!  
 Стреляли, снова шли. Будто играя, Во фланги танки двинулись скобой.  
 Будто для них всё в жизни уж Не ослабляя плотность артобстрела,  
 «зеро». Фашисты обошли Погостье слева,  
 И справа завязали ближний бой.

## Правый мир

Неслось цепное эхо: «Отступить!»  
Снимались, отходили эскадроны.  
Стволы каля, последние патроны –  
Палили «дегтярёвы» в «чёрта-мать».  
Паскудно, горько... Уходил полк  
в ночь  
Ополовиненный, смурной, разбитый.  
Просёлок чавкал глиною размытой,  
А позади... задуматься невмочь...  
А позади ещё дробился бой –  
Там билось, прорывало окруженье  
Оставленное подразделение,  
Отход полка прикрывшее собой.  
...В живых осталось сорок семь  
из ста.  
Лежали конармейцы, вкруговую  
Отстреливаясь в темень дегтевую.  
Но всё ж прицельно, скупое, не частая.  
Пылал, спасая эскадрон, вокзал.  
Отсюда к переезду – метров двести.  
Их пробежать бы разом, вместе!  
Да раненный Илья порыв вязал.  
Он трижды лично поднимал ребят, –  
Вставали все за командиром!  
Но подломило ногу ближним  
взрывом –  
Теперь для всех обуза лейтенант.  
Жгут пережал рванину на бедре,  
Но долго ль сдюжит вязка бинтовая?  
Бойцы Илью, собою прикрывая,  
В воронку затащили во дворе.  
И вокруг легли: коль смерть –  
на всех одна.  
Коль погибать – лишь Богом все  
судимы.  
Мы, русские, никем непобедимы –  
Нас не сломать ничем и никогда!  
Нас не согнуть – в нас вера и любовь,  
Мы, русские, – надежда всей  
планете.  
Судьбу свою мы, не торгуясь,  
встретим,  
В бою за други изливая кровь.  
Бойцы-товарищи –  
мальчишки-стригунки...  
Вот Дима Зотиков, вот Рафик Кобут...  
По месяцу у всех солдатский опыт –  
Устав, разбор винтовки, турники.  
Дивизию собрали в пень с грехом:  
Амур, Алтай, мордва, башкиры...  
Обстрелянные частью командиры,  
А рядовые – лишь б сидел верхом.  
Бесстрашные рубаки лопухов,  
Вчерашние заточники заборов  
Иванко Клуша, Петька Провоторов –  
Сыны крестьян, казаков, пастухов –  
Дерутся в обороне круговой,  
И даже в мыслях не мелькнёт  
сдаваться.  
«Приказываю: с боем прорываться!  
Я остаюсь. Я отвлеку... собой...» –  
Да что ж такое? Что, им не приказ?!  
Сползлись, чумазые, и митингуют.  
Вот в плащ-палатку, как бревно,  
пакуют,  
И вчетвером поддёрнули нараз...  
«Мы ж русские, товарищ лейтенант!»  
Гранаты – перебежка, вновь гранаты –  
Как грамотны в бою его солдаты!  
Вперёд, вперёд! Всем жить,  
всем жить, ребята!  
Вперёд, вперёд! Хватило бы  
гранат...  
\*\*\*  
...Онежье, Волхов – колыбель  
Руси...  
За веком век сюда тевтонцы-псы,  
Алкав лихвы, тянули боль и гнев...  
**ГЛАВА ПЯТАЯ**  
*Ни шагу назад!*  
*Приказ прочесть во всех ротах,*  
*эскадронах, батареях, эскадрильях,*  
*командах, штабах.*  
*Народный комиссар обороны*  
*И. Сталин*  
От Дона до Волги холмы запечённые.

Смесь глины и мела – смесь ржи и пшеницы.	Смесь крови и пыли – смесь ржи и пшеницы.
По бурым окоркам полынью горчёные,	Ковриги, куличища, колобы, просфоры –
Объёмно-обзорные пышки-царицы, Ковриги, куличища, колобы, просфоры –	От Дона до Волги земля в урожае. Но пышат зарницы тротилом и фосфором,
От Дона до Волги земля-самобранка. И вкусно так чудится – звёздами острыми	И режутся, крошатся в пыль караваи.
Осолено небо в заре-вышиванке.	***
Придите, вкусите! Народы, народности,	<i>Приказ Наркома обороны И. Сталина:</i>
Входите в чертоги для братского пира!	<i>О мерах дисциплины в РККА, О жёстком пресеченье самовольных отходов войск под натиском врага.</i>
Просторно для песен, бесед в беззаботности,	
Привольно для дружбы, вольготно для мира.	<i>Бросает</i>
Изведайте, гости, заветной сердечности.	<i>все</i>
Священные земли от Волги до Дона	<i>свои резервы</i>
Приподняты к истине, вздыблены к вечности –	<i>Враг, не считающий</i>
Здесь небо прозрачно до Отчего трона.	<i>потерь,</i>
Здесь слово – молитва, хоть криком, хоть шёпотом,	<i>Неся насилье</i>
Здесь мысль – сразу сила, что горы воротит.	<i>и ущербы Жильцам захваченных им областей.</i>
Но! Эхо прошения скатами грохота	<i>Он рвётся</i>
Накроет неправого, громом смолотит.	<i>к нефти Прикавказья:</i>
О чём вы молились? Чего ж вы так жаждали,	<i>Донбасс потерян, сдан уже Ростов.</i>
Пришедшие ныне с закатного края?	<i>Повсюду голод, смерть, и</i>
Окопами взрезана пышечность каждая,	<i>безобразье –</i>
И бомбами крошатся в пыль караваи.	<i>Развалы сёл,</i>
Кто вы? На каких языках ваши ропоты?	<i>руины городов.</i>
Германо-романские, кельтские вскрики...	<i>Уже под оккупантом треть народа,</i>
Хворит одержимостью ваша Европа там	<i>И мы никак</i>
Под новым вождём, сатанински безликим.	<i>не можем оправдать Дальнейшего</i>
Мы звали гостей в наши земли сычёные,	<i>фронтов</i>
Но вы-то не гости – пустые глазницы...	<i>отвода –</i>
От Дона до Волги холмы запечённые –	<i>Нельзя нам глубже отступать.</i>

## Правый мир

Мы верим,  
знаем –  
нет такого груза,  
Чтоб наш народ  
не снёс,  
не совладал.  
Враг страшен,  
но  
куда страшнее  
труссы,  
И –  
в спину –  
паники удар.  
Отныне  
только так:  
НАЗАД  
НИ ШАГУ!  
Приказ:  
для трусов учредить  
штрафбат,  
Заслон от паники –  
заградотряды.  
НИ ШАГУ  
более  
НАЗАД!

\*\*\*

Орёл скользил по плевре синевы,  
Раскинувшись аршинными крылами.  
В край неба надувными куполами  
Круглились дальних облаков главы.  
Под ними зыбился чуть видно Дон  
В осеннем стыло-студяном томленьи –  
То голых ив сквозное обрамленьи  
Финифтью оттеняло халцедон.  
Орёл парил, за кругом круг скользя,  
Всё более сползая в скос востока.  
Ещё чуть-чуть, совсем ещё немного –  
Его захватит низовой сквозняк!  
Его погонит, сломит и сомнёт  
Туда, где смута падыями густится,  
Но с клёкотом взметнулась к солнцу  
птица,  
Аршинными крылами сияя взлёт.

А с той неизмеримой высоты –  
Бугры, холмы – как вздохи тяжкой  
глины  
Между изложин и платформ  
целинных,  
Как панцири могильной пустоты.  
Холмы делили водосборы рек,  
Что круто развели пути варягов:  
По Волге плыли к персам, в царства  
магов,  
По Дону – к грекам, мимо печенег.  
Валами здесь возлёт водораздел,  
Определив судьбу Руси-России  
От мучеников до апостасии –  
Святой стратотерпения удел:  
От Волги мы язычились огнём,  
Семарглами, велесами, сварожьем,  
А с Дона встретили единобожье, –  
Фаворский свет теперь навечно  
в нём.  
Всё круче птица восходила ввысь,  
Всё шире разрастались её крылья...  
Вдруг звёзды заискрили тонкой  
пылью  
Вкруг солнца распахнувшихся  
кулис!  
Орёл достиг космической каймы,  
Тень крыльев перекрыла пол-Европы.  
По ней волнами нового потопа,  
Дымы, дымы... Одни дымы,  
дымы...  
Земля горела... Мокрая земля,  
Осенняя, остудная, пустая.  
Познавшая ненужность урожая,  
Нематеринской зряшностью боля...  
От Дона к Волге по её груди  
Катили, топали, ползли, летели,  
В двенадцать языков взахлёб  
галдели  
Язычеств древних новые вожди.  
На тех же междуреченских холмах  
Вновь для Руси-России перепутье:  
Что Запад? Что Восток? – Везде,  
по суги,

Чужая кабала в желаньях и в умах. В надежде боевой своей удачи.  
 Уйти иль устоять?.. Заклад стократ... Миры иные ближе, звонче, ярче...  
 И вот сошлись, собрались миллионы, Орёл, прощай! Тень скрылась за  
 Упёрлись лбами тьмы Армагеддона – Луной...  
 Настал твой час,

Царицын-Сталинград!

\*\*\*

Час вне часов – он как последний ... Уже под оккупантом  
 вдох. треть народа.

Пять месяцев – то пыль, то снег И мы никак не можем оправдать  
 вздымая, Дальнейшего

С холма Мегиддо на курган Мамаю фронтов отвода...

Сходила злоба браней всех эпох.

Сводилась лютость древних

упырей,

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Не грусти, моя родная,*

*В чёрных, траурных ножнах.*

*Казачья песня*

Чтоб ей сгореть в огне упорной  
 веры! –

Алтарь войны – алтарь любви без  
 меры;

Нет на земле святее алтарей. Муж бесценный мой, шлю тебе  
 Нет в свете более любви, чем та, привет

Что за своих друзей теряет душу. От родных, друзей, от соседей всех.

Она весь мир собой несёт и дюжит: Будь всегда во всём предан партии,

Солдата смерть есть исповедь Защищай Советскую нашу Родину!

Христа. Мы так ждём тебя – даже молимся...

А тем, кого призвали в судный бой, Если ж вдруг беда, не дай Бог, что

Кому досталось самой полной чашей вдруг, –

Черпнуть, глотнуть от ярости кипящей, Приходи любой, хоть калеченный.

Но выжить – тем не жить собой... Мой любезный муж, дорогой мой

Два миллиона улеглось во рвах, муж,

В окопах, блиндажах, воронках, Будь уверен в нас, крепко любящих.

В траншеях братских... А сыночек наш в классе первым

Чьи-то похоронки стал –

Доныне шевелят сиротский страх. На «отлично» всё – и на новый танк

Два миллиона... ровно пополам Собирает лом металлический,

Разделены не кровью, а идейно: Что б послать на фронт к тебе

Налево – царство расы безраздельно, помощью.

Направо – мера счастья по делам. И дочурки в рост не по дням-часам,

...Метель волнами бьёт Как увидят где фотографию –

под Млечный мост. На коне верхом кто-нибудь сидит,

Колонны танков, сонмы самолётов, Так кричат-звуют: «Папка-батько

Ряды колючки и гнездовья дотов – наш!»

Орлу уже не разглядеть из звёзд. Про тебя мы с ними беседуем.

Уже не различит он за пургой Муж бесценный мой, не щади себя,

Рысящий в ночь разъезд казачий Защищай Советскую нашу Родину,

## Правый мир

Дело партии, дело правое. Оплатили солдаты – каждый холм  
Мы же ждём тебя – даже молимся... на крови,  
\*\*\*  
Велика ты, Россия, – не накрыть тебя небом, Смерть за веру и землю –  
Не пройти тебя мыслью, только сердцем объять. смерть за святость земли.  
Кто, как ты, белым снегом, Зорям нет перерыва из восхода  
кто, как ты, спелым хлебом в закат...  
Осиянна-преполнена, что душа Знаешь, Русь, свои сцены,  
в благодать? знаешь, Русь, свои скрепы.  
Велика ты, Россия, – от закатов Знаешь... Помнишь... то вечная  
к восходам память солдат.  
Зорям нет перехода, нету сна  
петухам. \*\*\*  
Вся под светом бессрочным – Буран полмира замесил-замёл,  
оскудеть ли восторгам, Смешав-скрутив и небо, и дороги.  
Исчерпаться ли песням, пересохнуть В слепящих хлопьях, в ледяном  
стихам? ожоге  
Разве ж в силу кому-то, за свой век Под Сталинградом закипал «котёл».  
человека, Кавалеристы вышли танкам вслед;  
Разве в силу когда-то всё сказать Сломив передовой сопротивление,  
о тебе? Четвёртый корпус в южном  
Под буранностью шёлка, направленьи  
за пшеничностью меха Свернул колоннами в тугой рассвет.  
Маятой солонцовой ты перечишь Какой рассвет? – То воя, то свистя,  
судьбе. Метель врзлёт мела по гололёду.  
Ты, в своём преизбытке Скользя подковами, но не снижая  
Богом даденной власти, хода,  
В благолепье без края, в запределье Полки уступами шли на рысях.  
красы, Всё глубже, шире загоняя клин,  
Всё невесела, Русь, не охмелена Лавины всадников в лавине снега –  
счастьем – Виденья-призраки миражного набега  
Ивняки в подтопленьях родниковой Скользили нереальностью долин.  
слезы. Лишь топот, да храпение, да сап  
Отчего? От кого ли? Что за грусть Двух тысяч лошадей, да лязг оружия –  
вековая? Сквозь липкость снега, сквозь пурги  
Тайну эту пытали и друзья, и враги. закружбя  
Но, печалясь с тобою, я тебя понимаю: Полк за полком – сопение и храп.  
Слишком цены суровы, больно Бок о бок, или точно вслед  
тяжки долги. Караковые, чалые, гнедые,  
Русь, твою ненаглядность, величье Каурые в подпалах, вороные –  
без меры Несли героев зачатых побед.

Вперёд, вперёд! Кавкорпус, как река, Ты, немец? венгр? – за что вы здесь  
 Разлился рукавами по задачам. готовы  
 Полки и эскадроны наудачу Упасть в снега безруко, безголово –  
 Терялись в снежных балках и логах. За что? За почести, за прибыль... эх!  
 Буран в полмира, иступлён и лих... «Вперёд! Ура! Преследуем румын!» –  
 Теперь надежда вся на офицеров, Полк за полком, в буран,  
 На их ориентацию и веру по гололёду,  
 В своих бойцов, в товарищей своих. Кроша заслоны, через пулемёты –  
 Буран в полмира... Сколько Всё глубже, глубже Паулюсу в тыл.  
не смотри, Вперёд! Вдогон, внагон, наперегон –  
 Но авангард не разглядел засады – Сто тридцать километров стычек,  
 Вдруг пулемёт разлаялся надсадно рубки.  
 У высоты «сто сорок три и три». До Абганеровской всего за сутки  
 И сразу же из-под пурги в охват, Дошли. Метель, метель кругом...  
 Махая саблями с визгливым гиком, «Село занять, занять ЖД вокзал»...  
 Волною пенной вздулся мигом Лавиной вышел корпус на атаку.  
 Румынской кавалерии отряд. Взять станцию прямой – простой! –  
 Да, вот оно! – и – «Шашки наголо!» отвагой,  
 Да, вот оно! – и – россыпью Такое кто и где когда видал?  
навстречу «За Родину! За Сталина! Ура!» –  
 Как в праздник, – в долгожданность И тысячи клинков из снежной бури  
сечи Тысячекратной молнией сверкнули –  
 Два эскадрона, радостно и зло. Враг в панике оставил бруствера.  
 Сошлись. Ударились до звона, За Родину! – За сёла, города,  
до огня, Станицы, станции, посёлки,  
 Так, что и кони в ярости вздурили, Деревни, пашни, рощи и просёлки –  
 И – наконец-то! Всё, как их учили, – За всё, за всё, что в сердце навсегда!  
 Привстал в коротких стремених За Родину! – За деда и за мать,  
Илья. За труд отца, мечтания девчачьи,  
 Клинок при рубке вовсе не блестит, Младенца первый шаг и песнь  
 Кисть, локоть и плечо в своей казачью;  
свободе – За всё за то, в чём жить и умирать.  
 Послал на выдох, потянул на входе – Дух воина – без слов нести свой  
 Свист, хруст и ... и – всё, убит. крест.  
 Главней оружия в бою глаза: Нести годами тяготы окопов,  
 Рубя врага, уж смотришь на другого. Голодовать и вшивать. Средь  
 Что совершил – не стоит дорогого; сугробов,  
 Смотри везде, но только не назад. В грязи, в пожаре, снайперам  
 Дух воина – не озверелый гнев. в протест  
 Дух воина есть щит любви и веры. Преодолеть, перенести, стерпеть  
 За что ты здесь? За то и полной Бомбёжки, марши, сыпи гор,  
мерой оврагов,  
 Отдай себя, души не пожалев. Понтонный хруст... и – в полный  
 Вот ты, румын? или австриец? чех? рост в атаку!

## Правый мир

Путь воина – так, в рост, взойти  
на крест. И тогда встречай, родная!  
Лавина смяла, погребла врага. Что разбито – соберём. –  
Последняя лавина того века... Всюду горькие разрухи,  
Илья устало отирался снегом, В каждом язва или шрам...  
Который тоже, наконец, устал. Стосковались наши руки  
Впервые солнцем полдень засветил, По хозяйственным делам.  
И тишина... синица пела где-то... Поле вспашем, дом отстроим,  
Неделю не было такого света – На заводах пустим ток.  
Земля и небо вспыхнули победой От пилотки до сапог.  
В твой день, Архистратиге Михаил. Паровоз летит стрелою,  
По разгонам и мостам.

\*\*\*

...Велика ты, Россия, – от закатов  
к восходам. Едут славные герои  
Зорям нет перехода, нету сна С Кёнигсберга на Хинган.  
петухам... Далеко зашли солдаты,  
... Приходи любой, хоть Где ты, родные хаты?  
калеченный... Где ты, счастье моё?  
Скольких мы похоронили

### ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Вернулся я на родину. Кто мальчикам на то ответит:  
Шумят берёзки встречные. Как теперь расти самим?  
Песня, слова М. Матусовского* Они наши теперь дети,  
Мы построим правый мир.

Ах ты, прусская сторонка,  
Эх, немецкая страна.  
Помаша-ка нам вдогонку, –  
Твоя кончилась война.  
Помаша да поклонися  
Победителям своим.  
Нам теперь в иные веси:  
Самурая приструним.  
Посмотрели, показали,  
Доказали мы своё.  
А теперь вот приказали –  
Отбываем на восток.  
Паровоз летит стрелою,  
По родным уже местам.  
Едут гвардии герои  
С Кёнигсберга на Хинган.  
Как фашисту мы поддали,  
Так японцу отольём.

Из товарищей своих. –  
В пол-Европы всё могилы,  
Плачут сироты у них.  
Кто мальчикам на то ответит:  
Как теперь расти самим?  
Они наши теперь дети,  
Мы построим правый мир.  
Паровоз летит стрелою,  
По вагонам тишина.  
Едут русские герои  
С Кёнигсберга на Хинган.

\*\*\*

Илья Васильич внука Василька  
Легонько посадил поближе к холке.  
Конь умно покосился на ребёнка,  
Всхрапнул, надул горячие бока...  
Дед под уздцы провёл за ворота,  
По сонной улочке к свободе луга.  
Полдненным жаром нежилась  
окурга,  
Грудь распирала света полнота.  
Илья Васильич вёл коня на холм,  
Откуда синью разливались дали:  
Нерча, сверкая, резала спирали

В гравийных пляжах, в тальнике Поджили, расчесались бороздами  
 густом. Поля сражений – пахоты поля.  
 Раскаты сопок, за грядой гряда, Орёл вернулся в небо без дымов...  
 Лесистых, лысых, плыли до Китая. Ведь столько лет войну  
 Там, за рекою, чуть клубясь и тая, не вспоминали –  
 Желтела пыль гонимого гурта. В шкафу подальше ордена, медали,  
 Внучок от важности – совсем казак! – Лишь всё грустней приказы  
 Толкал ногами, беспокоил гриву, докторов.  
 По ходу конь кивал лишь терпеливо, Не вспоминали ни побед, ни бед,  
 Как опытный «совхозный аргамак». Ни жертв солдат, ни деревень  
 Они давно сдружились – конь и дед. сожжённых,  
 Косили, боронили, вывозили Ни страшных культей, в бане  
 Навоз, картошку, сено – что по силе обнажённых,  
 Пенсионерам чуть преклонных лет. Как будто кто на память ввёл запрет.  
 Плато вершины. Жаркий ветерок Хрущёв боялся маршалов в Кремле,  
 Насвистывал в колючих травах. Но как же с памятью всего народа?  
 Два суслика, застыв на задних В семье любой свои герои рода –  
 лапах, Погибшие и боль в любой избе!  
 Смотрели нагло и чуток хитро. А шли цветные фильмы о любви,  
 Как вдруг их словно смыла чья-то Артисты песни флиртовые пели,  
 тень – По паркам новые качели-карусели...  
 То страшно высоко над головами, И лишь мальчишкам жаждалось  
 Под самым солнцем, плавными в бои.  
 кругами Не в духе воина ношение обид.  
 Орёл безоблачный пикетил день. Претензий к Родине нет у солдата.  
 Вполне даже обжившись на коне, В «запас»? – В запас! Ведь всё  
 Внучок, как дед, смотрел из-под равно когда-то  
 ладони, Со службы выход... Вышел  
 Как, чёрная на синем небосклоне, и забыт...  
 Парит большая птица в тишине. Илья не ныл, а поднимал детей.  
 Орёл кружится... Значит, нет Пять душ – что значит: огород,  
 войны, корова,  
 Нет свиста пуль, пожаров и Два хряка, куры-утки... всё толково –  
 разрывов – Казак всему не пан и не лакей.  
 Ведь он гнездо не заведёт без мира, Не в духе воина от Родины искать –  
 Не выведет орлят без тишины. От матери, чья жизнь и так  
 Подумать лишь – войны нет в детишках.  
 двадцать лет! Да ей же счастье – всё для них,  
 Осыпались, позаросли окопы, с излишком  
 Поднялись гордо города Европы, Красу и силы – всю себя отдать.  
 Вернулась сытность; всякий дом От беззаветной той душевной  
 согрет. полноты,  
 Дородна, опригожена земля, От жертвенности материнской доли,  
 Натешена мужицкими трудами. Такие мы – под игом и в неволе

## Правый мир

Сильнее мира чувством правоты. В ней я слышал ночами  
Её безбрежная неистощимость – Ветры, громы, голоса.  
в нас, Деда, твои две сабли –  
Её судьба – по каплям в наших Немецкая и самурая –  
судьбах. Молнии грозной бури,  
Везде на русском и по-русски будем Которые ты изловил.  
Нести её молитву и приказ... Видел я, как ты косишь  
«Смотри, Васёк, перо летит к тебе!» – Травы до горизонта,  
И в самом деле: мощно маховое Но что ты молчишь упрямо  
Кружило, кувыркаясь, как живое, Про то, как косил врагов?  
Блаженствуя в свободе и гульбе. Люди ж по всей планете  
Илья Васильич внука Василька Песни поют о геройстве:  
Покрыл фуражкой от прямого жара. Мир заграждён от невзгоды  
Всё хорошо. Губа лишь задрожала: Вашей победой навек.  
Фуражка старая – совсем как И, как глаза закрою,  
у батькá. Ясно так представляю:  
Кружит, летит орлиное перо... Когда ты летел в атаку,  
В своих путях две дочки и три сына, Конь твой крылатым был.  
На лето внуков съехалась дружина... Деда, ведь будет ладно,  
Вот правый мир. Всё люблю. Что скоро я тоже стану  
Всё добро. Сильным, как ты, и смелым,  
Истинным казаком?

\*\*\*

Деда, твоя накидка –  
Небо и сразу пещера.

Деда, а, деда... Деда!!!



Ростов-на-Дону, май 1945 г. Торжественная встреча воинов-победителей

## Алексей Борычев



### ОСИЯННЫЕ ДНИ

#### ВЕСЕННИЕ СТРОКИ...

Весна возвращается белой стрелой –  
Небесной, воздушной, крылатой –  
Пронзая ледовый звенящий покой  
Кристалльно морозных закатов.

И дни, раздувая свои паруса,  
Срываются с зимнего старта –  
И тихо бегут по полям, по лесам  
Лимонные сполохи марта.

Плывут и плывут осиянные дни  
Крупичами снега по водам  
Туда, где мечты разжигает огни,  
Где пьяные мреют восходы.

Там бликами полный блистает апрель,  
Мерцает и пляшет по лужам  
Под шорохи мглы, под лесную свирель, –  
Нелепо, смешно, неуклюже.

---

**Борычев Алексей**, поэт. В журнале «ДОН\_новый» публикуется впервые.  
Живёт и работает в Москве.

## Осианнные дни

И ландыш, собрав ослепительный май  
По каплям росы на листочках,  
Поспешно уходит в июневый край  
Последней весеннею строчкой.

## МАЙ

Хмельное лето разливает  
По окоёму терпкий день,  
Прощаясь с ландышевым маем,  
Надевшим шляпу набекрень...

Окутан яблоневым цветом,  
Румяный май спешит туда,  
Где вечно бледные рассветы,  
Болотный край, и холода.

Идёт на север, зажигая  
Огни сирени... Перед ним  
Ступает тихо тьма лесная –  
Струит подснежниковый дым.

## ПЕСНЯ О БЫЛОМ

Плыву, плыву я по реке,  
От берегов невдалеке.  
А вдоль реки, а вдоль реки, –  
Бегут, бегут березняки...

Истомный зной и тишина  
Моим былым напоена, –  
Всем тем, что было и прошло...  
Но так в душе моей светло!

Осока, плески вёсел, хвощ...  
Весенний гам. Дыханье рощ.  
Стрекоз оравы надо мной. –  
Вот – милый мне предел земной.

И – по реке плыву один.  
И от былого – грустный дым.  
И лишь смеются вдоль реки  
Березняки, березняки...

## Светлана Вьюгина



### ПАРОМ

*Рассказ*

— Вода — большая! Какая большая вода! — с чувством повторяла мама. Мы с Серёжкой переглянулись. Что маму так встревожило? За окном мягко скользящего автобуса — тянулась безмятежная гладь водохранилища. Мы с братом рады этой поездке и этой красоте. Мама редко выбиралась с нами за город. «Вы уж с папой... — частенько твердила она.

Да мы и так... За грибами — с папой, на речку купаться — с папой, на лодке по пруду кататься или на качелях в парке качаться, книжки читать — тоже с ним. Она целыми днями пропадала в школе. Наверное, тысячу детей выучила, а может, и больше. А нам, её детям, хотелось простого с нею общения, и, конечно же, безраздельного. Или — мы, или ... Как-то мы поехали с ней в Углич (на целых два дня!), в Дом отдыха, — и это была наша маленькая победа. Решено: и купаемся, и загораем, и в музеи ходим, и книжки читаем только с мамой. Мы ни разу не были в известном старинном городе. Хотя, помнится, мама что-то рассказывала о нём. И старшие братья кое-что поведали младшим об увиденном ими не раз. А тут такое приключение! И с мамой!

— Кремль посмотрите, кремль! Это — главное! Про остальное мама в автобусе расскажет, — отмахивались братья от наших всяких многих-многих «как?», «где?» и «почему?»

Слушать маму — одно удовольствие, рассказчица она — отменная.

---

**Вьюгина Светлана Васильевна**, член Союза писателей России, секретарь Союза писателей России, автор ряда книг прозы для детей. Постоянный автор журнала «ДОН\_новый». Живёт и работает в Москве.

Но сегодня она всё время сбивается, запинаясь. И опять с какой-то тоской говорит о большой воде. Но мы уже с братом Серёжкой слушаем маму вполуха — и вот уже несёмся к берегу наперегонки, на ходу скидывая одежду...

Мы барахтались в воде, а мама сидела на покато́м зелёном берегу и читала книгу, поглядывая на нас. Когда раздались истошные крики играющих на мелководье карапузов, она первой подскочила к детям и подхватила малышей на руки. Я же и мой брат Серёжка наслаждались купанием, ведь нас младенческие крики не касались. Когда мы проголодались да умаялись, вспомнили про маму. Её на прежнем месте не было. Она почему-то стояла высоко на берегу и плакала. Как же так!.. Маме плакать не положено! Родители не плакали никогда! На все расспросы мама слабо махнула рукой и повела нас обедать.

Вечером, налюбовавшись кремлём, побывав в большом музее, мы всё-таки стали тормозить маму:

— Почему ты не плавала? Почему ты плакала? Почему ты не веселишься с нами?

— Как так вышло, — задумчиво проговорила мама, — что путёвки в Дом отдыха, дали именно сюда. Понимаю: я бы всё равно рассказала про паром, но попозже... Ваши старшие братья уже знают эту страшную историю... Что ж, выходит, и вам придётся узнать её. Ну, так слушайте.

...Это был начало войны. Ваш папа ушёл на фронт, а я с тремя маленькими детьми, вашими старшими братьями и сестрой, и с бабушкой осталась в Угодском Заводе. Когда фронт приблизился и фашисты прорвали оборону, началась спешная эвакуация семей фронтовиков с детьми. Выдали пропуска на паром, потому что железнодорожную станцию прицельно обстреливали вражеские орудия. Собрав два узла с вещами, мы побежали к причалу. Там уже шла посадка на паром. Но вдруг в одну минуту вдруг всё изменилось: люди, услышав грохот канонады, оттеснили охрану и бросились к единственному спасению, парому.

— Сажаем на борт только женщин с детьми! — кричал уставший красноармеец. Но страх пленил слабых людей — и началась паника. В этой панике, нас тоже оттеснили далеко в сторону. Паром тяжело осел — и трап пришлось убрать.

— Вот наш пропуск!.. — кричала я, протискиваясь на причал. Но паром качнулся и медленно отплыл от берега.

Плакала бабушка, плакала я, ваша мама, плакал шестилетний Валера, плакали трёхлетняя Рита и годовалый Саша. Вдруг из-за облака вынырнул самолёт с чёрными крестами на крыльях и спикировал на паром. Взлетел фонтан воды... Ещё — фонтан... Кто-то сорвал блузку и стал ею размахивать, мол, здесь дети и женщины!.. Но фашист не унимался: обстрелял из пулемёта и косогор, на котором столпились люди, ждущие ещё один рейс парома.

— Бегите под деревья, ложитесь! — кричал охрипший красноармеец-дежурный по причалу.

Все бросились на землю. Я, помню, шептала маленькому Саше: «Тихо, тихо!» Как будто вражеский лётчик мог слышать его плач. А потом мы увидели, что паром, который был уже посередине водохранилища, страшно накренившись, погружается в воду. А вместе с ним, понятное дело, и люди...

Очнулась я дома. Оказывается, меня оглушило взрывом бомбы и я потеряла сознание. Бабушка потом рассказывала, как всех пострадавших на берегу на деревенских телегах развозили по укрытиям — нас вёз долговязый запылённый красноармеец с забинтованной рукой. И назвался боец тот то ли Колей, то ли Толей... А уж сказал ли он командирам своим, что подбил из установленного на тачанке пулемёта летающего фашистского изверга, про то, золотые мои, не знаю...

Захватчики так и не взяли Углич. Его остановили наши герои, а потом и вовсе прогнали с родной земли!

...Да, война для нас была раньше только в кино. А теперь вот она ожила и в этом мамином рассказе. Мы с Сережкой притихли. Как успокоить и утешить маму? Мы вдруг увидели маму такой молодой, такой беззащитной! А мама посмотрела на нас, на безмятежную гладь водохранилища, на «большую» воду, и сказала отчётливо и негромко:

— Больше войны не будет ни-ког-да!

\*\*\*

Это единственное, что мама захотела рассказать нам о давней незабываемой военной поре. Все остальные, тыловые истории не в счёт.

Давно уж нет на белом свете наших родителей. Давно мы, их дети, и довоенные и послевоенные, пересказываем уже своим детям и внукам фронтовые были отца и эту — почти что обычную в лихую годину Великой Отечественной войны — житейскую историю. Давно вместе и поодиночке со слезами на глазах вновь и вновь переживаем драму, очевидицей которой некогда случилось быть и нашей маме, двадцатисемилетней женщине с тремя малыши детьми на руках. Увидишь такую мамочку на аллее парка сегодня и невольно подумаешь: «Так молода! И... до чего же смела! Троих растит! И всё ей нипочём...» И ещё, может быть, подумаешь о пути, ей предназначавшем, принакрытом пока туманом завтрашнего дня...

## Клавдия Павленко



### КТО СТИРАЕТ ПЫЛЬ СО ЗВЁЗД?

#### ХОЧЕШЬ ЗНАТЬ?..

Где ночуют воробьи,  
И на ёлках шишки – чьи;  
Есть ли бабушка у ветра,  
Метры где – у километра...

Отчего так сладок сон,  
Почему огромен слон,  
Для чего сороке хвост...  
Кто стирает пыль со звёзд!

Отчего полынь горька,  
Кто раскрасил мотылька... –  
Хочешь всё на свете знать?  
Ну, тогда, скорей – читать!

#### ВЕСНА

Вслед за зимою  
весна наступает. –

---

**Павленко Клавдия Ивановна**, член Союза писателей России (2008), поэт. Автор сборников стихотворений «Не оставляй меня одну», «Смотреть на дорогу», «Ах эти шаткие мосты», нескольких детских книг, вышедших в издательстве «Малыш». Руководитель поэтической секции ЛитСтуди при Ростовском региональном отделении СП России.

Живёт и работает в Ростове-на-Дону.

В форточку бабочкой яркой  
влетает,  
Неутомимую  
и разноцветной.  
Пахнет – теплом ароматного ветра,  
Белою сказкой цветущих садов  
Маленьких сёл  
и больших городов!

### **КОТЁНОК И МЫШКА**

Увидел котёнок мышку...  
От неё сбежал вприпрыжку!  
Папа-кот и мама-кошка  
Не корят котёнка-крошку:  
Он совсем ещё ребёнок –  
Ни отваги, ни силёнок!  
И, к тому же, если честно,  
Эта мышка  
так прелестна!..

### **ДРУЖБА**

Соседский Сёрежка  
с вороной дружил.  
И дружбою –  
Каждый из них дорожил.  
Товарищи были  
немного похожи:  
Она, как Серёжка,  
картавила тоже!

Но как-то простыл –  
заболел мальчуган,  
А птица подумала,  
дружба – обман!  
Три дня не видала  
ворона Серёжку:  
Не шёл он гулять,  
не сидел у окошка...

Но только на шаг  
отступила простуда,

### Кто стирает пыль со звёзд?

Как Друг сотворил  
настоящее чудо:  
Подвинул к окну  
потихонечку стул,  
Вороне: «Держись, я приду», –  
подмигнул!..

### ПОЛАДИЛИ

В этом зале тихо, влажно  
И ещё – немножко страшно!  
Гляньте, что там за бревно? –  
Ой, шевелится оно!..

Крокодилы здесь и змеи.  
Ну, ребята, посмелее!  
Посмотрите-ка, – питон.  
Ишь, какой огромный он!

Вы сумели с ним поладить,  
Разрешил себя он гладить!

### ОБЕЗЬЯНЫ

Друг на дружку мы похожи:  
Мы плюёмся, корчим рожи;  
Любим прыгать, есть бананы...  
Мы с подругой – обезьяны!

### ЛЕТО

Лето – такого ж,  
как солнышко, цвета;  
Катит его  
золотая карета.  
И, на подсолнух  
похожее очень,  
Лето нам голову  
так и морочит! –  
То одуванчиком  
в небе цветёт,  
То прямо в руки  
цветком упадёт!..

## Нина Васина



### БУБЕНЕЦ

\*\*\*

Старый заяц – окосел.  
На пенёк устало сел:  
«Я свой дом найду едва, –  
Был один, а стало – два!...»

### БЫЧОК

Маленький бычок –  
Толстенький бочок;  
Хвостик с кисточкой, смешной,  
Пляшет, словно заводной! –  
Дружит он с котёнком Зайкой,  
Щиплет травку на лужайке,  
Побродить везде мечтает –  
Только колышек мешает:  
Держит крепко он верёвку,  
Не даёт бродить без толку!  
На верёвке  
Бубенец,  
Голосистый сорванец, –  
Новенький и звонкий:  
– Уходите, волки!

\*\*\*

На крутой горе баран,  
Как могучий великан:  
Топ ногой и топ другой –  
Зашатался шар земной!..

\*\*\*

Барсучок не слушал маму, –  
В лес ушёл... свалился в яму!  
Мы пошли жирафа звать –  
Барсучонка выручать.

\*\*\*

Говорят, в глухом лесу  
Заяц... испугал лису!  
И теперь сидит плутовка  
И дрожит в своей кладовке...

\*\*\*

Белочка нашла грибок,  
Наколола на сучок. –  
Будет белочке зимой  
Вкусный бутерброд грибной!

---

Васина Нина Логвиновна, кандидат в члены Союза писателей России, поэт, руководитель литературно-творческого объединения «Автограф».

Живёт и работает в Новошахтинске Ростовской области.

## Татьяна Тетенькина



### ВСЕМ МИРОМ...

И я когда-нибудь  
исчезну, завещая  
То, что сама с годами поняла:  
Нет малой Родины – она всегда большая,  
Пусть даже в ней осталось полсела!  
Из каждой улочки,  
из памятных тропинок,  
Что нас вели в широкие поля,  
Мы можем выстроить,  
как дети из картинок,  
Подлунный мир по имени Земля.

В палитре Родины оттенков – миллионы:  
Наречий смесь, и флагов пестрота...  
Но дарит нам она  
свой главный цвет – зелёный.  
Ждёт милости земная красота,  
А мы – живём её  
в огонь своих амбиций,  
С обоснованьем, а порою – без...  
Дай разум, Господи, –  
всем миром  
помолиться,  
И выпросить прощенье у небес!..

---

**Тетенькина Татьяна Григорьевна**, член Союза писателей России. Автор десятка книг стихов и прозы. Лауреат Калининградской областной премии «Признание», конкурса песенной поэзии «Зов Нимфея». Дипломант Первых Международных Игр «Поэтический Олимп». В журнале «ДОН\_новый» публикуется впервые. Живёт и работает в Калининграде.

Журнал «ДОН\_новый» представляет работы  
слушателей литературного семинара  
при Ростовском региональном отделении  
Союза писателей России (2013 – 2015 уч. гг)

*Проза (мастерская Берегового А.Г.)*

## **Анастасия Кривохижина**

кандидат в члены Союза писателей России, Ростов-на-Дону



## **ПЯТЬ ПИСЕМ О ЛЮБВИ**

### **ПИСЬМО ПЕРВОЕ. В ПУСТОТУ...**

Я не знаю, как начать о тебе говорить. Но говорить хочется долго. Почти утомительно. Чтобы потом просто уснуть, возможно, на полуслове. Я даже не знаю что сказать. Но сказать хочется очень много. Душная, нетишина, наполненная шепотом чужих голосов, окутывает пространство вокруг. И хочется скорее добраться до цели, где будет комфортно.

Чем ты там занимаешься сейчас? Почему совсем не скучаешь обо мне?

Оранжевые полосы расчертили небо от края до края. Причудливо изгибаясь в тёмном пространстве, они выглядят особенно яркими.

С кем ты сейчас?

Оранжевые полосы, словно волны моих чувств к тебе. Жаль, что ты не можешь увидеть моё небо. И никогда к нему не прикоснёшься. Мне бы хотелось показать его тебе. Я не жалею о случившемся, жалею о том, чего нет. О словах, которые я не слышу. О прикосновениях, которые я не чувствую. Расстояние между нами уже давно нельзя измерить километрами или временем. Но как же легко его можно преодолеть. И как же страшно в этой пугающей пропасти между нами.

Меня встретит другой человек. И, возможно, я поцелую его. И человек будет приятно пахнуть. И улыбаться. И любить. И нежить. Но этим человеком будешь не ты.

## Пять писем о любви

Как глупо писать письма в пустоту. Как печально не любить того, кто дарит тебе любовь. И как невообразимо больно знать, что всё временно.

Какое небо сейчас над твоей головой?

Перепутанные мысли и чувства как обычно перекатываются внутри меня маленькими шариками. Спутанные слова не ложатся в ровные стройные фразы, и остаётся только надеяться, что и так будет понятно, что я пытаюсь сказать. А дальше только тишина и неровное дыхание. И чужие голоса.

Хочу слышать твой голос? Возможно ли это?

Я знаю, что никогда не шагну в пустоту нашей пропасти. Я знаю, что твоё место никто никогда не займёт. Я знаю всю безнадежность моих попыток забыть тебя. И я всё ещё не хочу верить, что я никогда больше не увижу тебя.

И я могу пообещать только одно, зная, что когда-нибудь я смогу выполнить своё обещание.

Я буду любить.

## ПИСЬМО ВТОРОЕ. УЛЫБКА

Эй! Ты слышишь меня? Здесь как всегда весна! Снега насыпало по самое горло, и совершенно не с кем играть в снежки. Скучаю. Невообразимо. Завидуй! Я слушаю музыку скрипящего снега каждый день — на работу, с работы. А какие у меня румяные щёки! Ты бы меня не узнал. Ночь длится всё время. Представляешь? Двадцать четыре часа! А потом я уеду отсюда и буду в краях, где всё время день. Солнце будет блуждать по кругу над самым горизонтом, и совершенно невозможно будет спать. Наверное, именно поэтому, сейчас мы там, где всё время ночь, чтобы выспаться на будущее. Но выспаться всё равно не получается. Искусственное освещение заменяет солнце, а так хочется хотя бы один настоящий лучик увидеть. Успокаиваю себя тем, что совсем скоро мне будет хотеться ночи и звезд. Да! И снова я предлагаю тебе обзавидоваться, — ведь здесь небо невообразимо красиво. Россыпи! Мириады звезд! Висят на тёмном небе, словно ёлочные гирлянды. Как хотелось бы показать тебе моё небо! Улыбнись мне. Языки пламени лижут каминные стенки. В моём бокале разгорается свой пожар. Виноградный сок кажется горячим. Что? Уже подумал я начала здесь пить вино? Как же! Не дождёшься! Хотя уверена, что однажды, с тобой, оно мне покажется вкусным. Но только если вместе.

Здесь так часто мёрзнут нос и щеки, что хочется уткнуться в твой тёплый свитер. И засунуть пальцы тебе за шиворот. Да-да, время идёт, а я не меняюсь. И, возможно, не изменюсь никогда. Представляешь? Пройдёт десять, двадцать, а может быть, даже сорок лет, а я всё так же буду щекотать тебя ледяными пальцами и хихикать. Готов прощать мне это всю жизнь? А я даже придумаю, что тебе прощать. Например, готова прощать тебе «завтраки в постель» и неожиданные цветы, а может быть, даже подарки. Правда я очень здорово придумала?!

Что там сейчас, за твоим окном? Что видишь? Хочу дышать с тобой в унисон! Хочу быть твоим сердцебиением, нет, сердцезамиранием! И уютно засыпать в твоих руках как маленький ребёнок.

Всё! Не выдержала! Иду! Бегу! Бегу к тебе! Буду тебя целовать, дразнить и снова весело хихикать ведь мои пальцы от предвкушения уже стали ледяными. Готова преодолеть любое расстояние, даже прийти к тебе в соседнюю комнату. Чем ты там занимаешься без меня?

Люблю тебя, и, возможно, дам прочитать тебе это письмо, когда-нибудь потом, наверное, утром.

### ПИСЬМО ТРЕТЬЕ. МАЛЫШ

Милый мой, родной, ласковый Малыш. Да-да, именно Малыш. Разве ты забыла, как часто я называл тебя так? О нет, я знаю, что не забыла. Я разговариваю с тобой каждый день. Я люблю тебя всё сильнее и не могу дождаться момента, когда мы встретимся с тобой. Но, как и обещал, я не тороплю его приближение. Я знаю, что глупо тебя о чём-нибудь спрашивать, но так хочется поговорить. Я знаю-знаю. Ты любишь слушать.

У нас уже началась твоя любимая осень. Малыш, видела бы ты какими красками окрасилась вся природа! Кажется, осень ещё не была такой красивой. И всё это, как обычно, только для тебя. Природа словно подражает твоим картинам. И всё же у неё не получается так же красиво, но поверь, — она очень старается. Каждый раз, когда я выбираюсь в лес, мне кажется, что я гуляю по твоим картинам.

Малыш, я каждый день влюбляюсь в тебя. Вспоминая теплоту твоих рук и глаз. И твою незабываемую улыбку. И смех, который звонкими ручьями разливался по комнатам. О, не спорь со мной. И не надо напоминать о седине и морщинах. Поверь, я знаю твоё лицо и каждую твою морщинку гораздо лучше тебя. И люблю их все. Люблю всю тебя.

Сашка очень напоминает тебя. Такой же причудливо милый, для меня. Он вырос настоящим мужчиной. А Оля, Оля, и как ты только уговорила меня на это имя?! Словно звонкий ручей. Ты бы видела, как она танцует. Ты бы гордилась ею! Я горжусь ими за нас обоих.

Внучка знает о тебе всё. Славка — вылитая ты. Такая же голубоглазая и русоволосая. И уже сейчас сообразительная и умненькая не по годам. Каждый раз требует от меня новых рассказов о тебе. И я не устаю рассказывать.

Всё здесь, напоминает тебя. Нет, не надо уговаривать меня жить дальше. Ведь я живу. Любить снова? Я уже люблю, и какое бы чувство не пришло ко мне оно неизменно меркнет перед тем, что я испытываю сейчас. Что я испытываю к тебе последние двадцать лет, не говоря о тех временах, когда ты была рядом.

Милый мой Малыш. Возможно ли передать словами всё, что я хочу тебе сказать? Ты моё сердцебиение. Ты моё дыхание. И как всегда, крокусы, что ты посадила, цветут исключительно осенью...

### ПИСЬМО ЧЕТВЁРТОЕ. ГОЛОС

Я уже много лет не могу петь. И больше никогда не смогу. И зная это, мне больше не хочется говорить. Есть ли смысл в словах, если их нельзя спеть? Да, ты скажешь, что я как обычно слишком резка и категорична. Но ведь если бы весь мир был наполнен только мягкими людьми, в нем было бы скучно жить. Резкая как ситро, прямая как угол — я помню всё, что ты говорила и говоришь мне. И мне нравится быть такой.

Жаль, что ты далеко и, как обычно, не сможешь приехать. Я тысячу раз слышала о твоей занятости и работе. Но как же хочется, чтобы ты смогла отложить все свои дела ради меня на несколько дней.

Поняв, что я больше не могу выразить себя через звук, я решила выражать себя через движения. И, мне хочется верить, что однажды, ты всё-таки будешь гордиться мной. Я знаю, ты скажешь, что уже гордишься, но я как обычно не поверю. Не злись, я люблю тебя, хоть тебе и не нужно это. И из-за этого тоже не злись, ты всё равно ничего не сможешь изменить.

У нас как обычно жара. По моему, здесь вообще не бывает другой погоды.

## Пять писем о любви

Хоть друзья и утверждают, что становится то холоднее, то снова теплеет. Я не замечаю. Мне почти всё время жарко. Да-да, друзья. Ты правильно прочитала. У меня есть друзья, нашлись люди, которым удалось меня понять и принять. И, возможно, даже полюбить. Нет, я не стану рассказывать тебе о Нём, это, пожалуй, единственное, о чём я не готова с тобой говорить.

Как Варька? Наверное, уже совсем выросла и, конечно, стала красавицей. Ты рассказываешь ей обо мне? Ведь я всё-таки её сестра. Обидно, что я не знаю её. Что ты не даёшь нам познакомиться. Мне бы хотелось знать свою сестру.

Я уже давно перестала задавать себе одни и те же вопросы о тебе и твоём отношении ко мне. Я уже давно перестала желать всё исправить или стать для тебя уж если не любимым, то хотя бы желанным ребёнком. Я не знаю, простила ли я тебя, стараюсь об этом не думать. Возможно, если не простила ещё, то когда-нибудь прощу. Но почему-то я всё ещё очень по-детски люблю тебя и ничего не могу с собой поделать. Возможно, я люблю твой образ, выдуманный в моей голове. Это неважно, ведь в любом случае это единственное письмо, которое ты получишь от меня.

Да, теперь я танцую. Танцую как сумасшедшая. Безумная. Умалишенная. Я не могу петь, но могу слушать. Возможно, когда-нибудь, я стану великой танцовщицей, и ты увидишь моё лицо на афише. Я буду прекрасна, возможно, нет, скорее всего, ты не узнаешь меня. Но я уверена, восхитишься красотой той девушки, что будет смотреть на тебя с плаката. Возможно, ты даже вспомнишь обо мне, но будет уже поздно.

Как часто мне хотелось сказать: «Мама». Но я называю тебя по имени. Я до сих пор не знаю кто ты мне — не то сестра, не то тётя. Хотя вот уже несколько лет как этот вопрос перестал меня интересовать. Я не могла говорить: «Мама». Но уже давно, я могу это слышать, каждый день.

## ПИСЬМО ПЯТОЕ. ПУГОВИЦА

Я знаю, что давно не писал. Я знаю, что во многом виноват. Но я прошу, нет, умоляю, прости меня за это. Я уже лечу к тебе. Мимо проносятся облака. Я покажу их тебе. И я говорю с тобой сейчас вот так глупо, в письменном виде. А может тебе и понравится.

Я как всегда ненадолго. Восемнадцать часов пути к тебе и восемнадцать обратно и только девять часов я смогу держать тебя в своих руках.

Пуговица, что ты там делаешь без меня? О чём мечтаешь? В какие небеса смотришь? Однажды я покажу тебе своё небо, — я, как ребёнок, надеюсь, что оно тебе понравится. Ты улыбнёшься мне? Подаришь мне одну из самых прекрасных своих улыбок?

Там, за бором, минус пятьдесят шесть. Трясёт неимоверно. Зона турбулентности больше половины пути. А я глупо улыбаюсь, предвкушая встречу с тобой. Милый мой человечек.

Я везу тебе твои любимые орехи, надеюсь, твой вкус не поменялся, пока мне не было рядом. Как давно меня не было рядом. Прости меня.

Всё, что хочется тебе сказать, никак не ложится в ровные строчки. Я не умею писать писем, и ты, как никто, знаешь об этом. Только ты и знаешь, ведь больше я никому никогда их не писал.

Моя любимая Пуговица. Я надеюсь, что когда я приеду ты, как обычно, выбежишь меня встречать, я подхватю тебя на руки и закружу около самой люстры, а ты мне потом опять будешь писать, как это было здорово, и что бабушка с бабушкой так не умеют. Я люблю тебя, моя Пуговица.

## КАСАЕТСЯ ЗВЕЗДЫ...

**Вячеслав Дутов,**

кандидат в члены Союза писателей России, Красный Сулин



### ТВОЙ СТИХ

Новорождённым жеребёнком  
Шатался он на ножках тонких,  
Выравнивался и бежал...  
Из родников библиотеки  
Он пил талантливые реки  
И незаметно возмужал.

Теперь он ржёт и гривой машет –  
Пред ним родная степь в ромашках:  
Ни пут, ни плётки, ни узды.  
Скажи, скроил его не маг ли? –  
Бежит строкою по бумаге  
И лбом касается звезды!..

**Мария Склярова,**

кандидат в члены Союза писателей России, Ростов-на-Дону

\*\*\*

Если ты меня  
не возьмёшь с собой –  
Тотчас позовёт кто-нибудь другой,  
И твои следы унесёт прибой...  
И твоей звезды свет погаснет вскоре.

Что отвергнешь ты –  
то раздам другим.  
Раздарю ветрам душу, будто дым. –  
Пылью станет пыл... Сделаю пустым  
Полное любви плещущее море.

Полнится луной  
парус алых штор...  
Мечется душа, словно чайка в шторм...  
Как не понял ты это до сих пор:  
Мы с тобою врозь – пойманные рыбы.



Касается звезды...

Выбор за тобой:  
ветер или смог,  
Бездна высоты или потолок...  
Если ты звездой быть моей не смог –  
Я приму любой, самый страшный, выбор.

## Владимир Хлыстов

кандидат в члены Союза писателей России, Таганрог



### МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЩЕНОК

Трубопрокатный. Вдоль рольганга  
Несётся с грохотом труба:  
Опасная, как дуло танка, –  
Неудержима и груба.  
Она калечит звуки, уши,  
Гремя на грани децибел...  
Не помогают ни беруши  
И ни наушники тебе!

Чумазый, – что похож на чёрта,  
Хлебнуть выходишь тишины, –  
Где надпись на доске почёта:  
«Ты умножаешь мощь страны!»  
А следом, семена ногами, –  
Рождённый, где визжит станок, –  
Измазанный во рже и гари,  
Металлургический щенок...  
Но, ослеплённый светотенью  
И оглушённый тишиной,  
Пугливо подогнув колени,  
Он – стал, как вкопанный, за мной.

И не услышав птичье пенье,  
Но будто услышав: «Ату!», –  
Вновь убегает, как в спасенье,  
В грохочущую темноту!..  
И жизнь идёт вразрез со смыслом.  
Здоровье «вредностью» губя,  
Ловлю себя на горькой мысли:  
Мне жаль его, а не себя.

## Татьяна Мажорина

кандидат в члены Союза писателей России, Волгодонск



### ИСПОВЕДЬ

*Взрывом-выдохом  
тицетной  
мольбы –  
врассыпную  
книга судьбы...  
Г.Студеникина*

А что, как я поведаю бумаге,  
Что чернобылом, тёрном поросли  
Былых не встреч колючие овраги,  
Поля несостоявшейся любви?..

Душа порой, с невероятной болью,  
Страницы памяти листает вновь –  
И утопает в горечи злословья  
Тобой не оценённая любовь...

## Елена Шевченко,

кандидат в члены Союза писателей России, Ростов-на-Дону

### ПРОШУ...

Нежнейшей лилии дыханье  
Дурманит голову, как яд,  
И дарит странные мечтанья,  
Что язвы тайные хранят. –  
Смотрю в немом благоговенье,  
Вдыхая чудный аромат...  
На коже след прикосновенья,  
Как обескровленный стигмат.  
Округлый контур, мягкость линий...  
Кристалльно-чистый, снежный тон...  
Прошу,  
не рвите белых линий! –  
В них бог, как в жизнь свою, влюблён.



Касается звезды...

## Людмила Суханова

кандидат в члены Союза писателей России, Таганрог



### А МУДРОСТЬ ГДЕ-ТО РЯДОМ...

Тропа, заросшая осокой...  
На сердце – шрамы и зарубки.  
Забыв прошедшего уроки,  
От вешки к вешке – наощупку –  
Иду... А мудрость где-то рядом  
Витает, усмехаясь криво:  
«Прилежной ученицей надо  
Быть в жизни, чтобы  
стать счастливой!..

Благоразумной будь и ловкой –  
Пройдёшь без ран и без ушибов. –  
Ходи по вытоптаным тропкам,  
Не повторяй былых ошибок».  
Но – вопреки, наперекор ли, –  
Забыв ошибки и уроки,  
Я пробираюсь, с комом в горле,  
Тропой, заросшею осокой...

## Сергей Волошин

кандидат в члены Союза писателей России, Таганрог

### ТЕБЕ

Можно шаркать ногами,  
Плутая по улицам ночью;  
Можно петь, надрываясь,  
Когда так и тянет кричать. –  
Это росчерк и прочерк над чем-то,  
Чертовски не прочим!  
Это кажется: летом горячка  
И так – сгоряча...

Ты – чеширская кошка  
В чудесной стране многогранной,  
Ты – мурлычущий в сердце  
Пушистый комочек добра.  
И я знаю, что я, – как всегда,  
Предсказуемо странный  
И в себе по чуть-чуть  
Каждый день убиваю раба.



Это явь, это я, а стороннее –  
Скользкая тина.  
Но как сладко и горько любить,  
Бесконечность дробя!  
И в крови у меня – как всегда! –  
Передоз никотина,  
Перемешанный с жутким, увы,  
Недодозом тебя...

## Валентина Курмакаева

кандидат в члены Союза писателей России, Ростов-на-Дону

### ...И БЫЛО УТРО



Я, помнится, во сне пекла пирог –  
Любимому. С ванилью и изюмом...  
Ждала его! Смотрела на восток,  
Где небосвод туманился угрюмо.

Вкус ветра с моря отдавал слезой,  
Предательством... и мёртвыми устами.  
И одиночество просилось на постой.  
Но я взмахнула белыми крылами. –

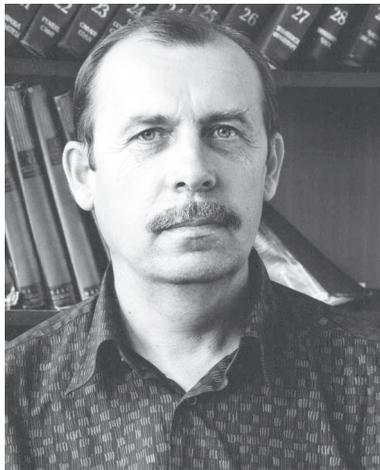
Взметнулась неземная ипостась,  
И вечное «храню тебя, жалею»...  
Но как же эта женщина звалась?..  
Я точно знаю, что не Лорелея.

О, слава «женским гаваням» пустым,  
Предчувствиям и «левым поворотам»! –  
Знамениям и бурям грозовым...  
И тихое проклятие – полётам.

...И было утро, мудрое до слёз,  
И боль в плечах, и доктор, как отличник:  
«У вас, больная, остеохондроз», –  
И, как обычно, выписал больничный.

А вечером я подняла бокал  
За доктора и за пирог с ванилью...  
Был доктор молод, и пока не знал,  
Что так болят поломанные крылья.

## Дмитрий Воронин



### КРОХОБОР

*Рассказ*

Нелегко в настоящее время жить писателю, ох, нелегко. Сами посудите, книги не выпускают, а если и выпускают, то экземпляров пятьсот, а если и пятьсот, то гонорары не платят, мало того что не платят, так ещё за свой счёт приходится издавать. А какой у писателя счёт, если его книжки не выпускают, а если и выпускают, то гонорары не платят, а если не платят, так где тогда денег взять? Говорят, вот у спонсоров или меценатов. А если писатель в деревне живет, то какие в деревне спонсоры и меценаты? Разве что Ашот Саркисович, который магазин открыл при дороге. Так ведь он книг не читает, а если и читает, то всё больше по бухгалтерии или по законам, как от налогов увильнуть. Только писатель не бухгалтер и не юрист тем более. Нет в нём Ашоту Саркисовичу особой надобности, разве что только руку пожать для важности — всё ж чудной человек писатель, где ещё такого встретишь. Да и своим друзьям всегда можно похвастать, мол, с писателем лично знаком, а вдруг даже и поэтом, почти Пушкиным. Чёрт его знает, что он там пишет. Так что поздороваться Ашот Саркисович поздоровается, а денег на книгу не даст, разве что только в долг рублей пятьсот на продукты из своего магазина.

Есть ещё, правда, поселковый глава администрации Дзагоев Иван Иванович, человек, по его собственному признанию, честный и уважаемый, к сельчанам всегда со всем почтением. Ну откуда, скажите, у честного человека

---

**Воронин Дмитрий Павлович**, член Союза писателей России с 2003 года, родился в г. Клайпеда Литовской ССР в 1961 г. Автор трёх сборников рассказов. Публиковался в периодической печати Москвы, Берлина, Краснодара, Тулы, Воронежа, Липецка, Кишинёва, Петрозаводска и др. Лауреат международного конкурса «Согласование времен» — 2009 и 2011 гг., фестиваля «Славянские традиции» 2010 г. (Украина), национального конкурса «Золотое перо Руси» — 2011 г., дипломант международного конкурса «Русский Stil» — 2012 г. (Германия). Живёт в п. Тишино Багратионовского района Калининградской области, работает учителем истории и географии в сельской школе.

могут быть деньги на всякие там книгоиздательства? Личных денег у Ивана Ивановича ни копейки, а государственные только на улучшение жизни. Сядет, бывало, с утра Иван Иванович в свой BMW модели X-5 и мотается где-то по делам до самой ночи, ему не до писателей.

Можно, конечно, и в райцентр съездить меценатов поискать. Живёт там, говорят, один такой Самарин Николай Андреевич, в депутатах числится, и как будто бы даже в председателях местной партиячейки. Ходят слухи, что щедр и к культуре не равнодушен. Вот недавно школьникам полторы тысячи рублей в театр выделил. Может, его в меценаты?

На худой конец, можно по деревне сбор средств объявить на издание книги. Но и народ вряд ли поймёт, не даст. На похороны самого писателя даст, а на книгу — это уж дудки. Блажь какая-то, тут кому-то на портвейн не хватает, кому-то — на сапоги, а этому книгу подавай.

Виктор Семёнович работал в Макеевке учителем, а заодно и рассказы пописывал — то ли от скуки, то ли от талантов каких, но что-то у него всё же получалось и даже изредка печаталось. Писал же Виктор Семёнович всё больше о жизни, о деревне да о своих деревенских жителях. С юморком писал, но так, чтобы не очень обиднобыло им. Местные себя в рассказах узнавали и друг над другом подтрунивали, а Виктору Семёновичу руку тянули при встречах и о политике заговаривали.

Однажды Виктор Семёнович всё же умудрился найти спонсора и издал книгу деревенских рассказов. Ну, не книгу, а так, книжечку, в сотню экземпляров да на сотню страниц, но все-таки. С тех пор за Виктором Семёновичем прочно закрепилось прозвище «Писатель».

— Глянь, писатель в магазин пошел, опять, видать, за тетрадками, — качали головами бабы, сидя на завалинке. — Это ж сколько денег на них тратит, сердечный! И как только Танюха, жена его, эти траты терпит.

— Вон, Достоевский из магазина возвращается, — хмыкнула как-то местная фельдшерица Клавка, обращаясь к своей подруге Верке. — Смотри, как важно ходит, будто «Войну и мир» написал, не меньше, а у самого-то книжонка еле-еле, никакой представительности, скукота одна. Лучше бы как Донцова или про Марианну. Но не тянет он до них, ума, видать, не хватает. И как ему только Олег Евгенич денег-то на книгу дал, говорят, аж цельных десять тысяч отвалил, ужас какой.

— Ой, Клав, не скажи, — махнула рукой Верка. — Может, Семёныч и не Достоевский, зато наш макеевский, и один такой. Да и Таньке евоной лучше. По мне, так пусть лучше книжки сочиняет, чем, как мой Митяй, с бутылкой обнимается.

— Чего ж ты, Серёга, у писателя часть гонорара не востребовал? — посмеивались собутыльники над местным забулдыгой, особенно узнаваемым в рассказах Виктора Семёновича. — Счас бы жил припеваючи, нос в табаке.

— Спрашивал, — огрызался Серёга.

— И?

— Говорит, книжка не продавалась, всего-то сто штук, все, мол, по знакомым раздал.

## Крохобор

— А ты и поверил, лопух. Развёл тебя писатель, ему ж Олегу Евгеньичу долг возвращать.

— Так он же спонсор!

— Ну, так что ж, что спонсор, не бесплатный же.

— Бросай сигареты, Виктор Семёнович идёт, — шухерили школьники, завидев вдалеке сутулую фигуру учителя.

Так что получается, в деревне к Виктору Семёновичу было очень даже достойное и уважительное отношение, вот только до той поры, пока не случилось следующее.

Однажды Виктора Семёновича, следовавшего в магазин за очередной пачкой бумаги, окликнул Серёга.

— Семёныч, постой, дело есть, — нетвёрдой походкой подошёл к писателю герой его рассказов.

— Серёга, денег нету, только на бумагу жена выдала, — решил упредить Серёгу Виктор Семенович.

— Да не, — отмахнулся Серега, — сегодня не требуется, мне уже Санёк Ковалёв подкинул на опохмел. У меня тут другое, важное...

— Ну чего? Говори, только не долго, а то я тороплюсь.

— Да вот, Ванюшкин жалуется, что не заходишь к нему совсем, забыл старика.

— А с чего бы заходить?

— Ну как с чего? Пили ж когда-то вместе, да и так по-соседски.

— Я ж бросил давно, а по соседству вроде каждый раз здороваюсь.

— Ну, здороваться одно, а зайти да душевно посидеть — совсем другое, — закатил глаза кверху Серёга, многозначительно подняв указательный палец.

— Да ладно, Сергей, не тяни резину и говори по существу, чего надо? — развернулся в сторону магазина Виктор Семёнович.

— А я и так по существу, — засеменил за ним Серёга. — Мы вот тут с дядей Колей поговорили за портвейшком и решили, что нужно тебе об его жисти написать.

— Чего написать?

— Ну, не знаю чего, роман какой или там воспоминания на худой край. Тебе виднее.

— Чего это мне виднее? — раздраженно остановился Виктор Семёнович. — Какие романы, о чём вопрос?

— Ну, я ж тебе толкую об чём, — перешёл на громкий голос и Серёга. — Об дяде Коле Ванюшкине, об евоной жисти.

— А что такого в его жизни, чтоб я об этом писал?

— Ну как что? Да всё! — аж задохнулся от возмущения Серёга. — Дядя Коля, ведь это о-го-го, это у-у-у! Это такой человечеше, такая громадина! Это, это... Да чего тут! Ну, сам знаешь. Напишешь?

— Да отстань ты!

— Не напишешь? — с угрозой подступил к Виктору Семёновичу Серёга.

— Пусть расскажет сначала о себе что-нибудь интересное, а там посмотрим, — с опаской отошёл от Серёги писатель.

— Ну, давно бы так, — беззубо заулыбался Серёга. — С этого и надо было подходить.

— К чему? — удивился Виктор Семёнович.

— К глубине масштаба, — поднял палец вверх местный пьянчужка. — Ты, Семеныч, ты вроде умный мужик, учителем в школе числишься, а простых вещей не понимаешь. Стелку тебе дядя Коля сегодня на двадцать ноль-ноль забил в евоной банке, там всё и перетрёт. Так что приходи, не запаздывай...

— А почему в банке-то?

— А где ж ещё? — удивился Серёга. — Мы там завсегда собираемся, подалее от дяди Колиной тётки Натахи, чтоб не орала на всю деревню.

Вечером Виктор Семёнович накинул на себя плащ и с порога предупредил жену:

— Я к соседу на часок.

— Зачем?

— Звал, что-то рассказать хочет.

Виктор Семёнович вышел за калитку и, пройдя два дома, свернул в покосившиеся ворота. Не заходя в скособоченную избу, он огородом прошёл в сад и уткнулся в старую, вросшую в землю баньку дяди Коли. Постучавшись три раза, отворил дверь и, нагнувшись, чтобы не удариться о притолоку, шагнул внутрь.

В предбаннике при свете закопченной сороковатки на лавках за старым, отслужившим свое кухонным столом, сидели три мужика: дядя Коля Ванюшкин, Серёга и Кирюхин Илюха, — ещё один сосед по улице, кочегар деревенского магазина.

— Ну, здасьте всей честной кампании, — пожал всем руки Виктор Семёнович, присел на лавку. — Серега вот сказал, что ты, Николай Фомич, рассказать мне что-то хочешь.

— Хочу, Витя, хочу, давно хочу, — тяжело вздохнул дядя Коля. — Про жизнь свою хочу тебе поведать, и про всякое другое. А то помру, кто ж тогда тебе всё обскажет? И про колхоз нашенский, и про то, как жили, как строили всё, и про надои, и про центнеры, про будни то ж, про праздники? Много чего. Тут не один роман напишешь, может, целый сериал, потом спасибо скажешь.

— Так уж и роман? — улыбнулся Виктор Семёнович.

— А ты не скалься, не скалься, — перебил его Ванюшкин. — У меня историй не на одну книгу наберётся. Такого повидал, чего Шолохову с Тихим Доном и не снилось.

«Черт меня дернул прийти сюда, — уже думал Виктор Семёнович, пряча улыбку.

Минуты две в помещении висела тишина, которую первым нарушил Ванюшкин.

— Вить, ну чего сидишь, доставай уже.

— Что доставать? — непонимающе спросил Виктор Семёнович. — Ручку, что ли?

## Крохобор

— Какую ручку? — подскочил Серёга. — Проставу доставай! За истории...

— Не понял, — удивленно прислонился к стене предбанника Виктор Семёнович.

— А что тут не понять? — встрял в перепалку дядя Коля. — Ты пришёл сюда, чтоб слушать мои истории про жисть, так? Каждая история — бутылка. Я ж не лох какой, как Серёга, чтоб за бесплатно рассказывать.

— С чего это я лох? — набычился Серёга.

— А то нет? — ударил кулаком по столу дядя Коля, да так, что один стакан, подпрыгнув, упал на пол. — Он про тебя написал в своей книжке? Написал. А заплатил гонорар? Вот, то-то.

— Какой гонорар? — у Виктора Семеновича даже челюсть отвисла.

— Обыкновенный, какой, — зло ответил дядя Коля. — Я так понимаю, ты без проставы сегодня. Значит, вечер впустую. Не уважаешь ты меня, старика, Витюша. Ну, так, милоч, завтра в это же время будем тебя ждать здесь же, так ты уж нас больше не подводи, а то по договору я с тебя неустойку востребую.

— Какую неустойку? — спросил Виктор Семёнович.

— По договору о гонораре.

— Каком ещё договоре?

— Ты что, Витюша, совсем тупой или прикидываешься? Нехорошо, Витя, ой нехорошо. Не по-людски это, не по-соседски. Договор о моей доле подпишем при свидетелях, вот при них, — кивнул на Серёгу с Ильёхой дядя Коля.

— Да в чём дело?

— А в том, что ты, Витя по моим историям напишешь роман и по договору, как полагается, я получу шестьдесят процентов гонорара, потому как я тебе всё обскажу, а твое дело только записать. Справедливо, мужики?

— Точняк, дядя Коля, точнее некуда, — закивали мужики.

— Ну, вот и я говорю, — продолжил Ванюшкин, — часть денег отдашь завтра вместе с проставой, часть в конце истории, ну и остаток, как книга выйдет.

— И сколько завтра? — усмехнулся Виктор Семёнович.

— Я тут всё подсчитал, — надел очки дядя Коля и положил на стол тетрадный листок, исписанный цифрами. — По мне так получается, что пять тысяч. И это, согласишься, по-божески, мог бы и больше затребовать. Но мы ж, всё ж, как-никак, соседи. Да и вот ещё, Серёге неустойку заплатить надобно, рублей так семьсот.

— Вы это серьёзно, мужики?

— Да какие тут шутки?

— А шли бы вы знаете куда? — поднялся из-за стола Виктор Семёнович.

— Так ты что, отказываешься платить? — опешил дядя Коля.

— Отказываюсь, — открыл входную дверь Виктор Семёнович.

— Ну и крохобор ты, Витёк, — обиженно закачал головой дядя Коля, — ну

и крохобор! Не ожидал я от тебя, ох, не ожидал! С виду интеллигентом прикидывался, а внутри-то мироед мироедом.

— Да, крохобор он, — облокотился на стол Серега. — И скупердяй!

— Да-а, пожалуй, ты прав, — прикурил папироску дядя Коля. — Скупердяй, каких свет не видывал.

Дальнейшего Виктор Семёнович уже не слышал, вышел за порог бани. Но уже на следующий день бабы на завалинке провожали его осуждающими взглядами.

— Гля, гля, крохобор-то опять в магазин за бумагой пошёл, небось, на дядю Колю доносы писать или судиться. Совести у человека совсем ни на грош, и гонорар не заплатил, и ещё денег с дяди Коли содрать норовит. Как с ним токмо Танюха живет. Бьёт он её, небось, сердешную.

— Да-а, Серёга, — сочувственно обнимали дружка собутыльники. — Кто ж знал, что на такого крохобора нарвёшься. Он, вон, дядю Колю не пожалел, совсем, совсем без средств оставил. А ещё писателем называется.

— Гад он и сволочь, — ненавидяще сжимал кулаки Серёга. — Морду ему набить мало...

— Ничего, Серёга, жизнь его ещё накажет.

И только ученики школы, завидев Виктора Семёновича, как и раньше с опаской шухерили:

— Бросай сигареты, учитель идет...



НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

Главный редактор  
Галина Студеникина

Редактор отдела прозы  
Ксения Баштовая



Редактор отдела поэзии  
Дмитрий Ханин

Редактор отдела  
публицистики  
Павел Малов



Дизайнер вёрстки  
Виктория Анистратова

Художник  
Михаил Никулин



Директор издательства  
«Донской писатель»  
Алексей Береговой



Дон у Старочеркаска